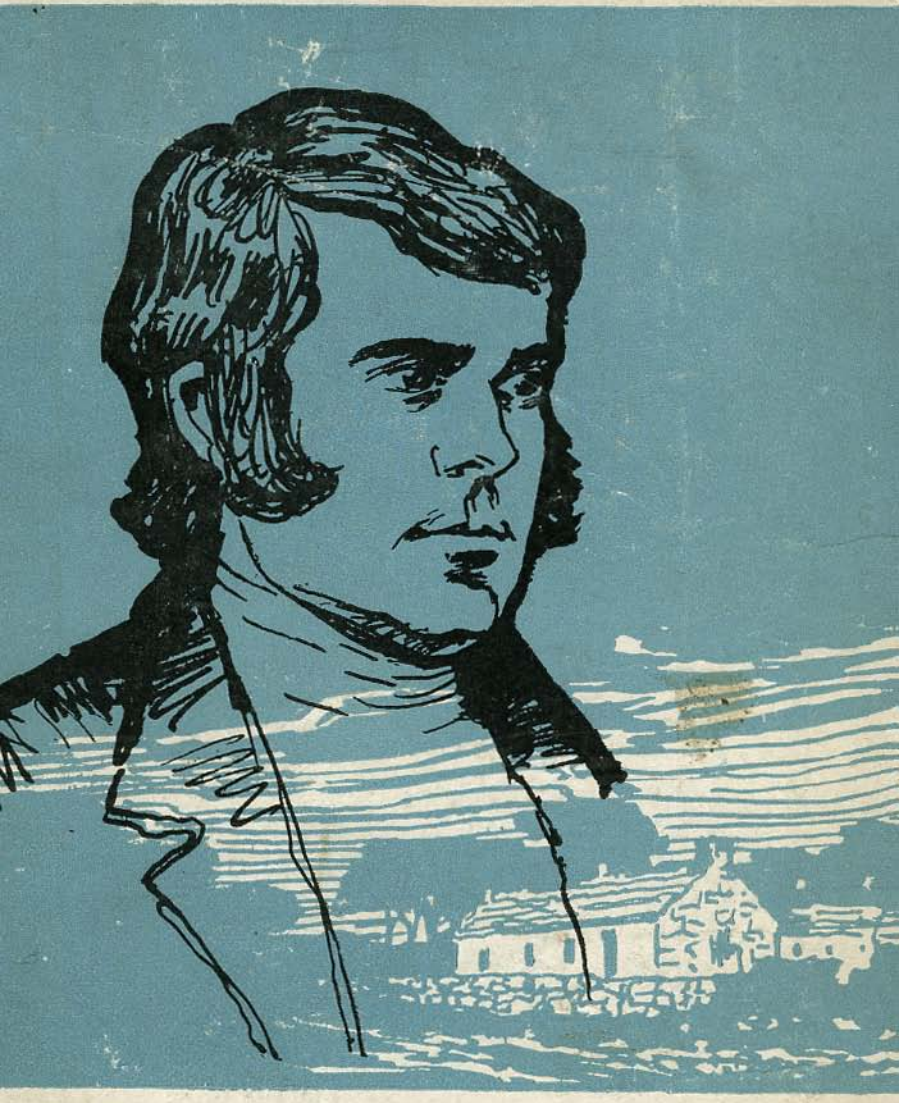
ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



Р. Райт-Ковалева

РОБЕРТ БЕРНС

ЖЗЛ

ЖИЗНЬ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

СЕРИЯ БИОГРАФИЙ
Основана в 1933 году М. ГОРЬКИМ

МОСКВА — 1961

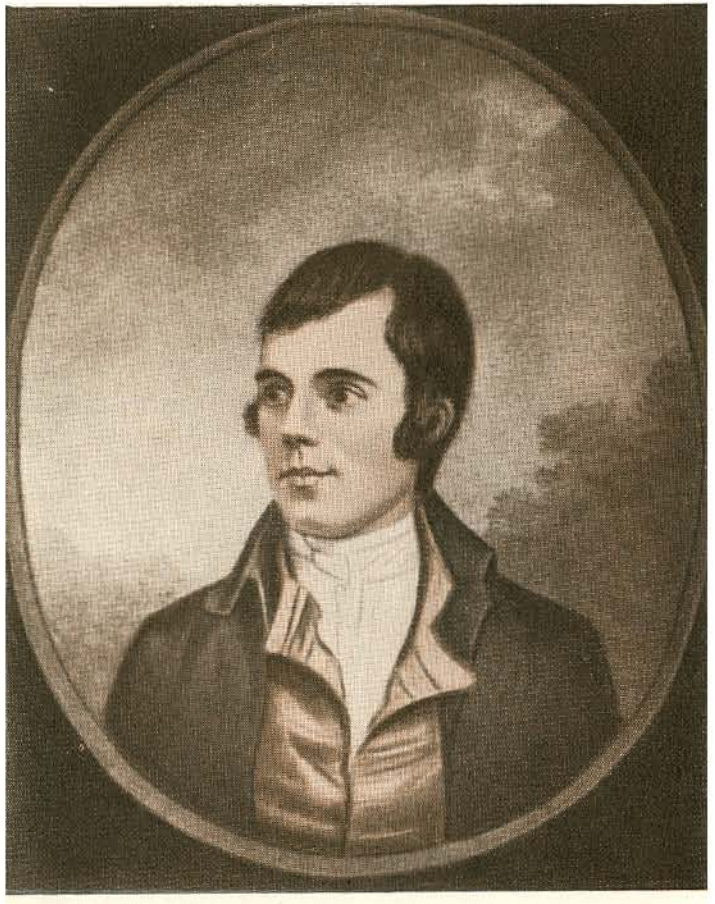
Р. РАЙТ-КОВАЛЕВА

РОБЕРТ БЕРНС

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“

8И (англ.)
Р-18

С. Я. МАРШАКУ,
который подарил русскому читателю
Роберта Бернса



Впервые книга вышла
в серии «ЖЗЛ»
в 1959 году
[№ 10 (276)]

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я поэт. Этим и интересен.
Маяковский

Писать о жизни поэта — значит писать о его стихах и о том, как они создавались.

Об идеях, которые родило «столетье безумно и мудро», как назвал XVIII век Радищев, о литературе английского и французского Просвещения и о фольклорных традициях — то есть обо всем, что могло оказать и оказывало влияние на творчество Бернса, у нас в последние годы написано несколько интересных диссертаций и отличный, строго аргументированный критико-биографический очерк доктора филологических наук А. А. Елистратовой. В 1933, 1942 и 1943 годах опубликованы серьезные труды профессора Орлова: «Крестьянский вопрос в поэзии Бернса», «Бернс и фольклор», «Бернс в русских переводах».

Но, не считая предисловий к сборникам стихов Бернса и кратких очерков в журналах и учебниках литературы, на русском языке нет ни одной подробной биографии Бернса.

Автор этой книги попытался дать портрет поэта, рассказать о его жизни, его благородной и трудной профессии и о его отношении к миру.

Как и отчего человек начинает писать гениальные стихи?

Откуда берется удивительный дар заставлять слова звучать по-новому, в новых, неслыханных доселе сочетаниях, от которых у других людей захватывает дыхание и сильнее бьется сердце?

Каким образом обыкновенные слова становятся песней, которую веками поет народ, гимном и маршем, провожающим героев на подвиг, признанием в любви, бичом сатиры, плясовой или колыбельной?

Мир открывается перед каждым человеком во всем своем многообразии.

Художник видит этот мир лучше других.

Гений рождается как подарок человечеству из самой обыкновенной жизни.

Но у него зорче глаз и острее слух, его сердце горячей, мозг восприимчивей, а голос вернее и чище, чем у других людей.

На этот голос откликаются миллионы: бессмертие гения в признании народа.

В XVIII веке в Шотландии родился и вырос великий народный поэт, о котором написана эта книга.

В ней как можно чаще слово предоставляется самому Бернсу.

Из его стихов и писем читатель лучше всего узнает о его мыслях и чувствах, о том, как сила таланта преодолела множество преград.

Факты его биографии проверены не только по произведениям поэта, но и по свидетельствам его современников и по многочисленным книгам, написанным зарубежными писателями и учеными.

Бернс был полон противоречий — противоречивы и эти жизнеописания.

Но если внимательно прочесть все, что писал он сам, начинаешь видеть его как живого.

Если его понять и полюбить, можно смело говорить о нем все, что думаешь, и только стараться не делать из него шоколадного ангела или театрального злодея.

И пусть каждая новая книга о Бернсе, как сказал один из его биографов, Джеймс Барк, будет камешком в кургане его славы.

Автор

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПИСЬМО ДОКТОРУ МУРУ

1

В жизни каждого человека наступает такая минута, когда хочется подытожить все свое прошлое и подумать: что ждет тебя впереди и что делать дальше?

В августе 1787 года Роберт Бернс, которому в январе исполнилось двадцать восемь лет, вернувшись домой, на ферму Моссги́л, из столицы Шотландии Эдинбурга, написал длинное, подробное письмо доктору Джону Муру — ученому и писателю. Поэт никогда не встречался с ним, но переписывался усердно.

Всего полгода назад, в ноябре, с бедной фермы Моссгил уехал малоизвестный автор небольшого томика стихов — «главным образом на шотландском наречии», как значилось на обложке этой книжки, напечатанной в шестистах экземплярах в маленькой типографии захолустного городка Кильмарнока. А к лету домой вернулся прославленный «Бард Каледонии», предмет удивления всех просвещенных умов Эдинбурга. Его книга вышла в столичной типографии, двухтысячный тираж разошелся по подписке в первые же дни. И теперь поэт, которого знает вся Шотландия, которого читают в Лондоне и Дублине, сидит в небольшой каморке, под самой крышей, перелистывая историю своей жизни, написанную им самим

Каморка осталась такой, как была. Те же две деревянные кровати с соломенными тюфяками и шерстяными одеялами, похожими на толстые попоны. Тот же некрашеный, чисто выскобленный стол с неприкосновенным ящиком, где лежат гусиные перья, роговая чернильница и стопка тщательно нарезанных чистых листков.

На второй кровати спит брат Гильберт. Он такой же широкоплечий и высокий, как Роберт, только голова у него коротко острижена, а у Роберта длинные темные волосы собраны сзади и перевязаны лентой. И глаза у Гильберта другие — светлые и спокойные, как у отца. Роберт унаследовал глаза матери — большие и темные, ее крутой подбородок с ямкой, вспыльчивый нрав.

Его дети похожи на него — такие же темноглазые и темноволосые. Двое из них — тут, на ферме: годовалый Бобби и его сводная сестренка — двухлетняя Бесс. Третья, болезненная маленькая Джин,—близнец Бобби, осталась у матери — у Джин Армор, в доме ее богатых родителей, там, внизу, в трех милях от фермы, в поселке Мохлин.

Теплая августовская ночь стоит за окном. Уже начинает рассветать, чуть порозовела черепица на крышах Мохлина, на остроконечной мансарде дома Арморов.

В такой же предрассветный час два года назад Роберт впервые провожал Джин после долгой ночи в лесу и, подсаживая ее в окно, счастливый и благодарный, целовал похолодевшие от росы босые ноги.

О Джин, о ее «предательстве», о рождении близнецов и о разлуке с ней в письме к доктору Муру нет ничего.

Об этом написано в стихах и песнях, об этом Роберт думает непрестанно. А в письме он только упомянул вскользь: «Это было тяжкое потрясение, о котором мне и сейчас невыносимо вспоминать».

Роберт еще раз перечитывает начало письма:

«Сэр!

Несколько месяцев я разъезжал по разным местам, но сейчас меня приковало к дому нездоровье...

Дабы хоть отчасти вызволить душу из гнетущего тумана тоски...»

Он зачеркивает слово «тоска» и пишет по-французски: «Ennui» — скука.

«...Мне взбрело на ум рассказать вам свою историю. Имя мое некоторым образом прошумело по стране. Вы оказали мне честь, приняв горячее участие в моей судьбе, и, быть может, правдивый рассказ о том, что я за человек и как стал таким, займет ваше внимание в свободную минуту...

...И если, прочтя эти страницы, вы сочтете их пустыми и нескромными, я только прошу позволения уверить вас, что бедный автор писал их с немалыми угрызениями совести, чувствуя, что делает то, что делать не полагается... Но в подобное положение он попадает — увы! — не впервые...»

Солнце тронуло вершины деревьев, птицы заливались вовсю. Гильберт уже поднялся с постели и, наклонив голову, читает про себя утреннюю молитву. Роберт молча встал рядом с ним.

Внизу послышались голоса, зашлепали босые ножки, потянуло дымком, горячими овсяными лепешками. Роберт сбежал по лестнице, подхватил на руки маленького Бобби. Мальчишка просто чудо, никогда не ревет, растет здоровый, толстый, как хороший щенок.

У стола мать Роберта расставляет глиняные миски, раскладывает свежие лепешки, большие куски ноздреватого овечьего сыру. И поет, как всегда, чистым, приятным, негромким голосом знакомую с детства песню: «В поцелуе — ключ любви, а замок — в объятьях...» Она и в пятьдесят пять лет все еще похожа на ту рыжеволосую черноглазую певунью, которую привел в свой дом отец.

Об отце, о детстве, о первом своем учителе и о первой попытке писать стихи — обо всем рассказано в письме к доктору Муру.

Но еще больше об этом рассказано в стихах.

И о том, как у садовника Вильяма Бернса и его жены, Агнес Броун, в деревне Аллоуэй, около города Эйра, в западной Шотландии, 25 января 1759 года родился первенец, тоже написаны стихи.

2

В деревне парень был рожден,
Но день, когда родился он,
В календари не занесен.
Кому был нужен Робин?..

Зато отметил календарь,
Что был такой-то государь,
И в щели дома дул январь,
Когда родился Робин.

Разжав младенческий кулак,
Гадалка говорила так
— Мальчишка будет не дурак.
Пускай зовется Робин!

Немало ждет его обид,
Но сердцем все он победит.
Парнишка будет знаменит,
Семью прославит Робин...*

Старая соседка действительно сказала какие-то хорошие слова про крепкого, крупного, черноглазого мальчишку, который родился у Бернсов. И действительно, январский ветер дул с такой силой, что ночью

* Все стихи Бернса в этой книге даны в переводах С. Я. Маршака.

снесло крышу с дома, и матери с новорожденным пришлось спасаться у соседей.

Но Вильям сам починил крышу, и уже пошло третье столетие, как хижина стоит на том же месте.

Стены в ней прочные, глинобитные. Вход через мощенный булыжником хлев, где двести лет назад мычала единственная корова и копошились куры.

В жилой комнате — она же и кухня — Вильям сложил просторный открытый очаг с прочно вделанной решеткой. Торф для топки он нарезал на соседнем болоте, а в праздники в очаг подкладывали и несколько кусков угля.

У очага Вильям поставил глубокое кресло и низкую скамеечку, к которой было удобно придвинуть прялку. Когда дом строился, ни прялки, ни пряхи в нем еще не было, а соседи, глядя, как неразговорчивый высокий северянин в одиночку, медленно строит себе жилье, вносит туда широкую кровать стоячие часы, полку для посуды и всякую другую утварь, невольно любопытствовали: уж нет ли у приезжего на примете невесты из местных девушек? Недаром красавицы Эйршира славились по всей Шотландии.

Но никто не решался спросить Вильяма, когда же он приведет хозяйку в дом.

Соседи несказанно удивились, узнав, что он женится на двадцатипятилетней сироте — Агнес Броун, с которой случайно познакомился на ярмарке.

Агнес знали в деревне как скромную, работящую девушку. Она жила у бабки и с малых лет работала на чужих людей. По вечерам, придя домой, она пряла и пела. Ее старый слепой дядя садился поближе к очагу, слушал песни и плакал, а соседи, проходя мимо покосившегося домика Броунов, жалели девушку: видно, так и останется вековушей, хоть и хороша собой, и добра, и работает за троих, да к тому же поет, как ангелы в раю.

И вдруг этот чужак, который говорил, как господа, и одевался не по-деревенски, взял девушку в одном холщовом платьишке и привел в свой новый

дом. А дом он выстроил по тем временам хороший, даже окно застеклил, хоть и пришлось за это каждые полгода платить особый налог.

Вильям слушал, как в еще не обжитой кухне звенит молодой голос, и думал, что, наконец, и у него есть свой дом — впервые после того, как отца согнали с земли, которую обрабатывало несколько поколений Бернсов, и сыновья пошли скитаться по Шотландии в поисках работы.

С незапамятных времен Бернессы, как тогда писали свое имя предки Роберта Бернса, жили на севере Шотландии, на землях лордов Маришаль-оф-Кийс. Они были «коттерами» — самостоятельными фермерами, которые передавали свой земельный участок по наследству, от отца к сыну, считая себя полновластными хозяевами своего надела.

В начале XVIII века, в 1707 году, Шотландия окончательно потеряла свою независимость, свой парламент и стала частью Великобритании. «Сассенахи», как презрительно звали шотландцы завоевателей-англичан, начали вводить свои законы. И общинные крестьянские земли, общинные выпасы и луга обнесли загородками из камня, отдали в собственность помещикам.

Но Маришали оставили своих коттеров на их участках, а Бернсы, люди богобоязненные и честные, верившие, что всякая власть — от бога, жили со своими хозяевами в ладу, аккуратно платя не слишком обременительную аренду. Богатые лорды не очень притесняли хорошую, работящую семью, а те держались от господ подальше и делали свое дело.

И, несмотря на то, что жизнь лордов отличалась от жизни крестьян, как небо от земли, их всех объединяла ненависть к англичанам и любовь к Шотландии.

Разными были источники и этой любви и этой ненависти. Знать ненавидела узурпаторов королевской власти — ганноверскую династию, при которой были потеряны многие привилегии старинных шотландских

семейств, маленьких царьков в своих горных поместьях. Крестьяне презирали и ненавидели завоевателей, как всякий народ ненавидит чужаков, людей других обычаев, другого языка, пытающихся навязать ему свою религию, свое общественное устройство. Кто, как не проклятые сассенахи, подучил шотландских лордов лишить вольных коттеров их прав на землю? Кто вырядил сыновей Макдональдов и Дугласов в заморские обезьяньи штаны, неприлично обтягивающие ляжки, вместо добрых шотландских «килтов» — клетчатых юбочек и крепких шерстяных чулок, в которых так удобно ходить по горам? Хорошо бы прогнать пришельцев навеки, чтобы снова жить по дедовским обычаям. Не позор ли, что сын короля Якова, славный принц Чарли, сидит за морем и не может помочь своим верным приверженцам — якобитам — выгнать чужаков?

И любили лорды и крестьяне Шотландию по-разному, по-своему. Одни — за огромные поместья, за охотничьи угодья, за реки, где ловилась быстрая форель, за неприступные замки, откуда они выходили в походы.

А другие, те, что своими руками выращивали на каменистой земле скудный хлеб и пасли овец на поросших вереском склонах, любили эту землю, эти снежные вершины и синие горные озера, эти вересковые холмы и бешеные водопады, как любят свою кровь и плоть.

В 1745 году шотландские лорды — якобиты — восстали против англичан. Из-за моря тайно приехал претендент на престол — «славный принц Чарли», человек робкий, слабовольный, неумный. Но шотландские крестьяне примкнули к восставшим не потому, что им нужен был новый король: они верили, что, возведя на престол шотландского короля из дома Стюартов и выгнав сассенахов, они тем самым вернут добрые старые порядки, Шотландия обретет независимость, а крестьяне снова станут свободными коттерами, пожизненно владеющими своими наделами.

Пошли за своими лордами и Бернсы.

А когда англичане разбили восставших и головы

приверженцев принца Чарли уже торчали на железных пиках у лондонского Темпля, лорды Мариша́ль бежали во Францию, а крестьяне были согнаны с земли своих отцов и обречены на полунищенское существование.

В ту пору Вильяму Бернсу — отцу поэта было двадцать четыре года. Ему, как и всей его семье, сызмала пришлось работать у помещиков. Он стал отличным садоводом и, уходя на заработки в столицу, взял с собой рекомендации, где говорилось, что он «способен служить благородным семействам». В общении с господами он перенял правильную речь и сдержанные манеры и, вопреки старой шотландской пословице «чем грязнее, тем теплее», любил жить чисто и просторно.

В Эдинбурге для садовника было много работы: город строился, разбивались парки и сады при замках. Но Вильяму больше всего на свете хотелось обзавестись своей семьей, своим домом. Он уехал из столицы, поступил садовником в имение около города Эйра и, скопив немного денег, взял в аренду семь акров земли, где развел огород и выстроил дом.

Здесь, в деревушке Аллоуэй, Вильям Бернс с семьей прожил семь лет.

Тихо потрескивает огонь в очаге, жужжит прялка. Агнес поет песню, кружится снег за единственным крохотным окошком.

У стола при масляном каганце сидит Вильям Бернс и медленно пишет что-то на узких листах грубой серой бумаги. Сегодня он получил жалованье от хозяина и выгодно продал на рынке овощи. С рынка принес чаю, соли, овсяной муки, патоки и даже немного сахару для жены — она еще кормит их десятимесячного сына, а второе дитя уже в пути.

На сороковом году жизни Вильям, наконец, обрел семью, хорошую жену, здорового сынишку. У него есть все, что нужно доброму христианину, который никогда не гневил бога жалобами, а теперь особенно проникновенно благодарит его каждое утро и каждый вечер за ниспосланное счастье.

Одного ему недостает — образования.

С трудом выводит он сейчас неро́вные крупные буквы. Читать ему легче, и книги для него необходимы как хлеб. Каждые четыре месяца он покупает новый «Календарь земледельца», а недавно приобрел за недорогую цену толстую, сильно потрепанную книгу — «Собрание стихов и прозы, составленное Артуром Мэссоном». Многое ему непонятно, но он по нескольку раз перечитывает отрывки из Мильтона и Шекспира, где рассказывается о падших ангелах и королях, и жалеет, что никто не может объяснить ему темные места.

А по вечерам, перед сном, он сам пишет книгу.

Она называется «Наставление в вере и благочестии». Вильям пишет ее для своего первенца, Роберта, хотя тот еще и ходить не научился. Но когда-нибудь он начнет задавать отцу вопросы — Вильям записывает этот воображаемый вопрос и в меру своего разумения дает на него ответ. Он объясняет сыну, что есть Добро и Зло, а главное, что есть Долг человека. Неуклюже ворочая тяжелые, как валуны, слова, Вильям пытается отгородить ими сына от мирских радостей, от искушений, от грехов. Нельзя потворствовать плоти, нельзя идти наперекор своей судьбе, надо исполнять то, что является твоим долгом, смиренно принимать божью кару и благодарить всевышнего за хлеб, за кров, за спокойный сон.

Вильям смотрит на смуглого большеглазого мальчишку, который только что проснулся и машет крепкими кулачками. Не так-то легко будет вырастить сына смиренным и покорным воле божьей.

Время летит — Робину пошел седьмой год. Сегодня его очередь идти в школу. Гильберт, младший братишка-погодок, остался дома — на двоих только одна пара башмаков, а дни в марте холодные. Все труднее отцу прокормить семью — к двум мальчишкам прибавились две девочки, а что можно снять с семи акров скудной земли? Вильям давно подумывает о том, чтобы арендовать ферму побольше. На примете есть Маунт Олифант — семьдесят акров и дом с отдельным

хлевом во дворе. Хозяин фермы — мэр города Эйра — обещал помочь Вильяму купить скот, земледельческие орудия и аренду назначил небольшую — сорок фунтов в год за первые шесть лет и сорок пять — за все последующие годы.

Но раньше чем через год переехать не удастся.

А пока что надо подумать, как учить сыновей. Теперешний учитель уходит из школы, да и плохо он учит ребят, небрежно. Говорят, в Эйре есть хорошая школа, но из Аллоуэя детям ходить далеко. Надо бы договориться, чтобы учитель из эйрской школы приходил в Аллоуэй.

Вильям Бернс ничего не любил откладывать. В первый же свободный мартовский вечер он просит знакомого хозяина эйрской таверны вызвать молодого учителя, о котором он слыхал от священника. Пусть учитель захватит тетрадь с каллиграфическими упражнениями: важно посмотреть, какой у него почерк О том, что он отлично читает, обладает приятным голосом и знает множество псалмов, Вильям уже осведомлен.

Несмотря на неполные восемнадцать лет, Джон Мэрдок был весьма серьезным юношей. Он даже отказался от стакана эля, предложенного мистером Бернсом, и солидным баском объявил, что невоздержанность даже в таких мелочах может совратить человека с пути истинного. Мистер Бернс подтвердил, что это, безусловно, так, добавив, что получил наилучшие рекомендации касательно нравственных качеств мистера Джона Мэрдока, на что мистер Мэрдок ответил обещанием всячески употребить свои силы и знания на пользу будущим ученикам.

Разговор вышел долгий, обстоятельный. Необъяснимое чувство, которое называют взаимной симпатией, возникло между сдержанным пожилым фермером и юным семинаристом. Они не только сходились во взглядах на религию — Вильям подробно проэкзаменовал Мэрдока, причем учитель удивился его глубокому знанию Ветхого и Нового завета, — но и во взглядах на воспитание и обучение. Мэрдок совершенно был согласен, что первым делом ребенок должен овладеть

Словом — великим даром природы, отличающим человека от бессловесных тварей. Он с жаром объяснил, как чтение и разбор лучших произведений гениев пера очищают душу и оттачивают мысль.

Расстались они самыми настоящими друзьями, и Бернс не забыл сказать на прощание, что кормить учителя будут по очереди пять семей и что он приложит все старания, чтобы юноша и телом стал так же крепок, как крепок он душой.

Один из пяти фермеров, нанявших Мэрдока, предоставил под занятия пустующий амбар недалеко от Бернсов. Учебники собрали со всех домов. Мэрдок принес руководство к правописанию и английскую грамматику Фишера. Кто-то пожертвовал два Новых завета и две библии, а Вильям Бернс отдал свое драгоценное собрание Мэссона, с тем чтобы мальчики каждый раз приносили его домой.

Вильям очень гордился, когда Мэрдок, обедая у него, говорил, что в чтении, разбивке слов на слоги и в правописании Роберт и Гильберт идут первыми. К сожалению, добавлял Мэрдок, они очень отстают в пении псалмов: Роберт никак не может вытянуть ни одной ноты — видно, слуха у него нет.

— Нет, я все слышу, — угрюмо говорит Роберт, — только спеть не умею.

Гильберт смотрел на мрачное лицо брата и прыскал в тарелку. Мэрдок снисходительно упрекал своего любимца: веселый, смешливый Гильберт нравился ему куда больше, чем не по годам задумчивый и сдержанный Роберт.

Те два с половиной года, что Мэрдок провел в Аллоуэе, привязали его к семье Бернсов на всю жизнь. Он стал самым близким и, пожалуй, единственным другом Вильяма. Целые вечера они проводили в беседах, и для молодого учителя эти встречи были так же нужны и важны, как и для старого фермера. Часто Мэрдок читал вслух из неисчерпаемого мэссонского «собрания», и Роберт слушал его не дыша. Красивый низкий голос Мэрдока, отличная дикция и умная, вы-

разительная манера чтения запомнились Роберту навсегда. Отец поражался необыкновенной памяти сына: тот заучивал наизусть целые страницы из Шекспира и, подражая Мэрдоку, читал на разные голоса монологи благородного Антония, несчастного старика Лира и жадного до власти Макбета.

Для того чтобы убедиться, насколько его ученики понимают текст, педантичный Мэрдок заставлял их перекладывать стихи в прозу, заменять синонимами поэтические обороты и восстанавливать все выпущенные слова.

— Твой светлый лик, — читал Роберт и, остановившись, медленно нанизывал близкие и все же совсем разные слова: — Твое прекрасное лицо... Твой ясный образ... Твои прелестные черты... Твое милое личико...

— О нет! — перебивал его строгий Мэрдок. — Последнее выражение слишком простонародно и разговорно. Не подобает ставить его в один ряд с высокопоэтичными образами.

Конечно, девятилетний мальчик не мог объяснить, что ему и эти слова кажутся не хуже других. Много таких простых и ласковых слов попадалось в песнях матери, и от них тоже билось сердце. Почему в песнях можно говорить эти слова, а для книг надо придумывать другие?

Но, наверно, Роберт не задавал таких вопросов умному Мэрдоку, да и вряд ли тот мог бы на них ответить.

Настал день, когда Бернсы, наконец, перебрались на ферму Маунт Олифант.

Вероятно, если бы объехать все графство Эйршир — от широкой реки Эйр до веселых вод прозрачного Дуна, — трудно было бы найти худшую землю, чем жесткая, каменистая почва на Маунт Олифант. Зато хозяин фермы сдержал обещание и дал взаймы Вильяму Бернсу сто фунтов на обзаведение инвентарем и скотиной.

Вильям, как всегда, надеялся на милость божию, на свои руки и на верную помощницу — жену.

А кроме того, уже подрастали двое сыновей — кому, как не им, сменить за плугом стареющего отца?

Слава всевышнему, что не надо отдавать их «в люди». Одно дело — работать батраками по найму, другое — помогать отцу на «собственной» ферме.

Год за годом поднимал отец с сыновьями неподатливую землю, отвоевывая ее у камней, поросших цепким мохом, и у окаменевших корней деревьев. Год за годом, каждую весну, Роберт выходил пахать и, согнувшись, налегал на тяжелые рукояти плуга, который еле тянули отощавшие на скудных кормах кони. Не легче было и молотить деревянным цепом на короткой рукояти. К вечеру болели все кости, нельзя было разогнуть спину. И Роберт еще долго сутулился за столом, слушая, как отец читает библию, или отвечая заданный урок.

Уехал «для усовершенствования в науках» полюбившийся всем учитель Мэрдок, и теперь Вильям сам понемногу учил сыновей арифметике и грамматике, стараясь, чтобы они не забыли то, что знали.

Прощание с Мэрдоком запомнилось всей семье. В тот вечер Мэрдок стал после ужина читать вслух трагедию Шекспира «Тит Андроник», которую вместе с английской грамматикой принес в подарок мальчикам.

У Мэрдока дрожал голос, а все слушатели горько плакали, когда Шекспир описывал страдания несчастной Лавинии, у которой насильники отрезали руки и язык. Но когда жестокие палачи в насмешку спросили, не дать ли ей воды — омыть руки, мальчики в один голос крикнули, что больше читать не надо.

— Значит, вы не хотите, чтобы вам подарили эту книгу? — с укором сказал отец.

— Если книга останется, я все равно ее сожгу! — со слезами закричал Роберт.

Только благодаря вмешательству Мэрдока Роберт избежал наказания. «Тит Андроник» не попал в «личную библиотеку» Роберта, состоявшую из двух книг — «Жизни Ганнибала» и «Истории сэра Уильяма Уоллеса».

Эти книги Роберт перечитывал без конца.

Когда по узким улочкам Эйра шли вербовщики с барабаном и волынкой, расхваливая привольную жизнь в королевской армии, за ними, как всегда, бежали мальчишки. Среди них бывал и Роберт. Описание ганнибаловых подвигов настолько его увлекло, что он твердо решил: когда подрастет, непременно станет солдатом.

Это увлечение было недолгим, разве что на двадцать третьем году жизни он снова вспомнит о волынке вербовщиков и напишет в шутку:

На черта вздохи — ах да ох!
Зачем считать утраты?
Мне двадцать три, и рост неплох —
Шесть футов, помнится, без трех.
Пойду-ка я в солдаты!..

Но «Жизнь Уильяма Уоллеса» навсегда осталась его любимой книгой.

Несколько лет подряд он читал и перечитывал историю легендарного героя Шотландии. Это было довольно слабое переложение поэмы Слепого Гарри — народного поэта XV века, где рассказывалось о подвигах Уоллеса, начавшего борьбу за независимость Шотландии тут, на земле Эйра.

Часто во время пахоты плуг Роберта задевал за кусок ржавого железа или глиняный черепок, а както раз мальчики нашли обломок очень старого копья: здесь когда-то коренное население — пикты — отбивало нападения римских легионов. Много славных битв видела эта земля. В девятом веке пришли завоеватели — скотты. Страна пиктов — древняя Каледония — стала называться Шотландией — Scotland.

Но трон шотландских королей всегда стоял на пороховой бочке.

Ожесточеннее всего враждовали шотландцы со своими соседями — англичанами.

Переменно военное счастье: то шотландский король Александр Второй нападает на Англию, то сильнейшая армия англичан опустошает шотландские города и села.

В конце XIII века англичане совершенно обескровили Шотландию, подчинили ее себе и отняли у страны право жить по своим законам, выбирать себе короля и распоряжаться собственными богатствами.

Шотландия сделалась вассалом Англии, а ставленники англичан — единственными законодателями и властелинами древней страны.

Тогда на историческую арену вышел национальный герой Шотландии — Уильям Уоллес. Он начинает новую страницу в истории Шотландии — историю многовековой борьбы за независимость.

Неисчерпаемы легенды об Уильяме Уоллесе, который разбил англичан и выгнал их из Шотландии.

И несмотря на то, что Эдуарду — королю Англии — все же удалось уничтожить армию Уоллеса и казнить героя, имя его до сих пор окружено ореолом: благодаря ему Шотландию признали самостоятельной страной. Первые десять мест в британском парламенте для шотландцев были куплены ценой жизни Уоллеса и его храбрых соратников.

На шотландский трон сел шотландский король, и когда через десять лет после смерти Уоллеса англичане опять попытаются навязать Шотландии свое господство, шотландский герой Роберт Брюс разбивает сильнейшую в Европе армию англичан при Баннокберне, и Шотландия снова становится независимой.

Об этом напишет стихи мальчик, который сейчас, глотая слезы, читает, как схватили Уоллеса и как повезли его в Лондон на казнь.

Теперь, когда отец отпускает Роберта в Эйр, мальчик другими глазами смотрит на улицы, где дрался с англичанами Уоллес, на место, где стояли казармы, в которых Уоллес сжег весь английский гарнизон, на широкое устье реки, откуда выходили в море шотландские шхуны.

И в его сердце вспыхивает гордость за Шотландию, которая и теперь, несмотря ни на что, осталась Шотландией.

Вечерами, при сальной свечке, Вильям Бернс занимается с сыновьями. Семья живет замкнуто, одиноко. У мальчиков нет товарищей, да и играть им

почти некогда, весь день занят работой. Первые годы на ферме особенно тяжелы: надо выплачивать долг, и Вильяму приходится отказывать себе и своим детям в самом необходимом. Изредка, по воскресеньям, в капустный суп кладется кусок мяса, редко вареную картошку сдабривают бараньим салом и только младшим детям иногда дают кружку молока. Семеро ребят — старшему идет всего тринадцатый год, а отцу уже под пятьдесят. Об одном он молит бога: дать ему время вырастить сыновей честными, богобоязненными и знающими людьми.

Это главная его забота. Для этого он сидит с ними по вечерам, для этого ходит в Эйр к знакомым, берет у них на время книги, а потом, заглядывая в «Географическую грамматику» Салмона, объясняет детям расположение и устройство чужестранных государств. Больше всего отец любит книги, где наука объясняет великую премудрость божию. Он читает вслух «Астротеологию» и «Физикотеологию», где рассказывается о звездах и планетах, об огнедышащих горах и водопадах, созданных всевышним. А в тот год, когда хорошо доились коровы и богато уродился хлеб, Вильям выписал из Эдинбурга шесть толстых томов Новой истории Священного писания, составленной Томасом Стэкхаузом.

Роберт больше всех читает эти книги, и герои библейских легенд становятся для него такими же близкими знакомыми, как сапожник или кузнец в Эйре, с чьими сыновьями он изредка встречается в сельской школе.

В эту школу он ходит всего одно лето, да и то по очереди с Гильбертом, правда, уже не из-за отсутствия башмаков — кому они нужны летом? — а потому, что один из мальчиков непременно должен помогать отцу и матери по хозяйству.

Соседи, изредка попадая на отдаленную ферму, потом рассказывали, что за едой Бернсы — отец и оба старших сына — сидят, уткнувшись носами в книги, а малыши и пикнуть не смеют. Кто-то даже видел, как старший мальчик читал, идя за плугом.

Однообразная, тяжкая жизнь... Беспросветное

уныние отшельника, безустанный труд галерного раба... Роберт стал хмурым, неприветливым, неразговорчивым. Таким и застал его Мэрдок, который неожиданно вернулся в эйрскую школу.

Трудно передать радость, с которой встретили Мэрдока на ферме. Правда, он не забывал Бернсов, постоянно писал Вильяму, присылал книги мальчикам. Но одно дело — письма, другое — живой друг. Мэрдок привез с собой эдинбургские альманахи, новые пособия для школы и даже несколько французских книг.

Мальчиков в этот вечер отправили спать пораньше: отец хотел наедине посоветоваться с Мэрдоком об их судьбе. Речь шла не о Гильберте с его ровным, спокойным характером и любовью к фермерскому делу. Отца беспокоил Роберт. Он рассказал Мэрдоку, какая у сына исключительная память, как он складно пересказывает прочитанные книги, как отлично читает наизусть отрывки из Священного писания. Надо его учить дальше — пишет он неважно, неровно да и грамматические правила знает нетвердо.

— Отдайте его мне на месяц-другой, — сказал решительный Мэрдок, удивляясь про себя, что Роберт оказался способнее Гильберта.—Может быть, вы обойдетесь на ферме без него. Надеюсь, что мне за столь короткое время удастся хоть сколько-нибудь расширить его знания, а тогда он сможет помочь вам обучить младших детей. Я постараюсь дать ему как можно больше пищи духовной...

Мэрдок остановился: он подумал: «...и телесной», но побоялся обидеть старого Бернса, — он ли виноват, что мальчик явно недоедает?..

День и ночь, в школе, за столом, на прогулках, не расстается Мэрдок со своим учеником. Он с радостью смотрит, как Роберт повеселел и окреп. Он не перестает удивляться его великолепным способностям. Через неделю мальчик знал назубок все грамматические правила, все части речи

и спряжения. Его почерк заметно становился лучше, чтение — выразительнее.

Не попробовать ли научить его произношению французских слов? Пусть, если в газете попадется название французского города, корабля или должностного лица, он сумеет произнести его по-французски.

Роберт был счастлив и храбро пошел в атаку на француза. Целыми днями он заучивал слова и фразы, а к концу недели уже разбирал первые строки «Приключений Телемаха».

Но эта счастливая передышка длилась недолго: отец прислал за Робертом — без него на ферме не справлялись.

«Ему пришлось покинуть приятные луга, окружавшие грот Калипсо*, и, вооружившись серпом, искать славы в подвигах на полях Цереры», — написал Мэрдок впоследствии, рассказывая о своем ученике.

Впрочем, на этот раз он ошибся: не строгая Церера, богиня плодородия, стала покровительницей Роберта; в него пустил стрелу «лукавый бог любви» — Амур, и одна из девяти муз — муза лирической поэзии — обратила на него свое благосклонное внимание.

Говоря же простым, не мэрдоковским языком, Роберт на пятнадцатом году жизни влюбился в свою подружку по работе — Нелли Килпатрик и написал для нее стихи.

В этом году урожай был хорош, и на уборку хлеба пришлось взять помощников с соседних ферм. По деревенскому обычаю в подмогу парню всегда давали девушку. Помощницей Роберта была маленькая Нелли — славная девочка, всегда чисто и мило одетая, — в крахмальном чепчике, в беленьком фартучке, в городских кожаных башмачках...

* Калипсо — нимфа, в гроте которой Одиссей жил, забыв обо всем

Бернс подробно описал этот случай в письме доктору Муру:

«...Трудно подобрать о ней слова на литературном английском языке, но у нас, в Шотландии, про таких говорят: «хорошая, пригожая да ласковая». Короче говоря, она, сама того не зная, впервые пробудила в моем сердце ту пленительную страсть, которую я и по сей день, несмотря на едкие разочарования, опасливую житейскую мудрость и книжную философию, считаю самой светлой из человеческих радостей, самой дорогой нашей усладой на земле Как эта «болесть» пристала также и к ней, я сказать не могу. Вы, медикусы, часто говорите, что инфекция передается через воздух, который вместе вдыхаешь, через прикосновение и так далее. Но я никогда не говорил ей прямо, что люблю ее. Да и мне самому было непонятно, почему я так охотно отставал вместе с нею от других, когда мы возвращались вечером с работы; почему при звуках ее голоса мое сердце трепетало, как струна Эоловой арфы, и почему у меня так бешено стучала кровь в висках, когда я касался ее руки, чтобы вытащить колючки или злую занозу. Многое в ней могло вызвать любовь, и притом она еще чудесно пела. На ее любимый напев я и попытался впервые выразить свои чувства в рифмах. Разумеется, я не был столь самонадеян, чтобы воображать, будто я могу писать стихи, какие печатают в книгах; я знал, что их сочиняют люди, владеющие греческим и латынью. Но моя девушка пела песню, которую будто бы сочинил сын одного землевладельца, влюбленный в работницу с отцовской фермы, и я не видел причины, почему бы и мне не рифмовать, как рифмует он, тем более что он был не ученее меня.

Так для меня начались Любовь и Поэзия...»

3

Вильям Бернс не оставлял мысли о том, чтобы дать образование старшему сыну. Он с тревогой смотрел, как мальчик становится все нелюдимей, видел, что он часто встает по ночам и окунает голову в таз с ледяной водой и на вопрос, что с ним, невнятно бурчит что-то о боли в затылке и бессоннице. К концу лета, когда основные работы на ферме были закончены, отец решил послать Роберта в землемерную школу Роджерса, которая находилась в маленьком рыбачьем поселке Кэркосвальде. Двоюродный брат матери, Сэм Броун, обещал приютить племянника у себя.

После трудной и однообразной жизни на ферме Кэркосвальд показался Роберту другим миром. Никогда он не видел таких веселых и беспечных людей, как те, что шумели на берегу залива. Никогда он не думал, что можно добывать средства к существованию не по библейскому закону, повелевшему зарабатывать хлеб «в поте лица своего», а какими-то тайными путями, явно идущими наперекор всем законам божеским и тем более человеческим. Роберт видел, что даже в доме почтенного дядюшки под вечер появляются какие-то люди и дочери Сэма Броуна запирают в шкаф цибики душистого чаю, бочонки, пахнущие ромом, и свертки шелестящего шелка. Дядя отвозил полные мешки в Глазго, а приехав оттуда без вещей, но с набитым кошельком, брал племянника с собой в приморские таверны, где учил его единым духом выпивать стакан эля и смело вмешиваться в пьяные драки, если нужно выручить приятеля.

Во все глаза смотрел Роберт на этих людей, бесстрашно выходивших ночью в открытое море, где под прикрытием темноты, не боясь таможенных шлюпок, они переносили запретный груз с палубы французских кораблей в свои лодки. Эти люди не только зарабатывали в одну ночь больше, чем вся семья Роберта за целый год, но и умели спустить за вечер такие деньги, какие и не снились жителям фермы.

Роберту при его отличной памяти никогда не приходилось зубрить математику, как его товарищам, и даже педантичный Роджерс был доволен учеником. Тот быстро овладел начатками землемерных наук и быстрее всех решал задачи по геометрии и тригонометрии.

Но сердце Роберта, которое, как он потом писал, «мгновенно воспламенялось, как трут, стоило только какой-нибудь богине заронить в него искру», вдруг забилось с такой силой, что вся геометрия пошла прахом.

Он не раз видел, как в соседнем саду, за школьным забором, прехорошенькая девушка поливает цветы или собирает поздние ягоды. Однажды в полдень, выйдя в сад, чтобы определить, по заданию учителя, высоту солнца, Роберт лицом к лицу столкнулся с прелестной соседкой. Секстант и тетрадка остались лежать в траве, девушка, застенчиво улыбаясь, сказала, что ее зовут Пэгги Томпсон, и согласилась, когда дома все уснут, прийти вечером сюда же, в сад.

То была последняя неделя пребывания Роберта в школе. Все ночи напролет он не спал, то бегая на свидания с Пэгги, то ворочаясь без сна на своей

койке. И снова рифма и мелодия стиха стали непосредственным голосом его сердца.

В стихах, посвященных Нелли, пятнадцатилетний деревенский мальчик просто попытался спеть на знакомый мотив песенку про свою подружку и ровесницу. Он рассказал, какая она приветливая и скромная, как мило ее чистенькое платьице, — «такой славной девочке все будет к лицу!» — и под конец, словно заглянув в толстый сборник чувствительных стихов, заявлял, что она «безраздельно царит в его сердце».

А в стихах, написанных через два года для Пэгги, влюбленные уже встречаются в огромном мире, где каждый порыв ветра, каждый шорох травы дышит их радостью, а жестокость охотника, подбившего лесную птицу, больно ранит их сердца. И сколько птиц поет в этих строках, сколько осенних щедрот рассыпано в поле и в саду...

А ведь такой кругом покой.
Стрижей кружится стая,
И нива никнет за рекой
Зелено-золотая.

Давай пойдем бродить вдвоем
И насладимся вволю
Красой плодов в глуши садов
И спелой рожью в поле.

Так хорошо идти-брести
По скошенному лугу
И встретить месяц на пути,
Тесней прильнув друг к другу.

Как дождь весной — листве лесной,
Как осень — урожаю,
Так мне нужна лишь ты одна,
Подруга дорогая!

Совсем другим вернулся Роберт домой, на Маунт Олифант, этой осенью 1775 года. Он вырос, загорел, повидал, как говорится, свет, прочел много новых книг, а главное — завязал новые знакомства. Теперь почта часто приносит письма от товарищей по школе, и Роберт добросовестно отвечает на них длинными, отлично написанными посланиями. Правда, он нередко перечитывает пухлую потрепанную книгу — «Переписка лучших умов времен королевы Анны» и его письма больше похожи на размышления семидесятилетних философов, чем на мысли семнадцатилетнего мальчика. Очевидно, это и нравится Роберту, потому что он тщательно хранит все черновики.

Но жизнь на ферме, как известно, мало располагает к отвлеченному философствованию, а Роберту приходится работать, как никогда: умер хозяин фермы, и его наследники поручили своему управителю выгнать Бернсов с Маунт Олифант. Наглец фактор даже не хотел дать им время подготовиться к переходу на другую ферму, которую удалось арендовать у некоего Мак-Люра на более выгодных условиях, как им тогда казалось.

Одиннадцать лет работала вся семья на Маунт Олифант, но на новую ферму — Лохли́ они пришли такими же бедняками, как и одиннадцать лет назад. Снова пришлось брать в долг деньги, снова распахивать недобрую целину — только сейчас приходилось бороться не с камнями и корчагами, а с вязкими мочажинами, с болотистыми топями и засыпáть известь в кислую почву — как было обусловлено в контракте: «дважды за вышеуказанное время по четыреста бушелей * на акр».

И все же вначале Бернсам жилось на этой ферме гораздо легче: по условиям аренды они меньше зависели от произвола хозяина и не обязаны были отчитываться перед его управителем. Теперь они знали, что никто не посмеет ворваться к ним в дом, стучать кулаком по столу и грозить немедленно выбросить всех на улицу, если не будут уплачены какие-то недоказуемые долги. Бернсы не думали о тех силах, которые оказались куда страшнее управителя: все же перед ним можно было захлопнуть двери, пожаловаться на него хозяину. Но кому пожалуешься на «яростных псов, рычащих из конуры правосудия»?

* Бушель — мера веса, около 36 килограммов.

Как бороться с законами и судами, с неумолимой властью банков, земельных управлений, с десятками стряпчих, адвокатов, писцов и судей?

С ними Вильяму Бернсу пришлось столкнуться в конце жизни.

Но пока что на ферме Лохли царило относительное благополучие. Отец назначил Роберту и Гильберту жалованье — семь фунтов стерлингов в год. Из этой мизерной платы вычиталась стоимость каждой рубашки, сшитой дома, каждой пары шерстяных чулок, связанных сестрами.

Для Роберта переезд в Лохли был переменой в жизни. Всего в какой-нибудь миле от фермы раскинулось оживленное, людное сельцо Тарбо́лтон — центр фермерской округи. Сюда съезжались в церковь, на рынок, на мельницу. Закончив дела, народ собирался в таверне, неподалеку от церкви, выпить кружку эля, поговорить — словом, провести время, как испокон веков проводят его во всех концах земли — в харчевнях, салунах, трактирах и траттори́ях — степенные сельские хозяева, люди солидные, неразговорчивые, неторопливые. Это не городской, не в меру суетливый, не в меру крикливый народ. Тут ни крику, ни драки. Медленно раскуриваются трубки, медленно, смотря по погоде, разматываются теплые шарфы или расстегиваются тесные воротники рубах, не спеша тянут тяжелые крупные губы пиво, эль или другую не слишком хмельную влагу, не спеша вынимаются из кошельков пенсы, пятаки или песеты.

Человек поработал, человеку надо отдохнуть.

По воскресеньям у церкви собирается молодежь. В сумерки в верхнем этаже таверны или в чисто выметенном амбаре пристраивается скрипач или волынщик: воскресенье кончилось, можно повеселиться. Девушки жмутся у входа, ждут, пока их пригласят На них короткие клетчатые юбки, яркие безрукавки, в руках — башмачки. Кавалер платит два пенса за вход и приглашает полюбившуюся ему девицу.

Она торопливо надевает башмаки и, стуча каблуками, бежит танцевать.

Роберт и Гильберт тоже тут. Но они не танцуют: отец строго-настрого запретил им учиться этому дурацкому делу.

Роберт смотрит на своих сверстников, на свои босые ноги.

Так дальше нельзя. Пусть отец сердится — Роберт теперь человек взрослый. Он тоже хочет быть как все.

«Правая нога, отставленная несколько в сторону, при наклоне корпуса вперед выражает почтительность. Левая же нога в том же положении, при некотором повороте всего туловища влево, обозначает как бы удовольствие при встрече с другом. Перебирание ногами на месте — с отводом левого плеча, при несколько наклоненной голове намекает на скрытый восторг при встрече с обожаемым предметом нежных чувств».

Роберту́ несколько неловко выполнять эти смешные движения, как они описаны в «Руководстве к танцам». Но если человек считает себя самым неуклюжим существом во всем приходе, он должен приложить все старания, чтобы придать лоск своим манерам.

И Роберт вместе с другими учениками и ученицами тарболтонской школы танцев послушно проделывает старомодные па и реверансы.

А потом учитель разрешает танцевать старые шотландские «рийлз» — что-то среднее между кадрилью и джигой. Ветхая скрипка, только что выводившая тягучие «каденции», заливается звонкой и четкой плясовой. Под нее сами ходят ноги, и сами складываются в рифму слова. Напротив Роберта танцует хорошенькая девочка, рядом — другая. Он не решается с ними заговорить, но за него поют стихи:

О Мэри, выгляни в окно,
Я жду тебя в заветный час...

Каблуки отбивают ритм, поет скрипка, в голове отчетливо чеканятся строчки. У воображаемой героини уже появляется имя — звучное, милое имя — Мэри Моррисон: оно легко входит в песню:

Тум-тум-та-ра — счастливый сон,
Моей наградой будешь ты,
Красотка Мэри Моррисон...

Старинная народная мелодия, ей в такт бьется сердце, пульсирует кровь во всем теле, и в такт сердцу, в такт музыке рождаются слова... Роберт Бернс еще не знает, что так будут приходить к нему лучшие его песни, но он уже счастлив оттого, что они приходят.

Вечером на ферме скучно. Отец кашляет в спальне, прялка матери жужжит, как жужжала восемнадцать лет назад в кухне аллоуэйской мазанки. Гильберт и сестры рано легли спать. Роберт устал не меньше их — он, как всегда, работал в поле с рассвета. Но ему неохота сидеть дома. Все книги, взятые у тарболтонских друзей, прочитаны, надо бы сменить их. И вообще хочется уйти из дому туда, где люди.

Роберт молча одевается и уходит в Тарболтон.

В таверне тепло, накурено, уютно. Роберт сидит в стороне, пьет свое пиво, слушает разговоры. Фермеры толкуют о всякой всячине.

Может быть, в один из этих вечеров какой-нибудь старик рассказал, как ему жаль отдавать на живодерню старую кобылу, полученную еще в приданое за женой, и как он дал бедной животине лишнюю мерку овса под Новый год.

Наверно, такие истории рассказывались сотни раз, наверно, их слушали тысячи людей.

Но только один человек сделал из этого стихи.

Роберт словно сам видит и эту старую лошадь, и ее хозяина, его узловатые, в синих жилах руки, медленно высыпающие в кормушку крупный овес.

Кобыла перетирает зерна желтыми щербатыми зубами, а хозяин смотрит на нее и бормочет беззубым ртом:

Привет тебе, старуха-кляча,
И горсть овса к нему в придачу.
Хоть ты теперь скелет ходячий,
Но ты была
Когда-то лошадью горячей
И рысью шла.

Ты глуховата, слеповата.
Седая шерсть твоя примята,
А серой в яблоках когда-то
Была она.
И твой ездок был тоже хватом
В те времена!..

Нетрудно представить себе, как вечером, в таверне, Роберт читает эти стихи вслух:

Когда я стал встречаться с милой,
Тебе всего полгода было,
И ты за матерью кобылой
Трусила вслед.
Ключом в тебе кипела сила
Весенних лет.

Я помню день, когда, танцуя
И щеголяя новой сбруей,
Везла со свадьбы молодую
Ты к нам домой.
Как любовался я, ликуя,
В тот день тобой!..

Нетрудно понять, почему эти строки сразу дошли до сердца слушателей. В первый раз люди слыхали такой складный рассказ на родном языке, и каждый вспоминал то, что бывало с ним самим. Да, так и он в молодости, случалось, ехал домой:

Тебя на ярмарках, бывало,
Трактирщики кормили мало,
И все ж домой меня ты мчала,
Летя стрелой.
А вслед вся улица кричала:
— Куда ты? Стой!

Когда ж с тобой мы были сыты
И горло у меня промыто, —

В те дни дорогою открытой
Мы так неслись,
Как будто от земли копыта
Оторвались...

Нет, не забудет хозяин верного своего слугу, хоть и пользы от такого старого одра в хозяйстве нет:

Не думай по ночам в тревоге,
Что с голоду протянешь ноги.
Пусть от тебя мне нет подмоги,
Но я в долгу —
И для тебя овса немного
Приберегу.
С тобой состарился я тоже.
Пора сменить нас молодежи
И дать костям и дряхлой коже
Передохнуть.
Пред тем, как тронемся мы лежа
В последний путь.

Теперь, когда Роберт заходил в таверну, он уже не сидел в стороне. Все звали его к столу, все спрашивали, не сочинил ли он еще что-нибудь.

И он читал им про то, как умерла его овца, бедная Мэйли, или про то, как хорошенькая Анни провожала его поздней ночью через поле ячменя:

Так хороши пшеница, рожь
Во дни уборки ранней.
А как ячмень у нас хорош,
Где был я с милой Анни...

И, может быть, старый Джон Рэнкин, отец Анни, хлопая по плечу Роберта, жалел, что у парня ничего нет за душой: такой ни за что не пойдет бедным зятем к нему, Рэнкину, в Адамхилл — на одну из лучших ферм в округе, хотя там он всегда желанный гость.

Роберт отлично знал, что ни богатая Анни, ни барышни с фермы Бенналс ему не пара. И об этом он тоже сложил стихи:

В Тарбо́лтоне, право,
Есть парни на славу,
Девицы имеют успех, брат.
Но барышни Ро́налдс,
Живущие в Бе́ннолс,
Милей и прекраснее всех, брат.
Отец у них гордый.
Живет он, как лорды.
И каждый приличный жених, брат,
В придачу к невесте
Получит от тестя
По двести монет золотых, брат.
Нет в этой долине
Прекраснее Джинни.
Она хороша и мила, брат.
А вкусом и нравом
И разумом здравым
Ровесниц своих превзошла, брат...

Сестра ее Анна
Свежа и румяна.
Вздыхает о ней молодежь, брат.
Нежнее, скромнее,
Прекрасней, стройнее
Ты вряд ли девицу найдешь, брат.

В нее я влюблен,
Но молчать осужден.
Робеть заставляет нужда, брат.
От сельских трудов
Да рифмованных строф
Не будешь богат никогда, брат.

А если в ответ
Услышу я «нет», —
Мне будет еще тяжелей, брат.
Хоть мал мой доход
И безвестен мой род,
Но горд я не меньше людей, брат.

Я чисто одет.
К лицу мне жилет,
Сюртук мой опрятен и нов, брат.
Чулки без заплатки,
И галстук в порядке,
И сшил я две пары штанов, брат...

Не плут, не мошенник,
Не нажил я денег.

Свой хлеб добываю я сам, брат.
Немного я трачу,
Нисколько не прячу,
Но пенса не должен чертям, брат.

Сверстники восхищались Робертом. Когда он бывал в хорошем настроении, то не было человека веселее, остроумнее, находчивее. Он был первым во всем — и в работе и в шутке. Он гордился своей физической силой: одной рукой он подымал тяжелые мешки, лучше всех косил и жал, быстрее всех убирал снопы. Роберт стал совсем не похож на того угрюмого подростка, каким его знал когда-то Мэрдок.

Но и теперь он иногда уходил из дому один, хмурый и молчаливый, и долго бродил по лесу или вдоль быстрого ручья. Роберт всегда любил «бегучую» воду — говорливые ручьи с гор, прозрачные потоки на полянах, шумные реки. Иногда в воскресные дни — единственные свободные дни на ферме — он брал с собой книгу и долго читал толстые тома философических сочинений, ища в них ответа на вопрос: как ему жить дальше, в чем найти цель жизни, а главное — во что верить?

В те годы ему гораздо больше нравились книги, говорившие о сокровенных чувствах человека, о его душевных переживаниях, чем произведения английских просветителей — Свифта и Дефо. Его настольной книгой был роман Генри Маккензи «Человек чувств». Герой романа, некий Гарлей, обливаясь слезами при виде чужих несчастий, клялся посвятить всю свою жизнь Добру и Справедливости и верил не в сурового бога кальвинистов, который заранее обрекал почти все грешное человечество на муки ада, а в какое-то Высшее Добро и в то, что Человек, по существу, чист и благороден, и хотя Жизнь ожесточает его, но каждый, просвещаясь и совершенствуясь, может стать хорошим.

Герой Маккензи пренебрегал такими «незначительными вещами», как неравное распределение благ в мире, неравенство происхождения, угнетение одного человека другим...

И Роберт читал и перечитывал эту книгу, пока она не истрепалась настолько, что пришлось купить новый экземпляр. Он хотел походить на Гарлея, стать «человеком чувств» и так же, как Гарлей, беседовать с друзьями на возвышенные темы или, объясняясь в любви девушке, «в слезах склоняться к ее ногам», а потом, в уединении, писать ей письма о священных принципах Добродетели и Чести — непременно с большой буквы.

Со своими товарищами он больше всего любил беседовать о том, что его волновало и тревожило.

«Во мне рано зашевелилось честолюбие, — писал он в письме доктору Муру, — но оно искало выхода вслепую, как гомеровский циклоп из стен своей пещеры. Я сознавал, что положение моего отца обрекает меня на вечный труд. Только два входа в храм Фортуны были открыты для меня: дверцы скаредной бережливости и стезя мелкого хитрого мошенничества. Первый вход был настолько узок, что я никак не мог в него протиснуться, второй же путь был мне всегда ненавистен: встать на него значило унизить и запятнать себя... У меня не было никаких видов на успех в жизни, но я жаждал общения с людьми, обладал природной живостью характера, умением все замечать, обо всем составлять свои собственные суждения. По натуре я был склонен к приступам беспричинной тоски, что заставляло меня избегать одиночества...»

В тесной убогой комнатке, на втором этаже тарболтонской таверны, собралось шестнадцать молодых ребят. Хозяин отдает им эту комнатку раз в месяц за несколько пенсов. Небогато и угощение: тратить более трех пенсов запрещено уставом.

Да, перед вами не просто друзья, собравшиеся в таверне: это Тарболтонский клуб холостяков. У него есть устав из десяти пунктов, с регламентом заседаний, с точными указаниями, как вести собрания, кого и как выбирать председателем.

Устав написан Робертом Бернсом — главным

основателем клуба. В первом пункте говорится, что «клуб собирается каждый четвертый понедельник, вечером, для обсуждения любой предложенной темы за исключением спорных вопросов религии». Дальше устанавливается, как выбирать тему, как рассаживаться для дискуссии. «Те, кто защищает одно мнение, — садятся по правую руку председателя, противники — по левую его руку».

Регламент строг: оратора нельзя прерывать, иначе — штраф, но каждый имеет право высказаться. Строжайше воспрещается «всякое сквернословие и богохульство, особливо всяческие непристойные и нечистые разговоры...».

О заседаниях клуба и о его делах, как говорится в пункте седьмом, никому разбалтывать нельзя. А если кто-либо из членов клуба разгласит дела клуба «с целью высмеять или унизить кого-либо из сочленов», виновник подвергается «вечному изгнанию» и остальные члены клуба должны избегать какого бы то ни было общения с ним.

Но самым главным пунктом устава был десятый, последний пункт:

«Каждый, кто избирается в это общество, должен обладать честным, искренним и открытым сердцем, стоять выше всяческой грязи и подлости и, не таясь, быть поклонником одной или нескольких представительниц прекрасного пола. Ни один высокомерный, самодовольный человек, мнящий себя выше остальных членов клуба, и особенно ни один из тех низких душой суетных смертных, чье единственное желание наживать деньги, ни под каким видом в члены клуба приниматься не будет. Иначе говоря, самый подходящий кандидат для этого содружества — жизнерадостный, чистый сердцем малый, тот, кто, имея верного друга и добрую подругу и обладая средствами, при которых можно прилично сводить концы с концами, считает себя самым счастливым человеком на свете».

Чаще всего в клубе обсуждаются вопросы, предложенные Робертом Бернсом. Сегодня под его председательством идет спор на животрепещущую тему. Он изложил ее так:

«Предположим, что юноша, выросший на ферме, но не владеющий богатством, имеет возможность жениться, выбрав одну из двух девушек. Первая богата, но не обладает ни красотой, ни приятностью в обращении, однако может вести хозяйство на ферме. Другая же во всех отношениях — и внешностью, и разговорами, и манерами — весьма приятна, но никаким состоянием не располагает. Которую из них надлежит избрать?»

В сохранившихся протоколах Клуба холостяков нет ответа на этот трудный вопрос. Неизвестно, кто выступал в защиту брака с богатой девицей, которая умеет хозяйничать, но «не обладает ни красотой, ни приятностью в обращении». Но мы твердо знаем, что думал об этом сам председатель собрания. Возможно даже, что, расходясь после горячих дебатов, члены клуба пели песню Роберта, написанную незадолго до того, — насмешливую песенку о надменной богачке Тибби:

О Тибби, ты была горда
И важный свой поклон
Тем не дарила никогда,
Кто в бедности рожден.

Вчера же, встретившись со мной,
Ты чуть кивнула головой.
Но мне на черта нужен твой
Презрительный поклон!

Ты думала наверняка
Пленить мгновенно бедняка,
Прельщая звоном кошелька.
На что мне этот звон!..

Как ни остер будь паренек,
Ты думаешь, — какой в нем прок,
Коль желтой грязью кошелек
Набить не может он!

Зато тебе по нраву тот,
Кто состоятельным слывет,

Хотя и вежлив он, как скот,
И столько же умен.

Скажу я прямо, не греша,
Что ты не стоишь ни гроша,
А тем достатком хороша,
Что дома припасен.

С одной я девушкой знаком.
Ее и в платьице простом
Я не отдам за весь твой дом,
Сули хоть миллион!

Конечно, у Роберта была на примете девушка в простом платьице, и он писал ей письма в духе «Человека чувств», доказывая преимущества настоящей любви и родства душ перед земными благами.

Увы! На третье письмо девица рассудительно ответила, что сердце ее занято и Роберту надеяться не на что.

А он писал так изысканно о «чувствах, достойных настоящего мужчины, и, смею добавить, настоящего христианина». Он так беспощадно разоблачал «низкого червяка», который, говоря женщине, что он ее любит, «на самом деле сосредоточил все свои чувства на ее кармане», так презрительно отзывался о «тупом работяге», который, «ухаживая за девушкой, выбирает, словно на конном рынке, какую потолще и покрепче, чтобы, как мы говорим про рабочую лошадь, хорошо тянула и покорно шла в упряжке».

«Я презираю их грязные, низкие представления о браке, я был бы искренне возмущен собой, если бы думал, что способен так относиться к представительнице пола, созданного для украшения общества. Жалкие дураки! Не завидую счастью того, кто думает, как они. Я же, со своей стороны, мечтаю о совсем иных восторгах с милой моей подругой...»

И на такие письма, достойные лучших умов времен королевы Анны, получить холодный, обидный ответ...

Поздняя осень... Отцу становилось хуже. Теперь всем было ясно, что он тяжело болен: злая чахотка делала свое дело.

В один из особенно тяжелых дней вдруг пришла бумага от хозяина фермы — Мак-Люра: он требовал с Вильяма Бернса огромную по тем временам сумму — семьсот семьдесят пять фунтов. Мак-Люр пытался за счет своего арендатора хоть частично покрыть страшные убытки, которые он потерпел при крахе одного из шотландских банков. Америка объявила войну Англии — торговля Шотландии с Вест- и Ост-Индией, куда ходили почти все шотландские корабли, совсем упала: Америка освободилась от колониальных пут, Великобритания терпела поражение. Военная гроза разоряла не только богатых купцов и банкиров, но и вкладчиков банков и владельцев закладных — всяких мелких торговцев, фермеров, хозяев небольших мастерских.

Семья Бернсов была неожиданно втянута в этот финансовый водоворот. Требование Мак-Люра не только означало полный крах всех надежд, голод и разорение, но и было вопиюще несправедливым: вместе с судейскими крючкотворами Мак-Люр придумал, что какие-то якобы не выполненные старым Бернсом условия аренды нанесли убыток в размере семисот семидесяти пяти фунтов, которые Мак-Люр и требовал со своего арендатора.

Возмущенный такой несправедливостью, упрямый и непоколебимо честный Вильям Бернс решил бороться во что бы то ни стало.

Поначалу ему казалось, что можно добиться правды через третейский суд. Мак-Люр назначил со своей стороны некоего Богхеда. Роберт давно недолюбливал этого заносчивого пьяницу-сквайра и сочинил эпитафию для его воображаемой могилы:

Джемс Грив Богхéд
Был мой сосед,
И, если в рай пошел он,
Хочу я в ад,
Коль райский сад
Таких соседей полон!

А пока третейские судьи рылись в бумагах, отец решил отослать Роберта в город Эрвин.

Весной Роберт и Гильберт засеяли лен на небольшом участке. Лен удался отличный, и Роберт даже получил приз за хорошие семена. В Эрвине он должен был научиться чесать и трепать лен, и отец надеялся, что можно будет завести свою небольшую льночесалку и ткать дома холсты, которые сильно поднялись в цене.

И Роберт уехал в Эрвин с деревянным сундучком, где лежал запас муки, новые рубашки, хорошая куртка и две пары чулок из овечьей шерсти.

На дне сундучка он спрятал отцовскую библию и самодельную тетрадку со стихами.

4

Скоро новый, 1782 год... Стоит холодный, промозглый декабрь. Роберт только что оправился после тяжелого плеврита. Отец приезжал в Эрвин, ухаживал за ним, как за маленьким. Теперь Роберт сидит в своей каморке, около льночесальной мастерской Пикока, и пишет домой отцу:

«Многоуважаемый сэр!

Я нарочно откладывал письмо в надежде, что буду иметь удовольствие видеть вас в день Нового года. Но работы так много, что я не считаю возможным уехать как по этой причине, так и по другим, о которых сообщу вам при встрече. Здоровье мое почти в том же состоянии, в каком вы меня оставили, только сплю я несколько крепче и вообще чувствую себя лучше, хотя и поправляюсь медленно. Мой мозг настолько обессилен болезненностью моих нервов, что я не смею ни вспоминать старые горести, ни смотреть в будущее, ибо малейшая тревога или волнение сейчас же вызывают самые нежелательные последствия для всего моего организма. Но подчас, когда мой ум временно проясняется, я робко заглядываю в грядущее. Однако главное и, в сущности, самое любимое мое времяпрепровождение — смотреть и на прошлое и на будущее с точки зрения морали и религии.

Меня окрыляет мысль, что, быть может, недалек тот час, когда я навеки скажу «прости!» всем горестям, невзгодам и тревогам сей томительной жизни, ибо, смею вас уверить, я изрядно устал от нее...»

Письмо пришло на ферму под Новый год. Вильям Бернс читал его вслух. Он гордился, что сын так ревностно выполняет свои обязательства перед семьей, работает, как всегда, добросовестно и усердно и, кроме того, пишет такие отличные письма:

«Что же касается до земной жизни, то я отчаялся достичь в ней чего-либо. Я не создан ни для суеты дельцов, ни для суетности празднолюбцев. Предвижу, что Бедность и Безвестность ожидают меня, и готов их встретить в любой день. За отсутствием времени и бумаги мне остается только от души поблагодарить Вас за уроки добродетели и благочестия, преподанные мне, и, хотя я пренебрегал ими когда-то, я от души надеюсь, что вспомнил их не слишком поздно...»

Впрочем, в тот вечер, когда отец читал это письмо вслух, Роберт на время забыл «уроки благочестия»: уж слишком настойчиво хозяин и хозяйка звали его встречать с ними Новый год. Они накрыли стол в мастерской и, когда Роберт вышел из своей каморки, оба уже были под хмельком. Они усердно угощали Роберта, пели немыслимые песни и весело ругали друг друга нехорошими словами за то, что их гость так скучен и мало пьет. Хозяйка, растрепанная, со съехавшим набок чепцом, расплескивая пунш по столу, потянулась к Роберту чокаться и опрокинула свечу прямо на тюк со льном. С визгом отпрянула она от вставшего столбом огня и выскочила на улицу. Роберт с хозяином попытались было затушить огонь, но мастерская, набитая тюками льна и пеньки, уже пылала костром.

Роберт давно догадывался, что Пикоки — первостатейные мошенники и воры. Видно, оттого они больше всего боялись, что пожар в мастерской привлечет к ним внимание властей. Поэтому Пикок был готов заплатить своему ученику значительную сумму за его сгоревший скарб — лишь бы тот помалкивал.

Роберт был рад, что сгорела темная каморка при

мастерской, где он задыхался от едкой пыли и маслянистой вони льночесалки. Дожидаясь окончательного расчета с Пикоком, он перешел в другую мастерскую и переехал в маленькую мансарду с круглым окошком, выходившим на реку. Оттуда было видно, как в устье реки Эрвин входили, развернув паруса, большие океанские корабли, и ветер доносил вместе с запахом моря непривычные запахи просмоленных канатов, винных бочек и кулей с заморскими пряностями.

Вечерами, после работы, Роберт шел сначала по главной улице мимо каменных домов, где жили разбогатевшие купцы и судовладельцы, мимо ткацких мастерских, мимо церквей, аптек, пекарен и магазинов, каких он никогда не видел раньше, потом сворачивал в узкие переулки, где работали гончары, медники, сапожники и дубильщики, и спускался в порт, раскинувшийся по правому берегу широкого устья реки Эрвин.

Для сына фермера, который до двадцати двух лет знал только чинные зеленые улочки Эйра, сельские ярмарки Тарболтона да маленькие приморские кабачки Кэркосвальда, где шумели рыбаки и контрабандисты, эрвинский порт казался воротами в иной, огромный мир.

Но этот мир был для него чужим, и он только молча смотрел на горланивших песни матросов, на бесстыжих простоволосых девчонок, приставших к степенным светлоглазым и белобрысым шкиперам с норвежских кораблей и толстым краснолицым боцманам из Гамбурга. Иногда в порту появлялись худощавые черноволосые французы и маленькие быстрые итальянцы. Они привозили из теплых краев финики, ананасы и заморских зверей — грустных, дрожащих от холода обезьянок и пестрых попугаев, которые гортанно коверкали бранные слова по крайней мере на десяти языках.

Может быть, Роберт так и уехал бы домой не участником, а только свидетелем этой бесшабашной, горластой и нескромной жизни, похожей на описания путешествий в романах Дефо.

Но в один из вечеров, когда он медленно допивал

свою единственную кружку некрепкого эля и, краснея, старался не смотреть в сторону двух растрепанных, хохочущих девиц, непрестанно отпускавших на его счет соленые шуточки, к нему подсел широкоплечий моряк с насмешливыми синими глазами и приятной негромкой речью хорошо воспитанного человека.

5

— ...И эти мерзавцы высадили меня на совершенно пустынный дикий берег, в одной рубашке, без еды, без гроша. Домой я добрался на рыбачьем шлюпе... Теперь все надо начинать сначала. Через две недели я снова ухожу в море — простым матросом. Но клянусь честью: я своего добьюсь. Ты еще увидишь меня капитаном корабля. Морское дело я знаю превосходно...

Роберт слушал Ричарда Брауна, как дети слушают сказку: жизнь его ровесника отличалась от его однообразной и ровной жизни, как бурное море от тихой речной заводи.

Браун родился в семье простого ремесленника, и, если бы рано осиротевшего мальчика взял в ученье кто-нибудь из товарищей отца, он стал бы слесарем или механиком и всю жизнь прожил бы в каком-нибудь захолустье. Но в судьбе Ричарда принял участие богатый и знатный сосед. Он отдал мальчика в отличную школу, где учились дети джентльменов, и Ричард, проявивший недюжинные способности, уже готовился перейти в колледж, когда его благодетель умер, не оставив никаких распоряжений и никаких средств для своего воспитанника. С горя тот завербовался на корабль, уходивший в дальнее плавание.

С тех пор Ричард несколько раз обошел вокруг света и даже сколотил кое-какие деньги. Но пираты, напавшие на его корабль, обчистили всех до нитки, а его за сопротивление высадили в Ирландии. Теперь он был не богаче своего собеседника — у обоих только и хватало денег, что на кружку эля и ломоть хлеба с сыром.

Но в молодости человек забывает обо всем, встретив родную душу. Для Роберта рассказы Брауна были слаще крепкого вина и сочного бифштекса. С жадностью он слушал своего нового друга.

О нем он писал доктору Муру так:

«Поворотным событием моей жизни была дружба с одним молодым моряком. Я впервые встретил столь исключительного человека, который претерпел бы такие удары судьбы. Мой новый друг был человеком независимого, гордого ума и великодушного сердца. Я полюбил его, я восхищался им до самозабвения и, конечно, во всем усердно подражал ему... По натуре я всегда был горд, но он научил меня владеть своей гордостью и направлять ее. Жизнь он знал много лучше меня, и я сделался его внимательным учеником».

В ту незабываемую весну у моря, когда под мартовским солнцем отогревались больные суставы и от морской соленой свежести дышалось легче и глубже, Роберт встретил еще одного друга — книжку стихов молодого, рано погибшего поэта Роберта Фергюссона.

6

В ранние мартовские сумерки Роберт спускался в порт, в одну из недорогих таверн, где поджидал Ричарда Брауна: через несколько дней тот уходил в плавание на большом корабле, и Роберту хотелось напоследок чаще видеться с другом.

Но по дороге он всегда заглядывал в единственную книжную лавку на главной улице, где хозяин беспрепятственно позволял ему рыться в книгах и журналах, разложенных на прилавке и расставленных на узких высоких полках.

Старый книголюб, полвека просидевший в книжной пыли, одобрительно смотрел, как этот весьма невыгодный клиент, купивший за все время только дешевое издание романа Маккензи «Человек чувств», бережно и любовно перекладывает стопки книг, осторожно переворачивает страницы и подолгу листает дорогие толстые словари, изящно изданные мемуары и нарядные, с золочеными заставками избранные сочинения знаменитых философов и ученых, как осторожно проводит он рукой по мягкому кожаному переплету, с сожалением откладывая книгу, явно недоступную для его кармана.

Наблюдательный владелец всех этих сокровищ заметил, что его посетитель дольше всего читает и

перечитывает собрания стихов и песен и, шевеля губами, незаметно для себя отбивает такт ногой. Хозяин потирал подбородок и посматривал на старый шкафчик, запертый висячим замком и задвинутый в самый угол лавки.

В один из вечеров, когда Роберт, в ответ на деликатное покашливание, с трудом оторвался от томика «Памелы» *, хозяин кивком подозвал его к себе и сказал, что, если его юному другу некуда спешить, он просит оказать ему честь — выпить с ним чашку хорошего чаю и побеседовать на досуге.

В задней комнатке, в каких обычно владельцы магазинов принимают наиболее уважаемых покупателей, Роберт пьет крепчайший чай, похожий цветом на красное дерево. Он ответил на все вопросы старика и, сам того не желая, проговорился, что пишет стихи. Теперь ему ничего не остается, как прочитать строки, написанные во время болезни, когда ему казалось, что смерть близка.

Недаром библия была настольной книгой в семье Бернсов. Недаром строгий бог неизменно присутствовал в их жизни во все часы дня и ночи, не спуская глаз со своих чад и готовя суровое наказание за каждый проступок. К нему обращены псалмы, которым учили Роберта его первые наставники — отец и Мэрдок. Эти псалмы Роберт и переложил в стихи, добавив к ним «Молитву в час глубокого отчаяния».

Старый хозяин книжной лавки — шотландец до мозга костей — внимательно слушает, как этот высокий, чуть сутулый парень в домотканой, очень чистой рубахе и грубошерстных деревенских чулках до колен, тщательно выговаривая английские слова, читает строки, похожие на стихи всех английских поэтов XVIII века; как видно, в них он достаточно начитан. Хорошие стихи, гладкие, звучные, но есть в них что-то ненастоящее, не похожее на живую речь, которую старик только что слышал из уст своего гостя. И откуда у него такие мрачные мысли? Ему бы сейчас пить вино, обнимать веселую девчонку — перед

* «Памела» — роман Ричардсона.

такими глазищами ни одна не устоит! А вместо этого он просит бога уберечь его от искушения, молит: «Избавь глаза мои от слез — или навек закрой!», сравнивает себя с деревьями, оголенными бурей, и все кается в каких-то, наверно воображаемых, грехах.

Гость кончил читать. Хозяин долго молчит. Потом встает, выходит в лавку, отпирает хитрый замок маленького шкафа и достает из-под толстых дорогих томов ин-фолио * небольшую узкую книжку, отпечатанную на дешевой сероватой бумаге.

— Я хочу, чтобы вы приняли эту книгу от меня на память, — говорит он. — Я не знал автора — он умер в Эдинбурге, в больнице, когда ему было двадцать три года, как вам сейчас. Фергюссон был поэт божьей милостью, и писал он по-шотландски, так, как говорят и у вас в Эйршире и у нас на побережье. Может быть, он вам подскажет, как писать стихи на нашем родном языке...

В этот день Роберт не пришел на свидание с Ричардом Брауном. Он допоздна читал вместе со старым книжником стихи Фергюссона и без конца расспрашивал о его судьбе.

С такой поэзией Бернс встретился впервые.

И впервые понял, что его родной шотландский язык существует не как «простонародный диалект» или язык старинных, полузабытых баллад, а как настоящий литературный язык, на котором можно писать отличные стихи.

По строю, по общности множества слов шотландский язык — родной брат английского. Он похож на английский, как украинский или белорусский похожи на русский, как провансальский — на французский или каталонский — на испанский. Многие поколения шотландцев разговаривали и пели на этом языке, и с XIV века сохранились отличные баллады народных шотландских певцов — «мекэров», воспевавших подвиги героев и страдания влюбленных.

* Инфолио — в лист (тип.).

После объединения Шотландии и Англии образованные и знатные шотландцы, величавшие себя «северобританцами», старались говорить по-английски, а шотландский язык называли «извращенным диалектом» английского, языком простонародья, неприличным в гостиных и университетских аудиториях.

Но нельзя искоренить язык, на котором есть своя литература, свои песни и предания. И по-прежнему на этом языке говорили пахари и пастухи, на нем пелись песни, в которых звучали старинные гэльские слова и погромыхивало раскатистое шотландское «эр-ррр...».

Бернс знал, что «настоящие» поэты теперь пишут по-английски.

Он знал, что поэтами-шотландцами, Томсоном и Шенстоном, особенно гордятся их соотечественники, потому что они писали на классическом английском языке. Мэрдок все время старался приучить мальчиков к «хорошему» английскому произношению. Роберт и сам старался писать все свои «серьезные» стихи по-английски и только в песнях и шуточных стихах давал себе волю писать по-шотландски, чтобы его лучше понимали односельчане.

И тут он увидел, что Фергюссон пишет на шотландском языке легкие, звучные и певучие стихи, пишет просто, понятно и вместе с тем изящно, тонко, с веселой выдумкой, с неистощимой фантазией. Он описывал жизнь «Старого Дымокура» Эдинбурга — ярмарки, скачки, факельные шествия в день рождения короля, даже заседания коллегии адвокатов, где он служил писцом. Иногда он рассказывал о каком-нибудь забавном случае: то он будто бы подслушал спор пешеходной тропки с мостовой, то разболтался с пеночкой, прилетевшей к его окну, то в нарочито напыщенных строфах пел дифирамбы своим старым, видавшим виды штанам.

Крепкий, четкий ритм фергюссоновской строфы, подкрепленный звонкими переборами ловко подобранных рифм, привел Бернса в восторг. Даже лихая пародия в стихах на любимую книгу «Человек чувств» (в пародии воспевались слезы и вздохи «чувствительной свиньи») — даже она не задела Роберта. А может быть, Фергюссон помог ему ощутить некоторую деланность и даже фальшь в герое книги Маккензи, который «ронял слезу» или «рыдал, как дитя», по самому ничтожному поводу.

Но у самого Роберта слезы подступали к горлу, когда он думал о судьбе Фергюссона. Какой великий поэт мог бы вырасти из этого мальчика, загнанного болезнью и нищетой в страшную палату городского дома умалишенных! Неужто никто не понимал, что жалкое голодное существо, дрожащее на соломенной подстилке в углу темной, затхлой клетки, — гордость Шотландии? Неужто никто не мог прийти к нему на помощь, вылечить его, накормить...

Проклятье тем, кто, наслаждаясь песней,
Дал с голоду поэту умереть.
О старший брат мой по судьбе суровой,
Намного старший по служенью музам,
Я горько плачу, вспомнив твой удел.

Зачем певец, лишенный в жизни места,
Так чувствует всю прелесть этой жизни?

Ричард Браун пристально смотрит на Роберта, на тоненькую тетрадку, сшитую суровыми нитками, откуда он только что прочел эти строки. Друзья сидят в лесу, на прогретых солнцем камнях. У их ног деловитой рысцой бежит ручеек, унося прелые листья и сухие прошлогодние травинки, а вокруг зеленеет орешник, на молодых дубках раскручиваются серовато-розовые почки, с моря дует теплый ветер. Пахнет землей, сосновой смолкой, терновым белым цветом.

В такой день нельзя не распахнуть настежь душу, нельзя не рассказать о самом сокровенном, в чем даже себе не всегда признаешься.

В такой весенний день Бернс впервые прочел Ричарду Брауну свои стихи.

И Ричард Браун заставил Бернса поверить в себя как в поэта.

Несколько лет спустя, когда Ричард Браун был

уже капитаном и совладельцем большого торгового корабля, совершавшего регулярные рейсы между Лондоном и Ост-Индией, Бернс в одном из писем напомнил ему об этом незабываемом апрельском дне:

«Помнишь то воскресенье, которое мы провели с тобой в эглинтонском лесу? Когда я прочел тебе свои стихи, ты сказал, что удивляешься, как это я до сих пор устоял перед искушением — послать их в журнал, добавив, что они вполне того достойны. Именно в этих словах я услышал оценку моих стихов, которая подбодрила и поддержала меня в моих поэтических начинаниях».

Что же еще читал Роберт своему другу? Уж, конечно, не переложения псалмов и не мрачные покаянные молитвы. Тогда уже были написаны отличные строки о войне и о любви:

Прикрытый лаврами разбой
И сухопутный и морской
Не стоит славословья,
Готов я кровь отдать свою
В том жизнетворческом бою,
Что мы зовем любовью.

Я славлю мира торжество,
Довольство и достаток.
Приятней сделать одного,
Чем истребить десяток!

И, наверно, Роберт напел ему свою любимую песню, и Ричард сразу узнал знакомую старую шотландскую мелодию, вслушиваясь в новые, придуманные Робертом слова:

Трех королей разгневал он,
И было решено,
Что навсегда погибнет Джон
Ячменное Зерно.

Велели выкопать сохой
Могилу королю,
Чтоб славный Джон, боец лихой,
Не вышел из земли.

Травой покрылся горный склон,
В ручьях воды полно,
А из земли выходит Джон
Ячменное Зерно.

Все так же буен и упрям,
С пригорка в летний зной
Грозит он копьями врагам,
Качая головой.

Но осень трезвая идет,
И, тяжко нагружен,
Поник под бременем забот,
Согнулся старый Джон.

Уже не один, а два голоса поют о буйном и упрямом Джоне, который грозит врагам: Ричард басом гудит мелодию, а Роберт отчетливо скандирует слова:

Настало время помирать —
Зима недалека.
И тут-то недруги опять
Взялись за старика.

Его свалил горбатый нож
Одним ударом с ног,
И, как бродягу на правеж,
Везут его на ток.

Дубасить Джона принялись
Злодеи поутру.
Потом, подбрасывая ввысь,
Кружили на ветру.

Он был в колодец погружен,
На сумрачное дно.
Но и в воде не тонет Джон
Ячменное Зерно.

Не пощадив его костей,
Швырнули их в костер,
А сердце мельник меж камней
Безжалостно растер.

Бушует кровь его в котле,
Под обручем бурлит,
Вскипает в кружках на столе
И душу веселит.

Недаром был покойный Джон
При жизни молодец, —
Отвагу подымает он
Со дна людских сердец...

Так пусть же до конца времен
Не высыхает дно
В бочонке, где клокочет Джон
Ячменное Зерно!

Через два дня Роберт прощается с Ричардом: корабль Брауна уходит в Южную Америку, а двуколка тарболтонского почтаря увозит Бернса в Лохли. Брауна встретят штормы и шквалы, жаркое солнце и смуглые красотки с веерами из пальмовых листьев. Его друг возвращается в крытый соломой дом, где его дожидается *больной отец, угроза выселения, по*старевшая мать и притихшие, полуголодные братья и сестры. Снова его ждет тяжелый четырехлемешный плуг, отощавшие кони, работа с рассвета до поздней ночи, — весной земля требует от человека все, что он может ей дать.

Но теперь ничто не собьет Роберта Бернса с пути: он хочет «ударить по струнам своей дикой сельской лиры» в благородном соревновании с Фергюссоном.

Конечно, у *него нет настоящего образования*, он вырос за плугом, и на его произведениях, несомненно, будет лежать отпечаток грубой деревенской жизни. Но он уверен, что все написанное им — его собственные, нигде не заимствованные мысли и чувства.

«Может быть, какой-нибудь любознательный наблюдатель человеческой природы заинтересуется тем, что думает и чувствует землепашец под влиянием *Любви, Честолюбия, Заботы, Горя* и всех тех тревог и страстей, которые, несмотря на разницу в условиях и образе жизни, одинаково свойственны всему роду человеческому...»

Эти мысли Роберт заносит в свою первую записную книжку. На заглавном листке он выводит отчетливыми красивыми буквами:

«Наблюдения, заметки, песни, отрывки из стихов и так далее, — Роберта Бернса, человека, не искушенного в искусстве наживать деньги и тем более копить их, но вместе с тем обладающего некоторым умом, безусловной честностью и бесконечной доброжелательностью ко всем творениям — разумным и неразумным...»

О чем только не пишет Роберт в этой тетрадке по вечерам, после работы. Он философствует, разбирает свои стихи, он рассуждает о том, что такое хорошие и плохие люди:

«Я часто замечал, сталкиваясь с жизнью людей, что в каждом человеке, даже самом скверном, есть что-то хорошее... Поэтому никто не может сказать, в какой степени другой человек по справедливости может быть назван порочным. Пусть тот, кто имеет среди нас репутацию самого строгого и добродетельного человека, беспристрастно проверит, какому множеству пороков он никогда не предавался, но не вследствие стараний или осмотрительности, а исключительно из-за отсутствия каких-либо возможностей или по случайному стечению обстоятельств; сколь многих прегрешений человеческих он избежал оттого, что на его пути не вставало искушение, и как часто он обязан добрым мнением света тому, что свет о нем далеко не все знает. И я хочу сказать, что человек, понимающий все это, будет смотреть на проступки, нет, даже на грехи и преступления окружающих его людей глазами брата...»

Со страниц этой записной книжки на нас умными, строгими глазами смотрит человек незаурядного ума, редких способностей и необычайной душевной чуткости.

Больше всего на свете он ненавидит фальшь и притворство.

«Шенстон справедливо замечает, что любовные стихи, написанные без истинной страсти, одна из самых жалких затей на свете. Я часто думал, что нельзя быть подлинным ценителем любовных стансов, если ты сам однажды или много раз не был горячим приверженцем этого чувства... Что до меня, то я не имел ни малейшего намерения или склонности стать поэтом, пока я искренне не влюбился,

а тогда рифма и мелодия стиха стали в какой-то мере непосредственным голосом моего сердца...»

И Роберт вспоминает свои первые стихи, написанные в ранней молодости, когда его сердце «пылало непритворным, простодушным и горячим чувством».

Но как же достается этим «безыскусным строкам» — первой песенке о маленькой Нелли! С какой беспощадной строгостью двадцатичетырехлетний поэт разбирает свои юношеские опыты!

Первое двустишие слишком легкомысленно и примитивно, второе — слишком напыщенно и серьезно. И хотя третья строфа автору нравится, но зато в последней много мелких ошибок: нехороши обрубленные строки, вял заключительный образ... «Но я помню, с каким восторгом и страстью я сочинял эту песню, и до сих пор сердце мое тает и кровь бурлит при одном воспоминании», — заканчивает он эту запись.

И если он видит свои ранние ошибки, если он так требователен к себе, то тем острее чувствует он настоящее мастерство, тем благодарнее вспоминает своих собратьев по великому ремеслу стихотворчества.

«Возвышенное благородство, хватающая за душу нежность наших старинных баллад говорят о том, что они созданы рукою мастера, и я не раз испытывал грусть при мысли, что эти славнейшие древние певцы, очевидно обязанные всеми своими талантами только природному дару, все же сумели описать подвиги героев, тоску разочарования и восторги любви в тонких и правдивых строках. Но самые имена их (о, сколь это обидно для честолюбия певца!) теперь «погребены под прахом былого».

О славные имена неведомых бардов, тех, чьи чувства были так сильны, а слова так прекрасны! Последний, самый ничтожный из свиты муз, тот, кто не может подняться на ваши высоты и все же, следя ваш полет, на слабых своих крыльях иногда устремляется за вами, — бедный сельский певец, не известный никому, с душевным трепетом чтит вашу память...

Как и вы, он находил утешение в своей музе. Она обучила его изливать жалобы в безыскусных напевах. Как счастлив был бы он, если бы владел силой вашего воображения, плавностью вашего стиха! Пусть же земля будет вам пухом! И пусть уделом вашим будет блаженный покой, который так редко выпадает в этом мире на долю тех, в чьем сердце всегда находят отклик поэзия и любовь!»

7

Легкий морозец уже затянул «окна» на болоте, куда Роберт и Гильберт с приятелями ходят резать торф на зиму. Весело перешучиваются парни, но, когда начинает говорить Роберт, все умолкают. Никто так не умеет рассказать какую-нибудь занятную историю, никто так ловко не острит, и уж, конечно, никто не пишет таких стихов. Например, Дэви Силлар тоже умеет рифмовать, но у него нет в словах той музыки, той точности и красоты, какая есть в строках Роберта, — они звенят и переливаются, словно трели птиц или волынка пастуха на рассвете. Он их придумывает тут же, идучи за плугом, вечером читает Гильберту, а на другой день их уже переписывают сестры или товарищи.

По-прежнему в Тарболтоне Роберт — желанный гость на всех вечеринках. Он лучше всех умеет ухаживать за девушками. Однако в длинном письме Мэрдоку, своему любимому учителю, он утверждает, что до сих пор «держится вдали от всяческих пороков» и надеется, что, хотя бы в этом смысле, он «не опозорит своим поведением» воспитание, которое дал ему Мэрдок. Да, конечно, он не деловой человек. Больше всего на свете он любит изучать людей, их обычаи и нравы. Ради этого он готов пожертвовать

всем остальным. Он равнодушен ко всему, что заставляет «бедных беспокойных чад заботы метаться и суетиться». Но он не ленив: напротив, насколько ему позволяет здоровье, он не щадит себя в работе. Кроме того, он много читает: его любимые авторы — те, кто пишет в «чувствительном духе»; он старается походить на их героев и спрашивает своего учителя: «Неужто тот, в чьей душе горит свет, зажженный от их священного пламени, тот, чье сердце ширится от благостного чувства ко всему человечеству и кто умеет «воспарить над мелкой суетой земной», — может опуститься до ничтожных забот, из-за которых род людской мятется, мучает себя и кипит, как в котле?»

Но не так-то легко уйти от земных забот и «воспарить» над бедной землей. Роберт отлично отдает себе отчет в том, что происходит вокруг: к весне дорожает мука, да и за большие деньги достать ее трудно. Правда, из Англии поступает белый горох, но и этот источник снабжения, как видно, скоро закроется — «и что тогда будет с нами, особенно с самыми неимущими, одному небу известно».

Об этом Роберт пишет двоюродному брату, нотариусу из Монтроза. Отец всегда поддерживал переписку со своими северными родичами, и теперь, когда он так тяжко болен, письма пишет старший сын:

«Наш край до последнего времени необычайно процветал в производстве шелков, полотен и домотканых ковров, и мы все еще занимаемся этим, но уже далеко не в той мере, как прежде. У нас также были превосходные мастера — башмачники, но сейчас эта отрасль производства совершенно заглохла и сотни людей обречены на голодное существование. Земледелие у нас тоже стоит на весьма низком уровне. Края наши в общем гористы и бесплодны, а наши лэндлорды, заимствовав свои представления о сельском хозяйстве у англичан, а также у жителей Лотиана и других плодородных областей Шотлан-

дии, не делают никакой скидки на низкое качество наших земель, из-за чего и тянут с нас гораздо больше, чем мы обычно можем платить...»

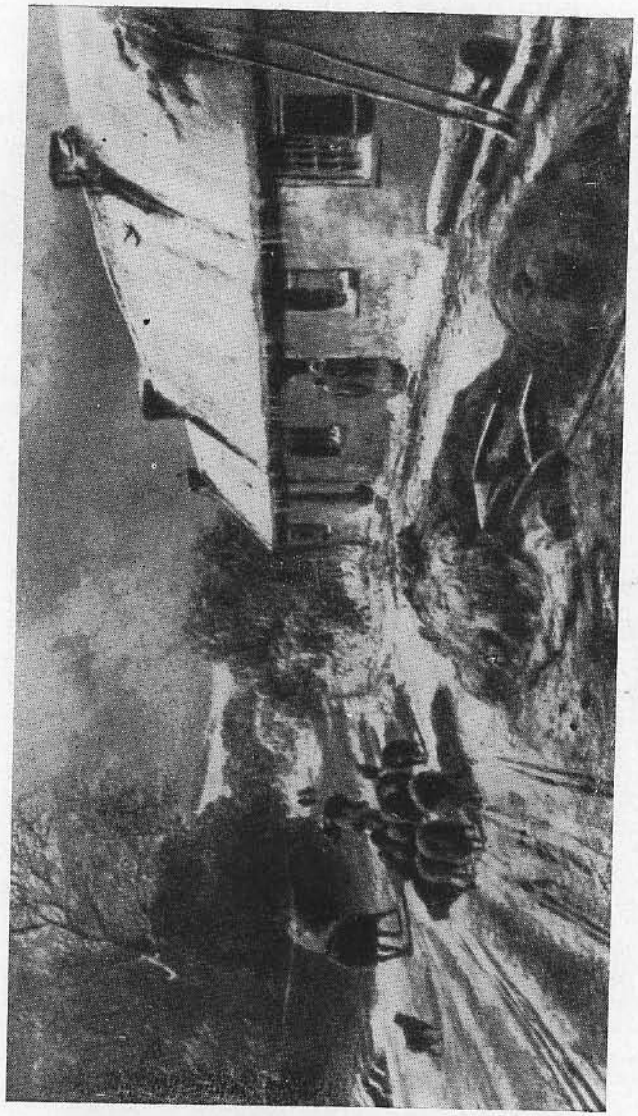
Роберт это знает по собственному горькому опыту: Мак-Люр, хозяин фермы, действительно старался тянуть с них больше, чем они могли заплатить. Не дождавшись решения третейского суда, он пытался добиться конфискации всего имущества Бернсов, их инвентаря, скота и будущего урожая. Он подал на Вильяма Бернса в суд, требуя немедленной уплаты.

В ответ Вильям Бернс решил обратиться с жалобой в высшую инстанцию — верховный суд в Эдинбурге.

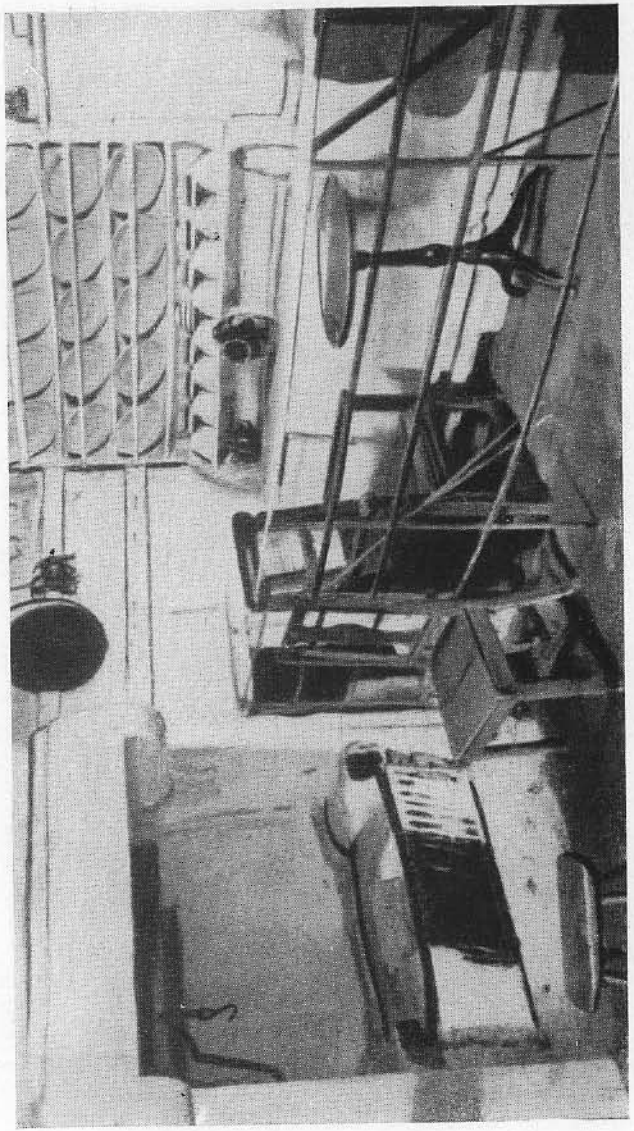
Старик верил, что там он найдет правду. Он не знал тех недоступных вершителей судеб, которые назывались членами верховного суда. Однажды он видел, как один из судей, сэр Александр Бозвелл, владелец соседнего с Эйром имения Аффлек, проезжал в громадной карете и впереди ехали верхом трубачи. Старый судья умер. Теперь в верховном суде заседает его сын — Джеймс Бозвелл. Может быть, дело попадет к нему — все-таки земляк, эйрширец. Говорят, он краснобай, каких мало, пишет книги, объездил полсвета. Как знать, может быть, он заступится за Вильяма и его семью, не даст совершиться черному делу.

Может быть, у члена верховного суда, к которому попала бумага, болела голова после вчерашней попойки. Бывало, что и на заседания председатель суда, старый лорд Брэксфилд, приходил, еле держась на ногах, а лорда Кэймса, известного своим безудержным сквернословием, часто выводили под руки. А иногда и сам прокурор, покачиваясь из стороны в сторону, отвечал защитнику, у которого лицо вдруг ни с того ни с сего начинало расплываться в бессмысленной улыбке.

Как бы то ни было, но бумага Вильяма Бернса вернулась к нему с требованием переписать ее по всем правилам канцелярского искусства.



Хижина, где родился Бернс.



Комната в хижине.

Пришлось прибегнуть к помощи ученого адвоката из соседнего города Мохлина.

Так Бернс познакомился с Гэвином Гамильтоном.

Адвоката Гамильтона все знали как друга бедняков, человека широкого и радушного. Несмотря на свое положение, он не гнушался обществом людей простого звания, любил выпить и пошуметь, но вместе с тем ценил хорошую книгу и умную беседу.

Гамильтон давно присматривался к молодому Бернсу. Джон Ричмонд, служивший у него клерком, как-то дал ему прочесть стихи своего друга Роберта. Стихи понравились и Гамильтону и его жене Эллен. И когда в масонской ложе св. Давида встал вопрос о приеме Роберта Бернса в члены «Братства вольных каменщиков», Гамильтон один из первых поддержал его кандидатуру.

Существует множество версий о возникновении масонского братства.

Правдоподобнее всего о происхождении масонских лож рассказал уже в XIX веке английский писатель Томас де Куинси, основываясь на исследованиях немецкого профессора Буле.

...В 1610 году в Германии на латинском языке вышли без подписи две книги. В первой повествовалось о том, что где-то существует тайное братство, которое обладает несметными богатствами, может исцелять любые болезни, душевные и телесные, и знает все секреты восточных мудрецов. Основал это братство «великий праведник и мудрец Кристиан Розенкрейц», который, прожив сто шесть лет, исчез неизвестно куда.

Книгу читали нарасхват все — ученые, философы, богословы. Не успела она разойтись, как вслед за ней вышла вторая, еще более сенсационная. Недавно где-то и кем-то была обнаружена потайная дверь, ведущая в глубокий склеп. В склепе стоял алтарь, вокруг него семь тайников, а под алтарем «нетленные мощи» самого Кристиана Розенкрейца с золотой книгой в руках, где было изложено учение «великого брат-

ства Розы и Креста». В книге говорилось о таинственной связи рассыпанных по земле братьев, жаждущих достичь совершенства и помочь людям создать на земле счастливую жизнь, где все равны, где нет вражды и братоубийства, где каждый готов прийти на помощь своему ближнему.

Это было время, когда междоусобные войны раздирали Германию. Тридцать лет подряд горели города, гибли солдаты, вымирали с голоду целые области. Католики жгли протестантов во имя Христово, протестанты резали католиков с именем бога на устах.

По полям войны колесили не только солдаты, беженцы и мародеры всех мастей. Проповедники, лекторы, сочинители песен и псалмов тоже переезжали с места на место, пытаясь хотя бы на время отвлечь замученных, запуганных людей своим искусством, рассказами о другой жизни или мире науки.

Среди них был молодой богослов, математик и поэт, двадцатитрехлетний Иоганн Валентин Андреа. Он проповедовал учение Лютера, читал лекции по математике и физике в университетских городах и скорбел душой, видя мучения родного народа.

И в утешение ему он написал те две книги, о которых мы рассказали.

Он выдумал мудрого Кристиана Розенкрейца, как Сервантес выдумал Дон Кихота, а Шекспир — Гамлета и Отелло. Имя Кристиана Розенкрейца он сочинил, взяв свой герб — розу и четыре креста.

Юноше, выросшему в тихих университетских садах Геттингена, наверно, казалось, что люди обрадуются появлению нового «светоча веры» и, может быть, образумятся.

Но он никак не думал, что его поймут буквально. Он не ожидал, что тысячи самозванцев, объявив себя братьями-розенкрейцерами, станут выманивать у людей деньги, продавать «панацеи» — средства, излечивающие от любой болезни, — и давать обещания отыскать философский камень.

Однако, конечно, нашлись люди, понявшие символику фантазии Андреа. Они решили создать братство

с теми благородными целями, о которых писал юный богослов.

Так родилось первое братство «Вольных каменщиков». Символами этого братства, которое хотело *строить* новую жизнь, стали атрибуты ремесла настоящих каменщиков — белые фартуки, лопатки, отвес и циркуль. Постепенно появились другие символические знаки: кольца с изображением черепа, длинные белые перчатки, условное рукопожатие, таинственные обряды приема в члены масонских лож.

В одну из таких лож вступил и Роберт Бернс.

Казалось, что могло привлечь в это мистическое братство крестьянского парня, основателя веселого Клуба холостяков, сочинителя песен и сатир, друга Ричарда Брауна? Но в уставе масонских лож было одно правило, которое выражало самую заветную мысль Роберта:

«Все члены братства равны независимо от их происхождения, положения в обществе, чинов, титулов и званий».

Для Роберта вопрос о неравенстве людей, рожденных в разных слоях общества, всегда был больным местом. «За какие заслуги в прошлой жизни они родились с готовым богатством в кулачонках? Какая лежит на мне вина, что меня выкинули в жизнь им на потеху?.. Они, как юные актеры, уже репетировали ту роль, какую им было суждено играть на жизненной сцене, тогда как мне — увы! — предстояло в безвестности оставаться за кулисами...» — *писал он впоследствии, вспоминая о* некоторых своих сверстниках из местной «знати», но тут же по справедливости добавлял: «В этом раннем возрасте наши молодые аристократы еще не могут составить себе точное представление о той неизмеримой пропасти, которая лежит между ними и их сверстниками — бедняками. Этим знатным юнцам надо сначала попасть в светское общество, чтобы у них, как того требует благопристойность, выработалось высокомерное презрение к бедным, безвестным, необразованным парням — крестьянам и ремесленникам, которые, быть может, и родились в одной

деревне с ними. Но мои товарищи, стоявшие выше меня по рождению, никогда не насмехались над неуклюжим малым, над пахарем, чьи огрубелые руки и ноги ничем не были защищены от всяческих стихий во всякое время года...»

Теперь Роберт уже не был босоногим парнишкой-пахарем. И он чувствовал, что его начинают ценить за ум, за честность, за прямоту суждений. Он всегда искал общества людей, объединенных благородными задачами, и был счастлив, когда его приняли в масонскую ложу.

Мелкие шотландские ложи того времени ничем не напоминали великосветские общества в столицах, куда входили сановники, придворные, богачи и знать и где часто решались судьбы министерских кабинетов и плелись сложные интриги. Провинциальная ложа была чем-то вроде общества взаимной помощи, где собирали средства для нуждающихся членов общества, где иногда «вразумляли заблудших братьев» и уж, во всяком случае, старались провести в жизнь масонское правило о всеобщем равенстве.

Вероятно, Роберту нравилась и торжественная обрядность, с какой принимали «новообращенных» братьев. Но главным для него были не обряды и не тайны: в ложе он познакомился с новыми людьми, с которыми ему было интересно беседовать — и не только на темы, касающиеся ордена.

Теперь дискуссии Клуба холостяков казались Роберту смешным ребячеством. Его интересовали гораздо более глубокие проблемы, чем вопрос о том, на какой девушке надо жениться бедному фермеру. Он много читал, много думал и все больше сомневался в правдивости той религии, какой учила строгая кальвинистская церковь.

Кальвинистский бог был беспощаден и суров. Он умел только наказывать грешников и почти никого не прощал. Он обрек весь род человеческий на адские муки в наказание за грех прародителей — Адама и Евы, и только ничтожное меньшинство, которое изберет сам господь, могло надеяться на спасение.

Однако, несмотря на то, что надежда на райские кущи для обыкновенного смертного была чрезвычайно слабой, кальвинисты «старого толка» требовали от всех людей самого примерного поведения. Совет церковных старост бдительно следил за нравственностью прихожан. В каждой церкви стояла «покаянная скамья», на которую усаживали грешников — парней и девушек, согрешивших до брака и вынужденных выслушивать перед всем приходом, какие страшные муки ждут их в аду, если они не будут каяться всю жизнь. Впрочем, и тогда неизвестно, сжалится ли над ними всевышний или все равно ввергнет в преисподнюю.

Роберт по-своему верил в бога. Он ощущал его как неизвестную великую силу, создавшую прекрасный мир, столь неразумно испорченный жестокостью людей — «бесчеловечностью человека к человеку», как написал Роберт в одном раннем стихотворении. Для него творец мира был олицетворением Добра, Великодушия, Любви. Так же, как он, думали философы-французы, называвшие себя «деистами», так думал шотландский философ Хэтчисон, написавший исследование «О происхождении наших идей Красоты и Добра», об этом писали Филдинг, Свифт и Смоллет.

Об этом Роберт оставил много записей в дневнике.

Весна 1783 года была последней весной в Лохли. Уже почти не вставал с постели отец, уже Мак-Люр посылал судебных исполнителей, которые не хотели дожидаться решения суда, и Роберт с братом, работая в поле, часто думали, что им не собрать урожая, не расплатиться с долгами и, может быть, придется к осени и совсем уйти с фермы, которой они отдали столько сил, столько дней своей жизни.

Роберту было тяжело дома. Он до слез жалел отца, но болезнь сделала старого Бернса желчным и раздражительным, и Роберт часто ловил на себе его суровый, осуждающий взгляд. При отце он был молчалив и мрачен. Доктор Макензи, которого, наконец, вызвали из соседнего города Мохлина, когда

отец стал кашлять кровью, рассказывал, что сначала старший сын фермера показался ему несколько странным и даже неприятным. Его брат Гильберт был юноша скромный, приветливый, начитанный, мать — «спокойная проницательная и умная женщина с большим самообладанием». Понравился доктору и отец, в котором, «несмотря на гнетущую его тревогу и тяжелую болезнь, чувствовался ясный ум и твердый характер». А Роберт сидел в темном углу хмурый и, насупившись, подозрительно смотрел на доктора Макензи и явно не хотел с ним разговаривать, словно боясь, что этот ученый человек «снизойдет» к нему.

Однако доктор Джон Макензи, который впоследствии стал одним из самых близких старших друзей Бернса, был не только хорошим врачом, но и знатоком людей. Что-то привлекло его в Роберте, и при следующей встрече он попросил юношу проводить его и долго разговаривал с ним.

«Еще до того, как я ознакомился с его поэтическими произведениями, я заметил, что он обладает выдающимися умственными способностями, необычайно живым и плодовитым воображением, отличным знанием многих наших шотландских поэтов и горячо почитает Рамзея и Фергюссона, — писал потом Макензи. — Тот, кто не имел случая беседовать с Бернсом, никак не мог составить себе представление обо всех его талантах».

Макензи был философом, человеком свободомыслящим и без предрассудков. С ним Роберт говорил откровенно обо всем, что его мучило и тяготило, он же еще больше сблизил молодого фермера со своим другом, адвокатом Гэвином Гамильтоном.

Именно Гамильтон и придумал, как помочь сыновьям старого Бернса избежать нищеты и конфискации имущества.

Роберт и Гильберт вместе со старшими сестрами все время получали от отца определенное жалованье. Гамильтон в полной тайне от всех помог им оформить эту свою «служебную зависимость». Это значило, что, если отец будет объявлен несостоятельным должником, первыми его кредиторами окажутся его собственные дети, и таким образом хотя бы часть отцовского имущества останется в семье.

Кроме того, в нескольких милях от Лохли, ближе к городку Мохлин, у Гэвина Гамильтона была небольшая ферма Моссгил. Гамильтон предложил Роберту и Гильберту взять у него эту ферму в аренду, покамест тоже втайне, чтобы им было куда деваться после смерти отца.

27 января 1784 года, через два дня после того, как тихо и скромно отпраздновали двадцатипятилетие Роберта, пришла бумага из Эдинбурга. Верховный суд, как ни странно, поддержал Вильяма Бернса и отменил конфискацию имущества.

Но было уже поздно: через три недели Вильям Бернс ушел туда, «где усталым уготован отдых, а негодяям не дано творить зло».

Перед смертью отец, с трудом поднявши голову с подушки, еле слышным голосом сказал, что боится только за одного члена своей семьи, и при этом с таким укором посмотрел на старшего сына, что тот отошел к окну и заплакал.

Роберт знал, что отцу рассказали, как в прошлое воскресенье после проповеди он затеял спор с одним из церковных старост и с таким жаром, с такой нескромностью оспаривал основные догматы сурового учения Кальвина, что все хоть сколько-нибудь здравомыслящие люди возмутились.

Отец словно сам видит, как Роберт стоит посреди церковного двора, рядом с сельским кладбищем, где под серыми каменными надгробиями спят вечным сном деды и прадеды, видит его высокую фигуру, сверкающие темные глаза, красивый плед, как-то особенному переброшенный через плечо. Все в нем особенное: у других волосы по старому обычаю коротко острижены (недаром их предков звали «круглоголовыми»), а на плечах — серые грубошерстные пледы, не пропускающие ни дождя, ни ветра. А у Роберта плед какого-то непонятного цвета, похожего на осенние листья, у него единственного в приходе длинные волосы, да еще связанные на затылке черной

шелковой лентой. Скоро, чего доброго, наденет парик из конского волоса, осыпанный мукой, и кружевное жабо...

Нет, не таким хотел Вильям видеть своего старшего сына, не для того он, не жалея денег, учил его как мог. Гильберт — тот другой: ничем, кроме хозяйства, не занимается, вырос рассудительным, спокойным, бережливым. Правда, и Роберт — хороший сын, любит мать, заботливо относится к сестрам, к младшим братьям. И никто не говорит о нем дурно: видно, он никого не обидел, никому не причинил зла.

Должно быть, жив еще в нем страх божий.

А может быть, это страх перед отцом?

Что будет с ним, когда тот умрет?

Оттого отца беспокоит судьба Роберта, оттого Роберт в это утро плачет у окна...

А вечером, став на колени, Роберт бережно складывает на бездыханной груди тяжелые холодные руки, которые всегда старались удержать его на стезе добродетели.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

РОБ МОССГИЛ

1

Деревянную колыбельку для девочки собственноручно сделал Гильберт. Сестры сшили для нее рубашонки, связали теплое одеяльце. Все были счастливы, что Роберт не женился на матери девочки и забрал ребенка на ферму. Только мать Роберта жалела, что молоденькая служанка Бетти не стала ее невесткой и вышла замуж за другого. Пусть она глуповата, пусть не очень красива, зато такой работницы не найти, да и Роберту она была бы послушной женой. Ему в январе минуло двадцать шесть лет, пора бы остепениться. После смерти отца, когда перебрались на ферму Моссги́л, арендованную у Гэвина Гамильтона, он сначала был угрюм, много писал по вечерам, а потом, как настала весна, повеселел и хоть работал за троих, но вечно пропадал по вечерам в Мохлине, а то и гулял до рассвета. Никто и не заметил, как у него началась любовь с Бетти.

Роберт смотрит на крошечное существо с волнением. Дорого она ему досталась, эта девочка: церковный совет поднял шум, его заставили в воскресенье сидеть на «покаянной скамье» в церкви и выслушивать нотации «папаши Оулда» — местного священника. Неужели бог действительно ка-

рает за то, что двое целуются вечером во ржи, что осенью на сеновале так уютно и тепло спать рядом, неужели ад ждет тех, у кого в жилах горячая кровь, а в сердце — радость жизни? «Нет, что бы ни говорили о любви, о безумствах, на которые она толкает юные, неокрепшие души, все же она заслуживает те высокие славословия, какие ей пели и поют, — пишет Роберт в своем дневнике. — И если бог считает любовь грехом, зачем он сам вложил в душу страсть, а в кровь — огонь? «Ведь свет, что сбил тебя с пути, был тоже послан небом». За что же тогда осуждать человека, за что выставлять его на позор, как бродягу или вора?»

Конечно, есть один грех — тяжкий и непростительный: нельзя отрекаться от своей плоти и крови, от своего ребенка. Об этом Роберт всегда говорил своим друзьям. Об этом его стихи новорожденной дочке:

Дочурка, пусть со мной беда
Случится, ежели когда
Я покраснею от стыда,
Боясь упрека
Или неправого суда
Молвы жестокой...

Я с матерью твоей кольцом
Не обменялся под венцом,
Но буду нежным я отцом
Тебе, родная
Расти веселым деревцом,
Забот не зная...

Жизнь Роберта очень изменилась после смерти отца. Теперь он и Гильберт — хозяева в доме. Теперь никто не спрашивает, куда они тратят деньги. Впрочем, Роберт предоставил все денежные дела Гильберту — брат гораздо лучше с этим справляется.

«У брата нет ни моего неукротимого воображения, ни моей опрометчивости в любви и в отношениях с людьми. По здравому уму и трезвой рассудительности он всегда был много выше меня», — писал Роберт.

Первый год на ферме прошел неудачно: молодые

хозяева купили скверные семена, и осенью снова пришлось отказывать себе во всем, чтобы прокормить семью. Роберт был очень занят. Днем — работа в поле, тысячи неотложных дел на ферме. Но вечера он почти всегда проводил в Мохлине, со своими друзьями — «четверкой бунтарей».

Двое из «бунтарей» — Джон Ричмонд, клерк адвоката Гамильтона, и Джэми Смит были на несколько лет моложе Роберта и обожали его, как он когда-то обожал Ричарда Брауна. И с ними Роберт снова стал мальчишкой, как будто наверстывая те годы, когда он угрюмо выслушивал наставления отца. Роберт любил отца по-своему, он писал своему кузену, что потерял «лучшего из друзей, мудрейшего из наставников». Но из уроков отца Роберт взял только то, что ему было по-настоящему понятно и близко. Так же как бог был для него не беспощадным, карающим отцом небесным, а доброй первопричиной всего сущего, так же как в библии он искал подтверждения тому, что радости земной жизни вовсе не грех, так и об отце он писал:

Был честный фермер мой отец.
Он не имел достатка,
Но от наследников своих
Он требовал порядка.
Учил достоинство хранить,
Хоть нет гроша в карманах.
Страшнее — чести изменить,
Чем быть в отрепьях рваных'..

Надежды нет, просвета нет,
А есть нужда, забота.
Ну что ж, покуда ты живешь,
Без устали работай.
Косить, пахать и боронить
Я научился с детства.
И это все, что мой отец
Оставил мне в наследство...

С опаской смотрят мохлинские обыватели на отчаянных парней, которыми верховодит молодой хозяин Моссгила — Роб Моссгил, как называют Бернса. Особенно хмурятся те, у кого есть дочки-невесты.

Отец одной из мохлинских девушек перехватил

стихи, написанные его дочке, воспитанной барышне, окончившей школу и запоем читавшей романы.

В стихах говорилось, что романы принесут только вред:

...Сперва *Грандисон*
Нарушил ваш сон,
А после Том Джонс возмутил
Покой ваш девичий,
Чтоб стать вам добычей
Таких молодцов, как Моссгил.

Кого-то из добродетельных мохлинских обывателей возмутили эти стихи, и он пожаловался на Роберта одному из церковных старост мохлинского прихода — Вильяму Фишеру. Фишер сказал, что давно следит за безбожником Моссгилом, особенно потому, что тот как будто стакнулся с другими безбожниками — с адвокатом Гэвином Гамильтоном, со сладкоречивым нотариусом Эйкеном, которого все зовут «оратор Боб», и, конечно, с доктором Макензи, приятелем обоих.

На Гэвина Гамильтона церковный совет давно точил зубы. В церковь он почти не ходил, выпивал «не в меру» и, несмотря на знатное родство, не гнушался обществом «всякой рвани». Клерком у него служил приятель Роберта — Джон Ричмонд, которого Вилли Фишер подозревал в «недозволенно нахальном» обращении с девушками.

Вилли Фишер ненавидел Гамильтона. Сам Фишер был старым холостяком, который по заслугам прославился своей «назидательной болтовней, обычно переходившей в пьяное словоблудие, и елейным распутством со слезливыми покаяниями», как писал про него Роберт. Какова же была радость Фишера, когда он, наконец, поймал Гамильтона на непростительном грехе: в «день субботний», который полагается свято чтить, Гамильтон послал на свой огород кого-то из слуг, приказав накопать к завтраку молодой картошки!

Весь синклит местной церкви явился к Гамильтону, потребовав, чтобы он покаялся публично и заплатил большой штраф. Пуще всех старался все

тот же Вильям Фишер, и ему же досталось больше всех: Гамильтон обозвал его «святошей Вилли», глупцом и ханжой. Собрался церковный совет и суд, и Гамильтон был приговорен к штрафу и покаянию.

Не растерявшись, Гамильтон обратился к пресвитерам эйрской церкви — высшему церковному начальству, а также к нотариусу Эйкену.

Толстенький подвижной Эйкен был человеком деловым, но вместе с тем весьма чувствительным ко всему прекрасному — к стихам, музыке, хорошей беседе. Он отлично говорил, любил декламировать и охотно вступился за «невинно оклеветанного друга».

«Оратор Боб» выступил перед высшим церковным судом с такой громовой речью, что к концу у него отскочили все пуговицы на жилете. Гамильтон был оправдан, а «святоша Вилли» посрамлен.

Может быть, это дело так бы и заглохло, если бы Роберт Бернс, которому Ричмонд рассказал о доносах Вилли Фишера на Гамильтона, не сочинил стихи о «святоше Вилли» и «эпитафию ему же». Ричмонд уже как-то показывал своему патрону стихи Роберта «Святая ярмарка», скрыв имя автора по его просьбе. Гамильтон был в восторге от «Молитвы». Он потребовал, чтобы Ричмонд немедленно привел к нему автора, пригласил Эйкена и доктора Макензи, и за кружкой пунша, который отлично варили в доме Гамильтона, «оратор Боб» прочел вслух новые стихи Роберта:

Молитва святоши Вилли

О ты, не знающий преград!
Ты шлешь своих любезных чад —
В рай одного, а десять в ад,
Отнюдь не глядя
На то, кто прав, кто виноват,
А славы ради.

Ты столько душ во тьме оставил.
Меня же, грешного, избавил,
Чтоб я твою премудрость славил
И мощь твою.
Ты маяком меня поставил
В родном краю...

Изобличаю я сурово
Ругателя и сквернослова,
И потребителя хмельного,
И молодежь,
Что в праздник в пляс пойти готова,
Подняв галдеж.
Но умоляю провиденье
Простить мои мне прегрешенья.
Подчас мне бесы вожделенья
Терзают плоть.
Ведь нас из праха в день творенья
Создал господь!..

Громкий хохот стоит в гостиной Гамильтона. Роберт впервые слышит, как его стихи читает настоящий мастер, а «оратор Боб», не жалея голоса и жилетных пуговиц, с самым серьезным видом от имени «святоши Вилли» взывает к богу, чтобы всевышний простил ему встречу «с недотрогой Мегги», а заодно и другие грехи:

Еще я должен повиниться,
Что в постный день я у девицы,
У этой Лиззи смуглолицей,
Гостил тайком.
Но я в тот день, как говорится,
Был под хмельком...

Но больше всего нравится слушателям, когда «святоша Вилли» начинает обличать их самих:

К таким причислить многих можно.
Вот Гамильтон — шутник безбожный.
Пристрастен он к игре картежной,
Но всем так мил,
Что много душ на путь свой ложный
Он совратил...

Вот Эйкен. Он — речистый малый,
Ты и начни с него, пожалуй.
Он так рабов твоих, бывало,
Нещадно бьет,
Что в жар и в холод нас бросало,
Вгоняло в пот...

Гамильтон в восторге хлопает Роберта по плечу: эти стихи он завтра же покажет всем своим приятелям. Он просит Роберта с сегодняшнего дня приносить ему все, что он напишет. Доктор Макензи справляется о здоровье маленького Джона — десятилетнего брата Роберта, обещает зайти в Моссгил, принести лекарство: Джон давно кашляет, как отец, и Роберт боится за него. Эйкен долго трясет Роберту руку и зовет приехать в гости, в старый Эйр: там он познакомит его с влиятельными людьми — с мэром города, с профессором Стюартом, приехавшим в гости к своим родным, — пусть расскажет в Эдинбурге, какие тут, в Эйршире, есть поэты!

С этого дня Роберт показывает свои произведения не только брату и сверстникам, но и внимательным, образованным, любящим стихи людям. Впервые после Ричарда Брауна его слушатели — Гамильтон, Эйкен, Макензи — относятся к нему как к настоящему поэту.

Но в отличие от Ричарда им пока что не приходит в голову, что эти стихи можно «напечатать в журналах».

2

В маленьком зальце таверны на железных рогульках, воткнутых в стену, уже догорают сальные свечи. Поздно. Потемнело ночное июньское небо, глазастые звезды заглядывают прямо на второй этаж, где танцует мохлинская молодежь. Несколько раз толстый Мортон, хозяин таверны, распахивает двери, ворча: «Время, время, леди и джентльмены, время!» Но трудно выставить разошедшихся танцоров: за свои пять пенни хочется наплясаться как следует.

Не только старому Мортону надоело ждать, пока кончится последняя кадриль. Черная шотландская овчарка Роберта вдруг врывается в зал, с размаху бросается на грудь своему хозяину и, чуть не сбив его с ног, с визгом облизывает ему лицо и руки.

Роберт с трудом успокаивает огромного пса, гладит его блестящую шерсть: «Лежать, Люат, лежать!» — и, обернувшись к девушкам, говорит: «Вот бы мне найти подружку, которая полюбила бы меня так же преданно, как мой пес!»

Все радостно смеются, и громче всех темноглазая смуглая Джин, дочь богатого подрядчика Армора. Джин недавно исполнилось семнадцать лет, и строгий отец сегодня в первый раз позволил ей

пойти на танцы. Весь вечер она без устали плясала и теперь, раскрасневшаяся, запыхавшаяся, звонко хохочет, показывая ровные белые зубы. Не в первый раз она видит молодого хозяина Моссгила, но никогда не разговаривала с ним: при ней отец несколько раз крепко бранил этого безбожника и смутьяна, а мать с тетками шушукались насчет его незаконной дочки и бесстыжих стихов, написанных про нее.

Но в этот вечер Роберт дважды прошелся с Джин в танце, и потом она всю неделю вспоминала его большие бережные руки, серьезную улыбку и эти удивительные огромные глаза, в которых лучились золотые огни, когда он на нее глядел.

В воскресенье она видела его в церкви, но не решалась смотреть в его сторону.

А утром в понедельник, когда она с подругами разостлала небеленые холсты на зеленой траве, Джин увидела, как по дороге с фермы в город идет Роберт. Она издали узнала его и, не удержавшись, крикнула, когда он проходил мимо:

— Ну как, Моссгил, нашел подружку, которая полюбила бы тебя, как твой пес?

Роберт остановился. Темные глаза Джин смотрели на него с нежностью и вызовом, из-под сборча того чепца выбивались блестящие черные кудри. Он видел детские смуглые щеки, залитые румянцем, маленькие босые ноги в невысокой свежей траве и, наверное, впервые в жизни не знал, что сказать. Может быть, в ту минуту, на зеленом лугу, где цвел боярышник и заливались дрозды и малиновки, оба почувствовали, что встретились на всю жизнь, чтобы «делить горе и радость, беду и удачу», как говорится при венчании в церкви...

В дом Арморов полетели записки и стихи. Элиза Смит — сестра друга Джэми, одного из «четверки бунтарей», стала поверенной Роберта. Все мохлинские красотки были увековечены в первой песенке, посвященной Джин.

В песенке говорилось, что шестью мохлинскими красавицами гордится не только город, но и вся округа, и если посторонний взглянет на их наряды, он непременно подумает, что эти платья присланы прямо из Лондона или Парижа. «Мисс Миллер прелестна, мисс Маркленд божественна, мисс Смит умна, а мисс Бетти нарядна. За мисс Мортон в приданое получишь богатство и красоту». Словом, лучшей не найти. «Но Армор — не «мисс», а просто Армор! — среди них лучшая жемчужина для меня!»

Роберт отлично знал, что старый Армор ни за что не отдаст Джин за «нищего рифмоплета». Но для него эта девочка стала всем, что ему было дорого: любовью, счастьем, песней. Джин пела, как птица в лесу, — он не слышал голоса нежнее. Она знала бесчисленное множество старинных напевов, и Роберт придумывал на них новые слова. Теперь все песни рассказывали о них двоих:

Ты свистни — тебя не заставлю я ждать,
Ты свистни — тебя не заставлю я ждать.
Пусть будут браниться отец мой и мать,
Ты свистни — тебя не заставлю я ждать!

Но в оба гляди, пробираясь ко мне.
Найди ты лазейку в садовой стене,
Найди три ступеньки в саду при луне,
Иди, но как будто идешь не ко мне,
Иди, будто вовсе идешь не ко мне.

А если мы встретимся в церкви, смотри:
С подругой моей, не со мной говори,
Украдкой мне ласковый взгляд подари,
А больше — смотри! — на меня не смотри,
А больше — смотри! — на меня не смотри!..

В это лето — первое лето настоящей любви — Роберт написал лучшие свои стихи и песни. Кажется, что он даже разучился говорить прозой, он словно дышит стихами — так ему легче рассказать обо всем. Он пишет письма в стихах, и в них нет ни одной пустой строчки, ни одного лишнего слова, ни одного натянутого, надуманного образа. Старому сельскому поэту Джону Лапрэйку он написал послание о том, как вечером, собравшись веселой компанией, все шутили, дурачились, а потом стали петь. Одна песня особенно понравилась Роберту, и ему сказали, что автор — славный старик, живущий около Мьюркерка. И тогда Роберт поклялся, что заложит плуг, упряжь, что готов помереть в канаве, как нищий, лишь бы услышать и воочию увидеть своего собрата по перу. И дальше идет рассказ о том, что сам он вовсе не поэт в книжном смысле слова, но как только Муза на него взглянет — он ей в ответ поет песню. И этим песням не учат в колледжах унылых, скучных зубрил, которые хотят влезть на Парнас при помощи греческих глаголов. Нет, тут вся наука — в искре божьей, и тогда, хоть бы ты месил грязь, идя за плугом, или тащил тележку по лужам, твоя Муза, пусть и в простом платье, тронет сердца людей.

И такие письма, только не пересказанные, как здесь, сухой прозой, а написанные отличным стихом, получают многие друзья Бернса. По ним можно не только определить, о чем думает в данную минуту Роберт, — по ним видно и все, что делается вокруг, в поле и в лесу.

Он пишет Лапрэйку 1 апреля, «когда зеленеют почки на шиповнике и распускается листва орешника, к вечеру громко кричат куропатки, а утром зайцы весело скачут по лугам». Второе послание он шлет ему же через месяц, в разгаре полевых работ: мычат молодые телушки в загоне, пар идет от коней, впряженных в плуг или в борону... Бедную Музу ноги не держат: весь день сеяла, задавала корм скотине. Она умоляет поэта — не будем сегодня писать! Этакая лентяйка! Мы, говорит, с тобой весь месяц так работали, что у меня голова идет кругом, где уж там заниматься стихами!

И рассерженный поэт выговаривает Музе за лень: «Разве можно оставаться в долгу у хорошего человека, который так ласково похвалил нас с тобой?» Поэт хватает бумагу, тычет огрызком пера в чернила — и пошел писать!

И в этом втором послании Лапрэйку двадцатише-

стилетний Роберт с такой мудростью, с таким пониманием утешает старого поэта в неудачах, что просто удивляешься, откуда у него такое чутье, такая светлая вера. Да, ему тоже приходилось худо, судьба его била и трепала, она и сейчас его преследует, а он, Роб, вот он! И, назло этой скверной сплетнице, он будет по-прежнему смеяться, петь и плясать. Неужто его старый друг завидует городскому дельцу, который всех надувает, копит деньгу и отращивает пузо? Неужто завидует высокомерному вельможе, который чванно выступает в кружевной сорочке с блестящей тростью, заставляя народ ломать перед ним шапки? Нет, не он, а добрый, честный, трудолюбивый человек выполняет предначертания мудрой природы.

Пройдет несколько лет, и Бернс воплотит эту же мысль в одной из лучших своих песен — в «Марсельезе простых людей» — песне о «Честной бедности».

Он никогда не изменит себе, ни за какие блага мира не отречется от слов, впервые сказанных в стихотворных посланиях друзьям. Он ясно и четко пишет в ответ на лестное письмо Вильяма Симпсона — стихотворца из Охилтри, как он стал поэтом.

В этих стихах рассказано, как хороши холмы старой Койлы, его родной округи, буро-красные луга, поросшие вереском, зеленые рощи, где поют малиновки и гоняются друг за другом влюбленные зайчишки. Во всем есть своя прелесть — и в летнем животворном тепле и в зимней стуже, когда поет ветер и от инея седеют холмы... Не найти поэту свою Музу, пока он не научится бродить по лесу, у говорливого ручья и петь всем сердцем, всей душой... Пусть люди хлопочут, стараются, пусть затевают толкотню и драку из-за денег. Ему бы только петь милый лик природы — и пускай другие роем вьются и жужжат над грудами своих сокровищ!..

Мимо никем не воспетых речек и ручьев, по вересковым лугам и высоким сосновым лесам везет деревенский почтарь послания Бернса. Друзья прочитывают письма Робина, хвалят его и тоже пишут ему в ответ длинные стихотворные послания: все они — и Джон Лапрэйк, и Вильям Симпсон, и старый приятель по Тарболтонскому клубу холостяков Дэви Силлар — считают себя поэтами. Роберт тоже приветствует их как соратников и не скупится на похвалы. Его щедрое сердце радуется каждой удачной их строке.

И, пожалуй, никто из друзей Бернса не подозревает, что на ферме Моссгил от зари до зари трудится великий поэт, который и с ними поделится частицей своего бессмертия, сохранив их имена в стихах.

3

Подходит осень — холодная и дождливая. С ужасом видит Роберт, что все надежды на хороший урожай не сбылись. Значит, нет и надежды жениться на Джин, привести ее на ферму молодой хозяйкой, помощницей в работе, подругой в радости, в отдыхе, в песнях.

Но Роберт ни за что не откажется от Джин. Они заключают тайный брак по старинному шотландскому обычаю. Для этого достаточно подписать брачный контракт, в котором оба признают себя мужем и женой. Роберт успокаивается: теперь их с Джин никто разлучить не посмеет.

Они встречаются почти каждый день — уже не в лесу, где облетели деревья и орешник торчит голыми прутьями, а в комнате Лиззи Смит или просто где-нибудь в амбаре. В каждой песне, в каждом стихотворении Роберт упоминает о своей Джин:

Довольно
Невольно
Мне вспомнить имя — «Джин»,
Тепло мне,
Светло мне,
И я уж не один...

Лежа на соломе в темном амбаре, укутав уснувшую Джин своим пледом, Роберт, наверно, не раз думал, что же с ними будет дальше. Может быть, ему уехать на год-другой в Вест-Индию? Об этом ему говорил Гамильтон: там можно заработать деньги, вернуться к Джин богатым. Тогда старик Армор, наверно, не откажет ему в руке дочери. Но как расстаться с Шотландией, как оставить семью, малютку Бесс и ее, Джин...

Наверно, он больше никогда ее не увидит, наверно, он погибнет в море или в жарком краю от лихорадки. Он все чаще думает об отъезде, он пишет об этом стихи:

Моя Шотландия, прощай!
Милей мне твой туманный край
Садов богатых юга.
Прощай, родимая семья —
Сестра, и брат, и мать моя,
И скорбная подруга!

С тоской тебя я обниму,
Малютка дорогая.
Тебя я брату своему
С надеждой поручаю.

И ты, мой
Любимый
Товарищ прежних дней,
Участьем
В ненастье
Семью мою согрей!

А ты, подруга, не грусти.
Чтобы тебя и честь спасти,
Бегу я в край далекий.
Нужда стучится к нам во двор,
Грозят нам голод, и позор,
И суд молвы жестокий...

Да, хуже голода, хуже нищеты проклятые сплетники, проклятые святоши и ханжи! Прячься от них, как преступник, дрожи за то, что твою любимую, твою жену обидят, опозорят, ославят... И для чего они только существуют на свете?

В один из темных ноябрьских вечеров Джин не пришла на свидание. Роберту было очень тоскливо: дома лежал в лихорадке младший брат, денег на лекарство не было, Гильберт часами сидел над тетрадями, где записывались непомерные расходы и скудные доходы фермы, мать и сестры целыми вечерами пряли шерсть, вязали чулки и без конца штопали старую одежду.

Роберт медленно шел с собрания масонской ложи. Сегодняшнее собрание ему показалось скучным и однообразным. Он очень обрадовался, когда встретил на улице своих «бунтарей»: с этими юнцами ему всегда становилось легче.

Ветер выл как сумасшедший, кружа последние листья. Хорошо бы сейчас к очагу, в тепло...

Проходя мимо трактира, друзья услышали шум, хохот, крики. На пороге стояла толстая хозяйка трактира, которую в шутку прозвали «Пуси-Нэнси» — красотка Нэнси.

— Да вы заходите, не бойтесь! — крикнула она.— Сегодня тут у меня народ простой, холод их загнал. Послушаете песню, выпьете по кружке, ничего с вами не станется!

Весь вечер просидел Роберт с друзьями в кабачке Пуси-Нэнси. Таких оборванных, нищих, грязных и все-таки по-своему живописных людей он никогда не встречал. Видно, в этот вечер они случайно сошлись в кабачке, где добродушная хозяйка не брезговала старой рубахой или драными башмаками, честно наливая за них кружку доверху. Роберт не пил — он вообще пил редко: ему сразу становилось нехорошо — видно, сказывалось надорванное работой сердце. Но он с жадностью всматривался в лица бродячих лудильщиков, отставных солдат, слушал, как пиликает на скрипке маленький, похожий на гнома скрипач и как кривляется базарный шут, приставая к огромной хриплоголосой бабе, из-за которой вдруг началась потасовка. Самое удивительное, что эти люди были явно счастливы хотя бы на один вечер, рады теплу, дешевому элю, полной свободе. Вот им, наверно,

никто не страшен, никакие законы для них не писаны.

Поздно вечером, идя домой, Роберт думал о том, что видел в кабачке. Свобода, бесстрашная, животная радость жизни, бесшабашная любовь. Любовь и свобода...

В эти ноябрьские дни Роберт написал кантату и назвал ее «Любовь и свобода», а в подзаголовке поставил: «Веселые нищие».

Роберт прочел эту кантату только самым близким друзьям и Гильберту. Осторожный Гильберт сказал, что ее никому не надо показывать: нехорошо, если пойдут слухи, что Роберт пишет такие стихи. И то весь церковный синклит на него злится, а «святоша Вилли» все старается вынюхать про их отношения с Джин. Роберту надо быть особенно осторожным сейчас, когда он думает об отъезде на Ямайку. Кто возьмет на службу человека, который так явно и откровенно восхищается непутевым сбродом, нищими и бродягами, нарушителями всех законов? Кое-кому может даже прийти в голову, что автор описывает самого себя под видом поэта, который тоже принимает участие в пирушке нищих:

Поэт сидел меж двух подруг
У винного бочонка,
И, оглядев веселый круг,
Запел он песню звонко.

Уж не от своего ли имени пишет Роберт Бернс?

В эту ночь сердца и кружки
До краев у нас полны.
Здесь, на дружеской пирушке,
Все пьяны и все равны!

К черту тех, кого законы
От народа берегут.
Тюрьмы — трусам оборона,
Церкви — ханжеству приют.

Что в деньгах и прочем вздоре!
Кто стремится к ним — дурак.
Жить в любви, не зная горя,
Безразлично где и как!..

Жизнь — в движенье бесконечном:
Радость — горе, тьма и свет.
Репутации беречь нам
Не приходится — их нет!..

Нельзя, чтобы эти строки дошли до людей, от которых зависит будущее Роберта. В последний раз он читает стихи «четверке бунтарей», потом отдает кантату Ричмонду и старается о ней забыть.

В начале ноября Бернсы похоронили маленького Джона. Денег на похороны почти не было, не хватило даже на хорошее покрывало для гроба.

На следующий день после похорон Роберт вышел пахать с самого утра. Он и так задержался: давно надо было закончить пахоту, земля уже подмерзала, дул резкий, пронзительный ветер, ночью выпал первый снег.

Низко наклонив голову, Роберт шел за плугом. У края поля копал канаву Джон Блейн — единственный работник, которого держали Бернсы, неразговорчивый, неприветливый старик. Взяли его на уборку осенью, и он так и застрял на ферме — видно, деваться ему было некуда.

Вдруг Роберт резко остановил коней: из-под тяжелого лемеха с писком выскочил мышонок и бросился к канаве. Блейн тоже заметил его, замахнулся лопатой, но Роберт крикнул на старика, и тот, проворчав что-то под нос, снова принялся копать. А Роберт наклонился, поднял комок сухих травинок, искусно свитых в гнездо, потрогал остро пахнущую, еще теплую серединку, выложенную мохом и травой... Несчастный мышонок! Погиб его дом, его убежище... Где он теперь, в ноябре, найдет приют? Роберт бросил полуразрушенное гнездо. И у мышей, как у людей, срываются самые продуманные планы, самые точные расчеты...

Мерно врезается плуг в землю, с глухим стуком падают комья: так же осыпáлась вчера земля на крышку гроба. Вот думали, что подрастет Джон, будет еще один помощник ему и Гильберту. Да мало ли какие планы строили они, переезжая в Моссгил! Мало ли на что он сам надеялся этой осенью. А теперь у них с Джин тоже нет приюта, негде встретиться вечером, обнять друг друга, забыть хоть на час, что нет им места на свете. Снова надо просить кого-то из друзей пустить их к себе. Пробираться тайком в чужую комнату, сидеть там тихо, как мыши.

Да, бедный мышонок, ты не одинок: и нас, чего доброго, судьба стукнет лопаткой по голове...

Страшно смотреть вперед, жаль уезжать от всего, что дорого...

Гильберт лежит на кровати и слушает новые стихи Роберта. Роберт всегда читает ему первому все, что напишет. Он читает тихо, чтобы не проснулись мать и сестры. В трубе воет ветер, крысы как оголтелые пищат и возятся под соломенной стрехой.

Гильберту страшно за Роберта, он не хочет, чтобы тот уезжал на Ямайку. Говорят, там нужен железный характер, жестокое сердце. Как же Роберт станет надсмотрщиком на плантации, как он будет стоять с хлыстом над черными рабами, если он не может спокойно видеть, как из разоренного им гнезда убегает полевой мышонок?

Зверек проворный, юркий, гладкий,
Куда бежишь ты без оглядки,
Зачем дрожишь как в лихорадке
За жизнь свою?
Не трусь — тебя своей лопаткой
Я не убью!..

Тебя оставил я без крова
Порой ненастной и суровой,
Когда уж не из чего снова
Построить дом,
Чтобы от ветра ледяного
Укрыться в нем...

Все голо, все мертво вокруг,
Пустынно поле, скошен луг.
И ты убежище от вьюг
Найти мечтал,

Когда вломился тяжкий плуг
К тебе в подвал.

Травы, листвы увядший ком —
Вот чем он стал, твой теплый дом,
Построенный с таким трудом.
А дни идут...
Где ты в полях, покрытых льдом,
Найдешь приют?

* * *

Февральская вьюга слепила глаза; злой, колючий снег хлестал по лицу. Но Роберт шел медленно, словно ему не хотелось возвращаться домой. Ему до боли в сердце было жаль Джин, жаль себя. Разве так должна она была сказать ему о ребенке — шепотом, прижавшись к косяку чужих дверей, заплаканная, дрожащая от холода и страха? Она выбежала к нему на минутку: дома за ней стали следить, — и он только успел крепко обнять ее, сказать, что все будет хорошо, что отец, наверно, разрешит им обвенчаться, что и теперь брак их нерушим.

Он вытирает рукавом снег и слезы. Что же ему делать сейчас? Еще никогда в доме не было такой нищеты. Все деньги Гильберт вложил в покупку хороших семян — через неделю-другую надо начинать пахоту. Мистер Гамильтон очень добр, не торопит с арендной платой. Он уговаривает Роберта поскорее уехать на Ямайку, познакомил его с владельцем огромных плантаций, который согласен оплатить проезд и обещает хорошее жалованье. Роберт не хочет уезжать, но как же иначе выпутаться из нужды, как помочь Джин и будущему ребенку?

А что делать с другим его «детищем» — со стихами? Неужто так и оставить их в столе или в десятке-другом списков, которые ходят по рукам? Не он один думает, что стихи достойны печати, как сказал ему когда-то весной в эглинтонском лесу Ричард Браун. Люди ученые, начитанные, знающие толк в литературе теперь тоже считают, что его стихи нужно и можно печатать. Больше всех на этом настаивает

мистер Эйкен, «оратор Боб». Почти все произведения Роберта он знает наизусть. Это он подал Роберту мысль — написать большую поэму «Субботний вечер поселянина». Эйкену, который был не лишен расчетливости даже в вопросах поэзии, хотелось, чтобы его «протеже» — этот удивительный крестьянин, который цитирует Мильтона и Шекспира не хуже самого «оратора Боба», описал бы жизнь шотландской деревни в светлых, привлекательных красках, хорошим литературным языком — так, чтобы не стыдно было показать эти стихи клиентам Эйкена — богатым эйрширским помещикам — и его знакомым — крупным эдинбургским адвокатам, профессорам университета, литераторам. Писал же великий шотландский поэт Томсон на чистейшем английском языке, потому и читают его по обе стороны пограничной реки Твид.

Эйкен советовал Роберту писать эти стихи серьезно, проникновенно. Пусть и о шотландском крестьянине будут написаны такие же прочувствованные строки, как элегия Грея «Сельское кладбище» или поэма Гольдсмита «Заброшенное селение». На бедную Шотландию всегда несправедливо нападают. Не так давно, в 1774 году, вышла книга, где описано путешествие знаменитого английского ученого доктора Джонсона по Шотландии и Гебридским островам. Доктор Джонсон известен всем как глубокий мыслитель, человек высокообразованный, автор многих трудов и составитель первого толкового словаря английского языка. Он прославился еще и своими неумолимыми суждениями, своими остротами, едкими и жгучими, как крепкая горчица. И ездивший с ним шотландец, сын судьи Бозвелла, Джеймс Бозвелл, — Эйкен лично его знал — не постеснялся записать все злые слова, которые Джонсон сказал о Шотландии.

Непременно надо показать, что в шотландском народе есть свои самобытные таланты, непременно надо помочь молодому Бернсу напечатать книгу, особенно если, вняв совету Эйкена, он напишет глубоко чувствительную, религиозную поэму о том, что ему хорошо знакомо, — о жизни крестьянской семьи.

Роберт долго обдумывал совет Эйкена. Он почти закончил поэму «Две собаки» — совершенно на ту же тему: и в ней говорится о жизни крестьян, так отличающейся от жизни их хозяев — помещиков. После разговора с Эйкеном он спрятал неоконченные стихи в стол — уж очень они не походили на то, что хотелось прочесть его «патрону».

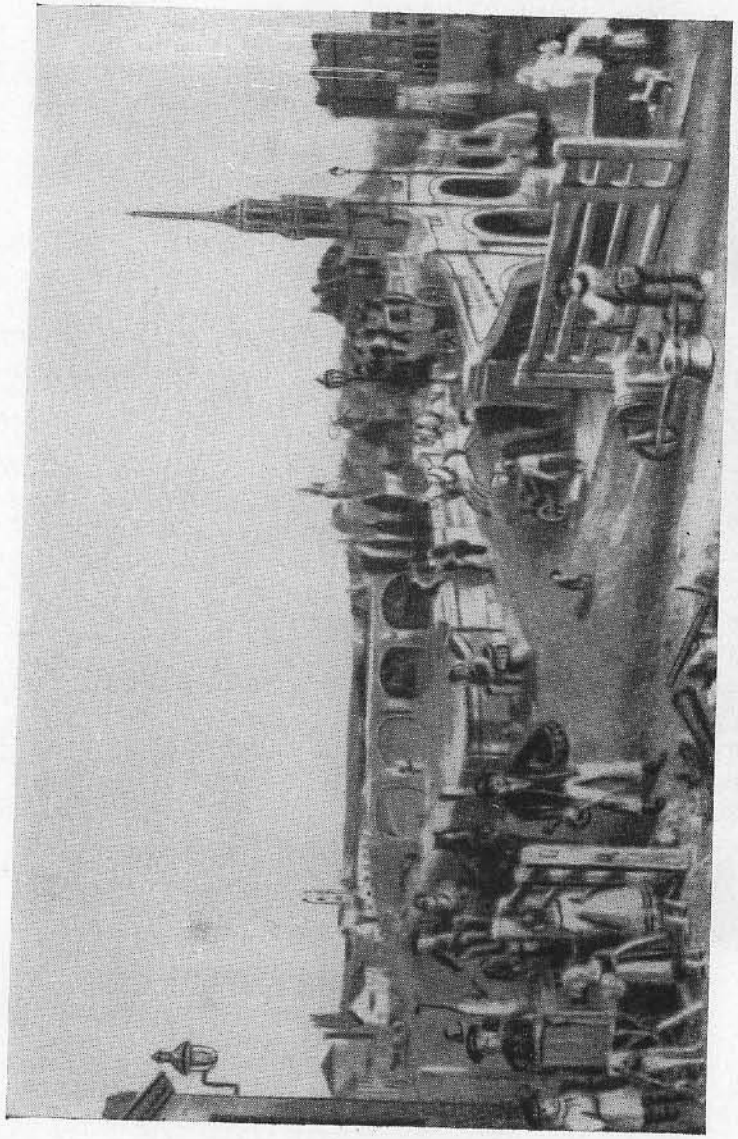
Для новой поэмы он решил взять английскую классическую строфу, какой писал на ту же тему его предшественник — Фергюссон, — восемь длинных тягучих строк, с еще более длинной девятой в конце. Стихи Фергюссона «Очаг фермера» нравились Бернсу. Они были приятны и мелодичны, в них пробивалась ласковая улыбка и некоторое любование незамысловатыми радостями простой жизни — здоровой пищей, веселыми сплетнями, страшной сказкой о домовых, леших и привидениях на кладбище, которую мать рассказывает на ночь ребятам, «так, что вихры у них встают дыбом».

Бернсу кажется, что эти стихи написал славный городской гость, который провел вечер у камелька с семьей зажиточного фермера. Сам Бернс привык писать иначе: и в песнях и в стихах он показывает жизнь такой, какая она есть.

Но сейчас перед ним другая задача: облагородить, возвысить, может быть даже приукрасить, людей, которых он видел изо дня в день не как гость, а как участник их будней и праздников.

Где же найти в этой жизни картины «безыскусные, благочестивые», как показать природный ум, неиспорченные нравы и религиозность своих «собратьев по смиренной жизни», как просит Эйкен? Как удовлетворить изысканный вкус будущих образованных читателей, — а если верить Гамильтону и Эйкену, читать его стихи будут очень многие. Все-таки большинство крестьян и мелких арендаторов живет бедно, тесно, грязно — редко где найдешь такую чистоту, как у них в Моссгиле. Отец всегда любил порядок. Роберт вспомнил отца, вечера за книгой, разговоры, общую молитву перед сном — не в последние страшные месяцы, когда отец был болен, раздражителен,

Роберт Бернс — масон.



Город Эйр (старинная гравюра).

замучен судами и кляузами, а в те первые годы в Лохли, когда им жилось легче. До сих пор, читая библию, Роберт словно слышит голос отца. Вот он читает одиннадцатую главу книги Чисел, медленно и внятно: «...И сыны Израилевы опять заплакали и говорили: «Кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую мы ели в Египте даром, огурцы, дыни, лук, репчатый лук и чеснок. А ныне душа наша сохнет, нет ничего...» И маленький Гильберт спрашивает: «Разве у них тоже не было мяса?..»

...Субботний зимний вечер, усталый отец возвращается с поля, мальчики несут лопаты и тяпки, в низком сером небе летит стая воронья. У дома навстречу отцу бегут малыши — Вилли и Джонни, упокой, господи, его душу. Ярко горит огонь, мать держит на коленях младшую сестренку, в доме пахнет горячими лепешками, овсянкой, парным молоком. Патриархальная жизнь — если забыть про нужду, про заботы, про угрозы управителя, про обманутые надежды...

Но в поэме, которую он напишет для Эйкена, об этом ничего говорить не надо...

Доктор Джон Макензи очень обрадовался, когда молодой Бернс принес ему свои новые стихи: «Субботний вечер поселянина» и «Две собаки». Доктор Макензи принадлежит к тем людям, для которых стихи не пустое развлечение, а одна из радостей жизни. Больше, чем Эйкен, увлеченный содержанием стихов, больше, чем весельчак Гамильтон, которому нравится народный юмор и злая сатира, доктор Макензи понимает всю необычность таланта своего молодого друга. Так, как пишет Бернс, никто никогда не писал ни в Англии, ни в Шотландии. Удивительный размах, удивительное владение словом. Действительно, он умеет писать как угодно и о чем угодно. Эйкен говорил доктору Макензи, что просил Роберта написать «серьезную вещь». И вот в несколько дней Роберт закончил поэму о субботнем вечере. Сначала

кажется, будто это подражание Фергюссону, но потом становится видно, насколько та же тема разработана иначе.

Начинается с превосходной картины зимнего дня. Отец семейства возвращается с работы. Хорошо описан дом, добрая хозяйка у пылающего очага, простой ужин. Но где-то дальше меняется голос поэта, слышатся несвойственные ему сентиментально-слезливые нотки. Что это за стыдливо-краснеющая Дженни, «цвет их семьи»? Откуда эта высокопарность?

Найдется ль кто-нибудь среди людей,
Чтоб без пощады и без угрызений
Глухой к любви и к истине злодей
Сердечко соблазнил невинной Дженни?
Проклятье козням адских ухищрений!
Иль честь и совесть в нем найти нельзя?
Или судьба не знает сожалений,
Чтобы родных предупредить, грозя,
Как Дженни их близка погибели стезя?

В конце несколько патриотических нот, которые наверняка приведут в восторг всех шотландских националистов. Доктор Макензи не сочувствует этим салонным якобитам, которые думают только о том, кого посадить на трон, но отнюдь не о том, как вырвать Шотландию из вековой нищеты. Его эти строки не трогают:

Шотландия! Родной любимый край!
За сыновей твоих мои моленья!
Здоровый труд, довольство, мир пускай

Всегда хранят их мирные селенья,
Да не коснется их зараза тленья,
Яд роскоши, пороков гнусный гной,
Пусть мир тогда торгует без стесненья
Коронами, но остров свой родной
Народ весь окружит, как пламенной стеной... *

«Нет, — думает доктор Макензи, — этот «Субботний вечер поселянина» не похож на все стихи Бернса». Да, конечно, в нем есть превосходные строфы, мастерские описания. Но в этих стихах нет той безудержной, безоговорочной правдивости, той искренности и прямоты, которую так любит доктор Макензи в строптивом, гордом, честном Роберте. Нет, он не лицемерит, описывая благополучно-патриархальный вечер благополучными, очень гладкими стихами. Должно быть, когда он писал эти строки, ему действительно мерещилось, что толстый чумазый малыш на коленях у матери — «лепечущее дитя», как назвал он его в этих возвышенных стихах, и что гурман и сибарит, толстый «оратор Боб» — мистер Эйкен — «был бы счастливее в хижине», чем в своем уютном, нарядном доме, как написано в посвящении. «Но это уже из области поэтических вольностей!» — думает Макензи.

И как не похожа на эти стихи вторая поэма — «Две собаки»! Тут Роберт снова не только веселый, отчаянный, бесшабашный остряк и насмешник, который хлещет по щекам чванных, тупых и разжиревших богачей, их глупых сплетниц-жен, их продажных представителей в парламенте. Тут он рабочий человек, труженик, который требует уважения к себе, к своему труду, к своей неприхотливой, часто тяжелой жизни, где все же есть свои радости, свои светлые минуты. Как будто он отшвырнул крахмальное жабо, натиравшее ему шею, сбросил тесный праздничный сюртук, в который его нарядили доброжелательные друзья, и, расправив плечи, во весь голос запел на языке своего детства, не стесняясь, не чинясь, иногда горланя так, что слышно даже в парламенте, иногда стихая в доброй ласковой усмешке.

Как хорошо разговаривают две собаки — Цезарь, породистый важный пес из господского замка, и Люат — шотландская овчарка, чей хозяин — «резвый малый, чудак, рифмач, затейник шалый...»

А разговор они вели
О людях — о царях земли.

* Эта поэма дана в переводе Т. Л. Щепкиной-Куперник.

Цезарь расспрашивает Люата о жизни в лачугах — он знает только «высший круг», где «что ни обед, то разоренье»:

Не только первого слугу
Здесь кормят соусом, рагу,
Но и последний доезжачий,
Тщедушный шут, живет богаче,
Чем тот, кто в поле водит плуг.
А что едят жильцы лачуг, —
При всем моем воображенье
Я не имею представленья.

Верный Люат объясняет Цезарю, как живут его хозяева:

Ах, Цезарь, я у тех живу,
Кто дни проводит в грязном рву,
Копается в земле и глине
На мостовой и на плотине,
Кто от зари до первых звезд
Дробит булыжник, строит мост,
Чтоб прокормить себя, хозяйку
Да малышей лохматых стайку...

А все ж, пока не грянет буря,
Они живут, бровей не хмуря
И поглядишь, — в конце концов
Немало статных молодцов
И прехорошеньких подружек
Выходит из таких лачужек.

Но Цезарь никак не хочет признать, что в лачугах можно хоть чему-то радоваться: он знает, что значит быть бедным человеком:

Все эти лорды на холопов —
На землеробов, землекопов —
Глядят с презреньем, свысока,
Как мы с тобой на барсука!

Не раз, не два я видел дома,
Как управитель в день приема
Встречает тех, кто в точный срок
За землю уплатить не мог.
Грозит отнять у них пожитки,
А их самих раздеть до нитки,
Ногами топает, кричит,
А бедный терпит и молчит...

Так мог написать только человек, который сам слышал, как кричат и топают ногами на его отца или на него самого. Доктор Макензи знает, как орал наглец управитель на старика Бернса, он понимает, почему Роберт с такой ненавистью пишет об этом.

За эту непримиримость, за независимый, острый ум доктор и любит Роберта. Они часто встречаются, много беседуют. Доктор Макензи недавно женился на одной из «мохлинских красоток» — Эллен Миллер. Жена говорила ему о романе Роберта и Джин Армор. Это так похоже на Роберта: о его «тайном браке» с Джин знает половина города. Неизвестно, что будет, когда об этом узнает старый Армор.

Роберту нужно напечатать свои стихи, думает доктор Макензи, может быть, тогда и родители Джин отнесутся к нему иначе.

Надо будет поговорить с сэром Джоном Уайтфордом — председателем масонской ложи. Сэр Джон показывал доктору письмо Бернса о делах ложи и тогда же отметил не только отличный стиль письма, но и серьезный, разумный подход к масонским обязанностям, касающимся взаимопомощи членов ложи. Жаль, что сэр Джон переезжает в Эдинбург: ему пришлось продать Беллохмайл — свое прекрасное имение на берегу реки Эйр. Теперь там живет другая семья. Роберт недавно показывал доктору стихи, написанные весной в аллеях Беллохмайла: поэт увидел женскую фигуру в чаще деревьев и написал прекрасную песню о «красавице из Беллохмайла». Нужды нет, что мисс Вильгельмина, незамужняя дочь нового владельца имения, далеко не так хороша, как написано в стихах. Да и ее братья, говорят, неумны и грубы, — поэтому Макензи и отговорил Роберта посылать стихи мисс Вильгельмине. Вот когда выйдет книга Бернса — дело другое.

Непременно надо написать сэру Джону Уайтфорду, поговорить с Эйкеном и с Гамильтоном, посоветоваться, как собрать деньги на издание книги Бернса.

Надо будет поговорить и с самим Робертом. Неужели он действительно не видит другого выхода, кроме отъезда на Ямайку?

Джон Ричмонд, закадычный друг Роберта и бывший клерк мистера Гэвина Гамильтона, читает письмо от Роберта, сидя в крошечной каморке старого эдинбургского дома. Над его головой орут и пляшут веселые девицы, которым тоже сдает комнату хозяйка дома, почтенная вдова. Джону пришлось удрать из Мохлина: за незаконную связь церковный суд грозил ему «покаянной скамьей». Кажется, и у Роберта назревают неприятности.

«Мне некогда упрекать тебя за молчание и пренебрежение, — пишет Роберт, — скажу только, что получил твое письмо с большой радостью...

Посылаю тебе для просмотра мой рифмованный товар. Я очень много встречался с музами после твоего отъезда и написал, кроме всего, «Помазанник» — поэму на приезд пастора Мак-Кинли в Кильмарнок, потом — «Шотландское виски», тоже поэму, затем «Субботний вечер поселянина», «Обращение к дьяволу» и так далее. Я также закончил мою поэму «Две собаки», но еще не показывал ее широким кругам... Особых новостей о Мохлине я сообщить не могу, все тут идет по-старому. О себе мог бы сообщить чрезвычайно важные новости, не из приятных, пожалуй, ты не угадаешь, о чем идет речь, но об этом напишу впоследствии...»

Весь март Роберт писал стихи и тайком встречался с Джин. К началу апреля он отобрал для печати сорок четыре стихотворения. Ему не хотелось думать об отъезде на Ямайку, и он обрадовался, когда узнал, что корабль, на котором он должен был плыть, уходит раньше, чем он успеет собраться, и ему придется ждать другого рейса. Главное — не уезжать, пока не решится вопрос о книге и судьба Джин. Со дня на день должен выйти отпечатанный проспект для подписки — Роберт составил его так:

«Апрель 1786 года.

ПРОСПЕКТ
НА ИЗДАНИЕ ПО ПОДПИСКЕ
ШОТЛАНДСКИХ СТИХОВ
РОБЕРТА БЕРНСА

Издание будет изящно отпечатано
в одном томе ин-октаво *.
Цена в обложке — *три шиллинга.*

Так как автор даже отдаленно не имеет никаких *корыстных* побуждений для издания своих стихов, то лишь только наберется достаточное число подписчиков для погашения необходимых расходов, книга будет отправлена в печать».

И дальше шла цитата из стихов Рамзея, где говорилось о том, что надо идти смело вперед, потому что «Гордость в поэте не грех, и цель его устремлений — Слава, и сердцу его дорога Известность, а тот, кто лучше всех играет на волынке, — тот и будет победителем!»

В глубине сердца Роберт Бернс знал цену своим стихам, он понимал, что Гордость его правомерна, что он достоин Известности и Славы. Тогда и Любовь не надо будет скрывать, тогда пусть весь свет узнает, что у него есть жена и будет ребенок.

И Джин будет гордиться им, как он гордился ее верностью, их нерушимой любовью.

Старый Армор дрожал от бешенства. Он тыкал пальцем в «эту гнусную бумажонку» — в брачный контракт, который он вытребовал у Джин. Он хватался за сердце, пил лекарство, осыпал самой отборной бранью и дочь и ее соблазнителя. Он требовал, чтобы Джин немедленно, сию секунду, уехала из Мохлина, — он сам отвезет ее к тетке в Пэйли, пусть и не думает, что он позволит ей хоть одним глазом взглянуть на этого негодяя. Что? Муж? Ка-

* Ин-октаво — в восьмую листа.

кой он ей муж? Сейчас же вон из дому, сейчас же ехать!

Джин словно отупела. Молча собрала она вещи, молча села рядом с отцом в двуколку, молча кивнула головой, когда мать на прощание взяла с нее слово — не делать ни одной попытки снестись с Робертом. Теперь все пропало. Мать первая заметила, что делается с Джин. Она все выпытала, все рассказала отцу. Джин боится отца, боится огласки, она не смеет пойти против воли родителей. А Роберт два дня не приходил. Он, наверное, думает больше о своей книге, чем о ней. Лучше уехать, иначе отец грозится подать в суд на Роберта, ославить его по всему приходу. Джин не знает, что теперь будет. У нее нет своей воли — родители все решили за нее.

Младший брат Джин, шестнадцатилетний Адам, выбежал на свист Роберта: он всегда с мальчишеским обожанием относился к другу сестры, переписывал его песни, а иной раз и бегал к нему с поручениями от Джин. Он торопливо рассказал Роберту, что Джин уехала, что отец сердится и что ему лучше сюда не показываться. Сейчас отец уехал в Эйр, к нотариусу, мистеру Эйкену, с какой-то бумагой, которую он отнял у Джин.

Роберт слушал мальчика словно оглушенный: неужели Джин так легко отказалась от него? Неужели она отдала отцу их брачный контракт? Надо завтра же поехать к мистеру Эйкену узнать, зачем старый Армор был у него.

Роберт держит в руках пачку листов, отпечатанных на тонкой бумаге, — проспект его будущей книги. Вчера, 14 апреля, поздно вечером ему прислали этот проспект из кильмарнокской типографии. Сегодня суббота. В этот день он обычно ездит в Эйр, к своему «дорогому патрону» — мистеру Эйкену. Но он виделся с ним вчера утром, когда от него уехал отец Джин. И Эйкен с обычной усмешкой, выпятив толстый животик, сказал, что он успокоил отца Джин, посоветовав ему вырезать их имена из брачного контракта, и сам, «по просьбе Армора», аккуратно выстриг подписи. Роберт молча повернулся и ушел. Теперь он не знает — посылать Эйкену проспект или нет. Лучше всего спросить об этом Гэвина Гамильтона: он уже все знает — Роберт сам ему рассказал о «предательстве» Джин, об ее отъезде.

Гэвин Гамильтон получил письмо Бернса в воскресное утро — он, как обычно, в церковь не пошел, и мальчик, принесший письмо из Моссгила, застал его за завтраком с женой и свояченицей. Обе — и Эллен Гамильтон и ее хорошенькая сестра Маргарет — очень любили Бернса и уже слышали, как печально окончился его роман с дочкой Армора. Письмо Роберта очень огорчило их.

«Уважаемый сэр,

Мои проспекты получены вчера вечером, и, зная, что у вас раньше всех появилось желание оказать мне помощь, я посылаю вам половину. Мне необходимо прежде всего посоветоваться с вами, прилично ли будет послать бывшему моему другу, мистеру Эйкену, один экземпляр? Если он считает меня честным человеком, я сделаю это от всей души; но я не желаю быть обязанным даже самому благородному человеку, сотворенному всевышним, если он при этом считает меня негодяем. Кстати, старый мистер Армор уговорил его искалечить этот злополучный документ. Верите ли, хотя у меня не было никакой надежды, более того — никакого желания назвать *ее* своей после *ее* позорного поведения, но когда Эйкен мне сообщил, что наши имена вырезаны из документа, сердце у меня остановилось — этими словами он словно вскрыл мне жилы. Будь проклят ее обман и клятвопреступное предательство! Но храни ее бог и прости ее, мою бедную, недавно так горячо любимую девочку; родители совсем совратили ее, плохой ей дали совет. Не презирайте меня, сэр, я и впрямь глупец, но подлецом, я надеюсь, никто не посмеет назвать несчастного Роберта Бернса».

— Немедленно пошли за ним, — говорит Эллен Гамильтон мужу, — а подписными листами я займусь сама. Его книга должна выйти, чего бы это ни стоило.

Проспекты разосланы, деньги от подписчиков начинают поступать со всех сторон. Мистер Вильсон, кильмарнокский типограф, уже сдает рукопись в набор: сейчас май, в июле книжка непременно выйдет.

4

Весной на ферме много работы, и руки Роберта всегда заняты. Но он привык до вечера держать в памяти все, что складывалось за день. В стихах он мысленно рассказывал всему миру, что с ним случилось. Иногда рассказ превращался в песню; так должна была бы сейчас петь Джин:

Ему я сердце отдала,
Он будет верным другом,
Нет в мире лучше ремесла,
Чем резать землю плугом.

Придет он вечером домой,
Промокший и усталый.
— Переоденься, милый мой,
И ужинать пожалуй!

Я накормить его спешу.
Постель ему готова.
Сырую обувь просушу
Для друга дорогого...

Обманщица Джин, неверная Джин... Зачем она уехала, зачем послушалась уговоров этой старой ведьмы, своей матери? Роберт пишет об этом всем — и в письмах друзьям и в длинной оде «Жалоба». Эта ода — воззвание к луне, к «бледному Светилу», к «Ко-

ролеве ночи». Она своим неясным, негреющим светом озаряет бессонную ночь того, кому в залог любви было дано «нежное обещание назваться отцом», того, кто теперь не спит в слезах, измученный, истерзанный, оплакивая неверную женщину, нарушившую клятву.

Роберт всегда свято верил в нерушимость честного слова. Он сам никогда никого не обманывал, никому ничего не обещал, если не был уверен, что выполнит обещание. Джин знала, что она для него настоящая жена. Как же она осмелилась предать его?

Пусть он по-прежнему любит ее — он вырвет ее из сердца, он найдет другую, увезет с собой в Вест-Индию, он забудет Джин навсегда..

Скалистые горы, где спят облака,
Где в юности ранней резвится река,
Где в поисках корма сквозь вереск густой
Птенцов перепелка ведет за собой

Милее мне склоны и трещины гор,
Чем берег морской и зеленый простор,
Милей оттого, что в горах у ручья
Живет моя радость, забота моя

Она не прекрасна, но многих милей.
Я знаю, приданого мало за ней,
Но я полюбил ее с первого дня
За то, что она полюбила меня!..

Майским вечером Роберт обнимает другую девушку на зеленом берегу реки Эйр. Это ей посвящены стихи о горах — она оттуда родом.

Мэри Кэмбл — «горянка Мэри», хорошенькая, веселая и очень добрая девушка. Она сама подошла к Роберту в церкви, заговорила с ним низким грудным голосом, посмотрела голубыми глазами и сама назначила ему свидание далеко за городом. Ей жаль Роберта, а ему жаль себя, и он бесконечно благодарен Мэри за ее щедрую любовь, за бескорыстную ласку. Мэри так же бедна, как он, сейчас она живет в услужении у чужих людей. С ней ему не страшно

пускаться в путь. С ней можно будет пережить все трудности новой жизни на Ямайке.

А главное — она поможет ему забыть обиду, забыть Джин, ее черные глаза, темные пушистые волосы.

Мэри совсем другая — светловолосая, синеглазая.

С эгоизмом человека, который считает себя обиженным, Роберт не думает о том, что он отвечает за судьбу Мэри.

В мае, в воскресный день, Роберт прощается с Мэри на берегу реки: она уезжает к родным, чтобы подготовиться к путешествию.

Летом выйдет книга Роберта, а осенью он встретится с Мэри в порту Гринок и навсегда покинет родные берега.

На прощание Роберт купил библию — два тома в красивых переплетах. Он пишет имя Мэри на первом томе, свое имя — на втором. И под каждым именем — текст, где суровыми библейскими словами осуждены ложные клятвы и нарушители их:

«Еще слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы...»

«Не клянитесь именем моим во лжи...»

Роберт пишет это не только для того, чтобы уверить Мэри в нерушимости своих обещаний и заставить ее держать слово. Он все время думает о другой нарушенной клятве, о Джин. Он не может забыть о ней, даже прощаясь со своей новой подругой.

Мэри уехала из Мохлина и увезла в залог обе библии, обещав Роберту ждать его в порту.

Оба не знали, что их встрече состояться не суждено.

А 7 июня Джин вернулась домой

Всегда трудно рассказывать о личных делах человека, не хочется вмешиваться в то, что касается только двоих. Но в то лето — лето 1786 года — Бернс написал столько писем, он так бушевал в стихах и в прозе, что кажется, будто вместе с ним переживаешь эти дни перед выходом его первой книги.

«Я навестил Армор после ее возвращения, — пишет он Ричмонду в Эдинбург, — не затем, клянусь честью, чтобы искать хоть малейший предлог для примирения, а просто, чтобы справиться о ее здоровье и — тебе я могу в этом признаться — из-за глупой непреодолимой нежности к ней, по правде сказать, весьма неуместной. Ее мать отказала мне от дома, да и Джин не проявила того раскаяния, которое можно было ожидать. Однако наш священник, как мне сообщили, даст мне свидетельство о том, что я холост, если я выполню все требования церкви и покаюсь, что я и собираюсь сделать».

К письму наспех приписано в воскресенье утром:

«Сейчас надену вретище и посыплю голову пеплом. Мне разрешено покаяться с места. Грешен, господи, помилуй меня! Книга моя выйдет через две недели. Если у тебя есть подписчики, пришли мне их имена через того же почтаря. Господи, храни праведников! Аминь, аминь.

Роберт Бернс».

Перед Ричмондом — товарищем по «четверке бунтарей», собутыльником на пирушке «Веселых нищих», Бернс всегда хотел казаться легкомысленней и циничней, чем он был на самом деле. Но осталось два письма Дэвиду Брайсу — одному из мохлинских друзей, уехавшему в Глазго. Ему Бернс пишет совсем по-другому:

«Вы знаете все подробности этой истории — истории достаточно мрачной. Я не знаю, что Джин думает сейчас о своем поведении, но ясно лишь одно: из-за нее я окончательно стал несчастным. Никогда человек так не любил, вернее — не обожал женщину, как я любил ее, и должен сказать правду, совершенно между нами, что я все еще люблю ее, люблю отчаянно, несмотря на все; но ей я ни слова не скажу, даже если мы увидимся, хотя этого я не хочу. Бедная моя, милая, несчастная Джин! Как счастлив был я в ее объятиях! И горюю я не оттого, что я ее потерял, больше всего я страдаю за нее. Я предвижу, что она

на пути — боюсь выговорить — к вечной погибели. И те, кто поднял шум и выказал такое недовольство при мысли, что она станет моей женой, может быть, когда-нибудь увидят ее в обстоятельствах, которые будут для них причиной истинного горя. Разумеется, я ей этого не желаю: пусть всемогущий господь простит ей неблагодарность и предательство по отношению ко мне, как прощаю от всей души и я, и пусть не оставит он ее милостью и благостью своей во всю ее будущую жизнь!.. Я часто пытался забыть ее: я предавался всяческим развлечениям, бурно проводил время, ходил на масонские собрания, участвовал в пьяных пирушках и других шалостях, но все впустую. Осталось одно лекарство: скоро вернется домой корабль, который увезет меня на Ямайку, и тогда — прощай, милая, старая Шотландия, и прощай, милая неблагодарная Джин, никогда, никогда больше мне не видеть вас!

Вы, наверно, слышали, что я собираюсь выступить в печати как поэт. Завтра мои стихи идут в набор. Это последний безумный поступок, какой я собираюсь совершить, а затем я стану умнеть как можно быстрее...»

Впрочем, здравый смысл не покидает Роберта: 22 июля он передает по дарственной записи ферму и все доходы от издания стихов Гильберту, а тот обязуется воспитывать и обучать «дорого доставшуюся Бесс» — незаконную дочь Роберта.

Семья обеспечена, о Джин позаботятся богатые родители. Остается только дождаться выхода книги и уехать на Ямайку, навеки порвать со всем.

«Мой час настал, — пишет Роберт верному Джону Ричмонду. — Мы с тобой больше никогда не встретимся в Великобритании. Я получил распоряжение через три недели, не позже, отправиться на корабле «Нэнси», с капитаном Смитом, из Клайда на Ямайку. Для всех в Мохлине, кроме нашего друга Смита, это тайна. Поверишь ли? Мистер Армор получил правомочие швырнуть меня в тюрьму, пока я не внесу в обеспечение Джин огромнейшую сумму. Они держат это в секрете, но я узнал обо всем из такого источни-

ка, который им и не снится. И теперь я прячусь то у одного приятеля, то у другого, и мне, как истинному сыну человеческому, «негде преклонить главу». Знаю, ты обрушишь проклятия на ее голову, но пощади бедную запуганную девочку ради меня! Зато пусть все фурии, разрывающие грудь оскорбленного, взбешенного любовника, терзают старую ведьму, ее мать, до последнего ее часа. Пусть ад натянет тетиву смерти и пустит в нее роковую стрелу, пусть все бури бушующих стихий раздуют адское пламя ей навстречу! Ради бога, сожги это письмо, не показывай его ни одной живой душе! Я пишу в минуту ярости, представив себе свое ужасающее положение — изгнан, покинут, несчастен, не могу писать — жду ответа с подателем сего, напишу перед отъездом.

Твой, здесь и за гробом,
Роберт Бернс».

Письмо помечено 30 июля.

А на следующий день, 31-го числа, в маленькой типографии Вильсона, в Кильмарноке, кончили печатать шестьсот двенадцать продолговатых небольших книжек в восьмую долю листа, в «элегантной» серой обложке из толстой бумаги, цена — три шиллинга. Триста пятьдесят экземпляров в продажу не поступало: они принадлежали подписчикам

Двести пятьдесят экземпляров пошло в продажу — за исключением нескольких книг, выданных автору на руки.

Каждый, кто держал в руках свежие, пахнущие типографией листки корректур, каждый, кто в сотый раз перелистывал туго сброшюрованные страницы новой книги и в сотый раз читал черным по белому свое имя на титульном листе, знает это чувство «выхода в свет»: в нем и гордость и робость, надежда и страх, в нем — сознание своей силы и своего бессилия при мысли о том, что можно бы сделать

лучше и что надо, непременно надо, сделать лучше, больше

Для Роберта Бернса первый томик его стихов был поистине «выходом в свет», утверждением своего права разговаривать не только с друзьями и соседями, но и со всей Шотландией

И Шотландия откликнулась на его голос так, как никогда не откликалась на голоса других своих поэтов

5

Три шиллинга — большая сумма, особенно если получаешь пятнадцать шиллингов в год! В каждом шиллинге — двенадцать с трудом заработанных пенсов: батрак на ферме обычно работает за жилье и кусок хлеба и только изредка подрабатывает два-три пенса у соседей.

Еще труднее девушке-служанке: для того чтобы купить новое платьишко или чепчик с самым дешевым кружевцем, надо, не разгибая спины, шить по ночам чужие наряды, складывать в старый чулок медяк за медяком, а иногда и не отказываться от подарка хозяйского сынка, платя за это дорогой ценой.

И все же в книжной лавочке Вильсона, в Кильмарноке, появляются необычные покупатели: то босоногий запыленный парень в длинной, навыпуск, домотканой рубахе, то две застенчивые хихикающие девчонки, которые долго пересчитывают медяки и шепотом препираются насчет того, что «Лиззи тоже дала два пенса». Все они спрашивают одну и ту же книжку, и мистер Вильсон жалеет, что взял из типографии всего тридцать экземпляров: скоро он их все продаст. Последний экземпляр достается запыхавшемуся немолодому человеку со схваченными ремешком волосами, в которых застряли кусочки

льняной пряжи. Он бережно заворачивает книгу в край кожаного фартука и несет на окраину, в длинное полутемное здание ткацкой мастерской. Уже вечер, пора расходиться, после двенадцатичасовой работы не держат ноги, устали глаза. Осторожно, по листкам, расшивается небольшая книжечка, каждый, кто участвовал в складчине, берет свой листок: вечером он его перепишет, а завтра возьмет другой.

Владелица замка Дэнлоп, миссис Фрэнсес Уоллес Дэнлоп, мать пяти сыновей и шести дочерей, в ту осень жила в постоянной тоске и грусти: недавно она потеряла мужа, с которым прожила долгую и счастливую жизнь. Миссис Дэнлоп было уже под шестьдесят, но она живо интересовалась всем, что делалось на свете, много читала, переписывалась с выдающимися литераторами и даже сама писала стихи.

Небольшой томик стихов Бернса попал к ней случайно. Она открыла его на поэме «Субботний вечер поселянина». Эти строки показались ей откровением. Она прочла книгу от буквы до буквы. Стихи ее поразили: рядом с «грубоватыми», слишком резкими и «мало чувствительными» строками сатир и песен она нашла «захватывающие по выразительности» строки про горную маргаритку, сорванную злым плугом, горькую жалобу на измену «жестокой женщины» и трогательное обращение к незаконному ребенку. Миссис Дэнлоп ожила — перед ней был удивительный поэт. Она еще раз перечитала предисловие: неужели эти поистине изящные и возвышенные слова написал простой пахарь из Эйршира?

«Прилагаемые безделицы не являются творениями поэта, который, обладая всеми преимуществами искусной учености, живя, быть может, в изящной праздности высшего света, снисходит до сельской темы, взирая на Феокрита или Вергилия. Для автора сей книги великие имена этих поэтов и их соотечественников — «сосуд запечатанный и книга закрытая». Не будучи знаком с обязательными требованиями и пра-

вилами, по которым надо начинать свою поэтическую деятельность, автор просто поет чувства, какие он испытал сам, и нравы, которые он наблюдал у своих сельских собратьев, поет на своем и их родном языке».

Как скромно и достойно пишет он о том, что «выступает перед светом в страхе и трепете» и что больше всего он боится, как бы не сочли его наглым болваном, который хочет навязать миру свои пустые излияния. Он цитирует Шенстона: «Робость принизила многих гениев до уединенного забвения, но еще никогда не подняла никого до славы!» Он с уважением и любовью говорит о своих предшественниках, о таланте Рамзея и великолепных откровениях бедного, несчастного Фергюссона — себя он считает неравным им, но признает, что «этих справедливо чтимых шотландских поэтов он часто вспоминал в своих стихах, но скорее заимствуя от их огня, чем рабски им подражая».

Миссис Дэнлоп любит шотландскую поэзию, она не принадлежит к тем представителям аристократии, которые стараются подражать англичанам и отрекаются от шотландских традиций. Она выросла в сельской местности, отлично понимает крестьянскую речь и сама говорит по-шотландски. Стихи этого пахаря вывели ее из многодневного оцепенения. Она сейчас же напишет автору, пошлет слугу в Моссгил — это всего шестнадцать миль от ее имения — с просьбой прислать шесть экземпляров чудесной книги.

Миссис Дэнлоп очень понравились и «Две собаки», с которых начинался сборник, несмотря на не вполне салонные слова, как, например, «мочился с ними на забор». Оба послания — к «Шотландскому виски» и «К депутатам парламента», в которых поэт просит снять налоги с ячменного виски, показались почтенной даме несколько «вульгарными и простонародными». В самом деле, можно ли писать, что Муза «надорвалась от крику и охрипла» и что «у вас, ваша честь, заболело бы сердце, если б вы увидели, как она плюхнулась задом прямо в пыль и орет эти прозаические стихи!». Правда, написано это весьма искусно, талант у автора незаурядный, хоть и берет он те же старинные размеры, какими писали его предшественники. Жаль, что он не направил все свое умение на такие прелестные стихи, как посвящение горной маргаритке, примятой его плугом, или трогательную элегию бедной овце Мэйли.

За эти прекрасные стихи, за чудесное «Видение», написанное хотя и простонародным языком, но все же под явным — и, с точки зрения миссис Дэнлоп, благотворным — влиянием классики, она готова простить автору даже непочтительные стихи, посвященные его величеству королю Георгу Третьему.

Нет, миссис Дэнлоп не поклонница ганноверской династии, отнявшей трон у законных шотландских королей, у Стюартов. Недаром она ведет свой род от защитника Шотландии, врага всех узурпаторов — Уильяма Уоллеса. Все же ей кажется, что неуместно простому крестьянину столь фамильярно обращаться к королю и всему августейшему семейству.

Но миссис Дэнлоп достаточно умна и достаточно понимает стихи, чтобы сразу почувствовать, какой необычный автор перед ней. И она отправляет слугу с письмом, которое станет завязкой многолетней дружбы и самой откровенной переписки.

Письмо не застало Бернса дома — в этот день он был вторично приглашен к обеду в дом профессора моральной философии Эдинбургского университета, доктора Дугальда Стюарта, с которым познакомился в октябре.

Профессор Стюарт, сын известного математика, жил этой осенью в своем небольшом имении, где у него гостил лорд Бэзиль Дэйр — болезненный и восторженный юноша, полный благородных планов преобразования человечества на основах всеобщего равенства и братства.

Когда Стюарт показал ему книгу молодого крестьянина, лорд Дэйр заволновался: именно с такими людьми и можно было осуществить мечту Руссо, именно с ними следовало бы строить простую жизнь на лоне природы!

Роберту впервые пришлось побывать в столь знатном обществе. Ему казалось, что его праздничные подкованные башмаки слишком громко стучат, что сейчас его встретит снисходительное благоволение, которое он так ненавидел. Но голубоглазый худощавый юноша с пятнами чахоточного румянца на щеках смотрел на него с таким детским восхищением, что вся его настороженность пропала. Он чувствовал себя как дома: спокойный, умный профессор Стюарт чем-то напоминал любимого учителя Мэрдока, а молодой лорд так смущался, когда гость перехватывал его восторженный взгляд, что Роберт не мог не улыбаться ему по-братски всякий раз, как их глаза встречались.

Стюарт был поражен: даже прочтя стихи Бернса, даже узнав от их общих знакомых — Эйкена и Гамильтона — о выдающихся качествах молодого фермера, он никак не ожидал встретить в нем не только человека «в высшей степени воспитанного, с отличными манерами, простого, мужественного и сдержанного», но и отличного собеседника «с превосходной, точной и оригинальной речью». Его знания по части литературы и истории даже профессору университета показались незаурядными. «Он принимал участие в общей беседе, ничем не стараясь выдвинуться, и с почтительным вниманием слушал тех, кто был лучше его осведомлен в незнакомых ему предметах», — писал потом профессор.

Профессор Стюарт подробно расспросил Бернса о его планах. Он сразу понял, что поэту ненавистна мысль об отъезде на Ямайку. Бернс очень сдержанно, но с явным огорчением сказал, что если бы он мог, как советовал ему мистер Эйкен, поступить на государственную службу — хотя бы простым акцизным чиновником, то у него не было бы надобности покидать родину. Но для этого надо пройти длительный курс обучения, а пока что жить очень трудно: небольшие деньги, полученные от издания стихов, — около 50 фунтов, пойдут на расходы по ферме — профессор, вероятно, знает, что у него большая семья...

Прощаясь с Бернсом, Стюарт ничего ему не обещал. Но в тот же вечер он написал несколько писем в Эдинбург, где рассказывал своим друзьям, профессорам университета, о новом поэте.

Еще никогда три коротких осенних месяца — август, сентябрь и октябрь — не вмещали столько событий, как в тот знаменательный 1786 год.

В ночь под 1 августа вышла первая книга Бернса. До сих пор он был «безвестным бардом», которого знали только ближайшие знакомые и соседи. За неделю он стал знаменитым.

Весь август он разъезжал по городкам и фермам Эйршира и соседних округов.

Его встречали как самого дорогого друга. Его стихи знали везде. Он слышал, как в кильмарнокской мастерской хором пели его песни, он получал письма от незнакомых людей с просьбой прислать экземпляр книги или хотя бы два-три стихотворения, переписанные от руки. Его слава росла, а ему приходилось скрываться у знакомых: «ищейки» мистера Армора все еще грозились запрятать его в тюрьму, если он не внесет деньги на будущего ребенка. Он посылает записку Джэми Смиту, верному мохлинскому другу; в ней он пишет, что не удалось уехать на «Нэнси» и что первого сентября он непременно уедет на корабле «Белл», с капитаном Кэткартом, прямо из Гринока. «Где я до тех пор буду прятаться — не знаю, но надеюсь выдержать шторм. Да сгинет та капля моей крови, которая их боится! Я готов сразиться с кем угодно, а пока буду смеяться, петь и гулять, сколько можно! В четверг, если ты можешь проявить самопожертвование и в семь утра подняться с постели, я с тобою увижусь по дороге...»

Все-таки он был счастлив: книга имела успех, корабль «Нэнси», слава богу, ушел без него, вокруг столько друзей, столько премилых женщин. Вчера он отвез свою книгу той самой Пэгги Томсон, которая когда-то «перепутала всю тригонометрию» в землемерной школе в Кэркосвальде. Теперь Пэгги замужем, у нее двое детей. Ее муж с гордостью встретил знаменитого друга жены, он провожал Роберта все пять

миль до ближнего городка. А Пэгги вспомнила черноглазого застенчивого мальчика, прогулку по лесу и первые стихи, посвященные ей. Теперь на заглавной странице книги стояли другие строки:

Моя любовь давно минувших лет,
Твой милый голос в сердце не умолк.
Прими же дружбы искренний привет.
Да! Дружбы — лишь ее нам разрешает долг.
Когда получишь этот скромный дар,
Вздохни разок, подумав обо мне, —
О том, кого томит в краю полдневном жар
Иль океан таит в холодной глубине.

В те же дни он встретился и с приятелем по кэркосвальдской школе: Вилли Нивен устроил ему такой прием в своем родном городке, что Роберт долго не мог опомниться. Когда-то Роберт писал ему философские письма о том, что такое великодушие, мужество, спокойствие. В одном из писем Роберт спрашивал, как сам Вилли «продвигается в жизни» — не в отношении успехов материальных и надежд на богатство, — нет, Роберта тогда интересовало, как он «развивает нежные чувства сердца».

Теперь Бернс и Нивен встретились взрослыми людьми: Нивен был женат, стал владельцем книжного магазина и от души гордился своим школьным другом. Жаль только, что у Роберта нет хорошей жены: на вопрос, женат ли он, Роберт ответил что-то невразумительное и просил об этом его не спрашивать.

Одному только Ричмонду — самому верному из друзей, жившему теперь в столице, — Роберт откровенно писал обо всем.

1 сентября Роберт вернулся в Моссгил: он знал, что теперь ему бояться нечего.

«Я больше не страшусь мистера Армора, — писал он Ричмонду, — хотя у него все еще есть правомочия посадить меня в тюрьму, но некоторые знатнейшие джентльмены страны предложили мне свое покровительство и дружбу, а кроме того, Джин не предпримет против меня никаких шагов, не предупредив меня, ибо только самыми страшными угрозами ее заставили подписать заявление в церковный совет. Я видел ее недавно. Она с трепетом ждет приближающегося часа родов, и уверяю тебя, мой дорогой друг, я очень тревожусь за нее. Теперь-то она охотно приняла бы то предложение, которое однажды отвергла, но больше она его никогда не получит...»

Тут Роберт неумолим: его самолюбие, его гордость смертельно уязвлены. Джин «предала его», и он клянется всеми святыми, что не даст ей свое имя, не назовет ее женой.

Так он писал 1 сентября.

А 3-го Джин родила близнецов — мальчика и девочку.

Для Роберта отцовство всегда было не только священным долгом, но и высшей радостью.

Еще зимой он написал для Джин песенку, где говорится о девушке, которая знает, что пеленки их крошке купит шалопай-отец и утешит ее он, этот гуляка. Он утрет ее слезы, приласкает, вместе с ней сядет на покаянную скамью, скажет, как назвать малютку, — все он сделает, когда родится ребенок. Потому что можно разлюбить девушку, можно уйти от нее, но негодяй тот, кто отказывается от своей плоти и крови. Об этом Роберт писал и легкомысленному Ричмонду, уехавшему от соблазненной им девушки (впоследствии не без настояния друга Ричмонд на ней женился).

Немудрено, что, узнав о рождении близнецов, Роберт был вне себя от радости. Он прибежал к Джин, принес ей заветный золотой, хранившийся у матери со дня его рождения. Но старуха Армор только разрешила ему взглянуть на крошек и выставила из комнаты, даже не позволив поцеловать улыбавшуюся ему Джин.

Он бежал домой, глубоко дыша утренней свежестью, уже пахнущей близкими осенними ветрами, над

ним ярко синело сентябрьское небо, а в голове плясали веселые слова, ложась на старую знакомую мелодию.

Примчавшись на ферму, он на ходу обнял мать, перецеловал сестренок, хлопнул Гильберта по спине и бросился на свой чердак — писать письма.

«Мой друг, мой брат! — писал он Мьюру в Кильмарнок. — Ты, наверно, слышал, что бедняжка Армор вернула мне залог любви вдвойне. Чудесные ребята — мальчик и девочка — пробудили во мне тысячи чувств, и сердце бьется то от нежной радости, то от мрачных предчувствий...»

Нет, к черту мрачные предчувствия: Ричмонду он напишет по-другому:

«Поздравь меня, дорогой мой Ричмонд! Армор одним махом принесла мне чудесного мальчишку и девчонку! Боже, благослови дорогих крошек!»

Вот и все. А дальше пусть идут те стихи, которые он сочинил по дороге домой:

Растет камыш среди реки,
Он зелен, прям и тонок.
Я в жизни лучшие деньки
Провел среди девчонок...

Отменные стихи! Так и хочется притопнуть каблуком под звонкую рифму в конце:

Пускай я буду осужден
Судьей в ослиной коже,
Но старый, мудрый Соломон
Любил девчонок тоже!..

Неужто надо уезжать в незнакомую, неприветливую, жаркую страну от всех этих радостей, от друзей, которых с каждым днем становится все больше, от трех ребят — годовалой Бесс и только что родившихся близнецов, неужели никогда больше не видеть, как распускаются березы в шотландском лесу, не слышать, как поет шотландский жаворонок. С ненавистью думает Роберт о сердитом страшном океане,

о беспощадно палящем солнце, о душных тропических ночах. Нет, там ему все равно не выжить, он едет на верную смерть...

Потрескивают толстые поленья в огромном камине. Спущены вышитые шелком занавеси на больших окнах. Восковые свечи в высоких медных подсвечниках, споря с отблесками камина, освещают воздушное белое платье, длинные светлые локоны и девичью шею с тоненькой золотой цепочкой медальона. Маленькие ручки бегают по клавишам, и звенящие, чистые звуки рассыпаются стеклянными бусинками по гостиной.

Мисс Кристина Лоури играет на спинете.

Роберт впервые в жизни видит спинет. По правде сказать, он и таких девушек видит впервые и в таком доме в первый раз проводит вечер. Хозяин дома — достопочтенный доктор богословия Джордж Лоури пригласил его к себе в дом на целые сутки. Ему хотелось познакомить жену, дочерей и младшего сына Арчибальда с автором книги, которой вся семья так восторгалась. Конечно, вкусы расходились и тут: девушки проливали слезы над стихами о бедной мышке и примятой плугом маргаритке, миссис Лоури упивалась «Субботним вечером», Арчибальд хохотал над «Шотландским виски» и «Обращением к дьяволу», а сам доктор Лоури, очень любивший старые шотландские баллады, был удивлен и восхищен тем, что автор, словно соревнуясь со своими предшественниками, хотя и заимствует у них традиционный стих, но заставляет его звучать совсем по-новому — легко и свежо.

Гость превзошел все ожидания. Миссис Лоури с удовольствием отметила, какие у него отличные манеры, а все три девушки улыбались и краснели, встречая пристальный, насмешливый и ласковый взгляд его темных глаз. После обеда, когда дамы вышли, Арчи и доктор Лоури не без интереса слушали рассказ гостя о нравах мохлинского прихода и долго смеялись над «Молитвой святоши Вилли», которая, конечно, не вошла в книгу.

Вечером пришли гости — молодые девицы и товарищи Арчи, и доктор Лоури сам сел за спинет, чтобы молодежь могла потанцевать.

Бернс танцевал отлично — не зря он в семнадцать лет вопреки воле отца ходил в тарболтонскую школу танцев. Все барышни наперебой требовали, чтобы он танцевал с ними, но он улыбался и опять с поклоном подавал руку мисс Кристине — маленькой музыкантше, явно покорившей его сердце.

Провожая гостя в отведенную ему спальню, доктор Лоури задержался в дверях и спросил, что же Бернс собирается делать дальше.

— Думаю, что вам никуда не придется уезжать, — сказал он, выслушав его. — Я не хочу вас обнадеживать заранее, но я предпринял некоторые шаги и прошу вас дождаться ответа. Считаю, что Шотландия не должна отпускать своего поэта в чужие края.

И, протестующе подняв руку, как бы желая остановить слова благодарности, доктор Лоури вышел.

Роберт, словно оглушенный, стоял посреди чужой комнаты, зная, что в эту ночь ему не дадут заснуть гулкое тяжелое сердцебиение и безудержная радость при мысли, что он сможет остаться на родине.

Доктор Томас Блэклок ослеп в раннем детстве. Но, несмотря на трудную и сложную жизнь, он и в шестьдесят пять лет сохранил живую, светлую душу и неприторный интерес ко всему, что касалось его любимого дела — писания стихов. К молодежи он вообще относился с отеческой заботой: вечно он кому-то помогал, кому-то покровительствовал, и многие адвокаты и ученые Эдинбурга были обязаны своей карьерой скромному старику, который сам вышел из бедной семьи. В Эдинбурге доктора Блэклока не только уважали, но и любили. Он был желанным гостем на всех литературных завтраках и обедах, его стихи — увы, не очень оригинальные! — все же постоянно печатались в столичных журналах. Даже доктор Джонсон, тот самый ученый, который разъезжал по Шотландии с молодым Бозвеллом, встретив слепого поэта, написал о нем: «Я смотрел на него с большим почтением». А услышать доброе слово от язвительного, желчного Джонсона удавалось далеко не всякому.

То, что доктор Лоури послал книгу Бернса именно старому Блэклоку, было чрезвычайной удачей. Старик уже знал два или три стихотворения Бернса через профессора Стюарта и теперь с восхищением слушал разнообразные, не всегда достаточно «скромные», но всегда бесспорно талантливые стихи неизвестного раньше поэта. Блэклок сразу почувствовал необычайность бернсовского гения, его разносторонность, его всеобъемлющую силу. В письме доктор Лоури сообщил Блэклоку, что автор стихов — простой крестьянин, без образования и без всяких перспектив в жизни.

«Я видел много примеров благотворных сил природы, которые проявлялись, несмотря на бесчисленные и неумолимые препятствия, но ничто не может сравниться с тем примером, с каковым я ознакомился благодаря вашей доброте, — писал Блэклок в ответ. — Его серьезные стихи полны такой трогательности и тонкости, столько ума и юмора в его более веселых произведениях, что самое искреннее восхищение, самое горячее одобрение не будут чрезмерными. Я желал бы выразить свои чувства в стихах, однако то ли жизнь идет на убыль, то ли временно угнетен мой дух, но я не в силах выполнить это намерение... Мне сказали, что весь выпуск уже разошелся. Поэтому весьма желательно, для блага этого юноши, немедля напечатать второе издание в бо́льшем количестве экземпляров...»

О таком одобрении Бернс не смел и мечтать. Наконец «зловещая звезда», которая всегда, как он любил говорить, стояла в зените над его головой, посылая свои роковые лучи, вдруг закатилась! Неужели можно будет напечатать книгу, добавив новые стихи, неужели о нем узнают и за пределами Шотландии? Неужели можно остаться на родине?

«Может быть, я попробую издать мою книгу вто-

рично, — пишет он Ричмонду, — если это выйдет, я несколько задержусь дома, если нет — уеду, как только кончится жатва».

Роберт писал об отъезде — и мучился. Были минуты, когда ему хотелось убежать куда угодно, лишь бы не видеть Джин, были минуты, когда он вспоминал о Мэри Кэмбл, которая обещала уехать с ним в Вест-Индию. Мэри давно не отвечала на его письма — может быть, и она ему изменила?

Подходил ноябрь. Хлеб давно убрали, Гамильтон и Эйкен настойчиво советовали ехать в столицу. Многие из эйрширских помещиков на зиму уезжали туда — может быть, они помогут своему талантливому земляку. Об этом написал Бернсу управляющий имениями лорда Гленкерна — самого богатого помещика Эйршира. Оказывается, лорд Гленкерн не только приобрел книгу Бернса — он переплел ее в парчу и просил своего управляющего сообщить поэту, что ему будет оказано всяческое содействие, если он приедет в Эдинбург. Значит, вполне вероятно, что лорд Гленкерн поможет ему не только издать книгу, но и получить какую-нибудь службу.

Роберт чувствует, что «свет к нему добр», и знает, что он этого заслужил. Ему не страшно ехать в Эдинбург, он уверен, что там его встретят хорошо.

Все дела дома закончены. Джин у родителей. Арморы решили оставить у себя девочку, названную по имени матери — Джин, и отдать бабушке в Моссгил мальчика — его назвали по имени отца Робертом, Бобби. На дворе ноябрь, к весне мальчишку можно будет забрать в Моссгил.

С собой Роберт возьмет новые стихи — после выхода книги их накопилось немало. Многие разосланы друзьям — впрочем, одно послание еще не отправлено адресату.

Весной друзья отговорили Роберта посылать стихи мисс Вильгельмине Александер из Беллохмайла. Теперь другое дело: она получит их не от какого-то

фермера, без разрешения забредшего к ней в парк, а от поэта, автора книги стихов.

Роберт красиво переписывает стихотворение и прилагает к нему письмо, написанное в стиле «Человека чувств». Кстати, Роберт надеется встретить автора этой книги, Генри Маккензи, в Эдинбурге.

Удивительное свойство — уметь писать в любом стиле! Роберт так увлекся этой задачей, что даже несколько переусердствовал в старании выказать в сопроводительном письме свои чувства перед знатной дамой. Неважно, что само стихотворение звучит совершенно по-иному: в нем — откровенная радость жизни, в нем говорится о простой любви в хижине под соснами, где так хорошо каждую ночь крепко прижимать к груди славную девушку из Беллохмайла! Пусть гордецы взбираются по скользкой лестнице успеха, пусть золото гонит жадных в глубь земли, а мне дайте пасти стада или пахать землю и ежедневно испытывать небесное блаженство со славной девушкой из Беллохмайла, говорят стихи.

А в письме, которое начинается с полуфранцузской фразы: «Поэты — существа столь «outré» *, — так много выспренних, нарочито завуалированных намеков, «крылатых певцов весны, гармонически льющих песню со всех сторон», и «алых цветов средь изумрудной листвы»... По каждой строке видно, что человек стал в позу, мечтательно закатил глаза — вернее, очи! — и запел неестественным оперным голосом. Словом, перед мисс Вильгельминой должен был предстать не Роберт Бернс с фермы Моссгил, а «поэтический мечтатель», нет, не просто мечтатель, а по-французски — rêveur!

К сожалению, мисс Вильгельмина была настолько шокирована предположением, будто ее кто-то посмеет обнимать в хижине, что не оценила ни тонких комплиментов, ни красивых описаний своей особы. Она не ответила на письмо. Но она и не разорвала его, как требовали ее братья, и в награду за это ее имя осталось в истории, и к чести ее потомков надо

* Неумеренные, преувеличенные (*фр.*).

сказать, что и письмо и стихи они сохранили с благоговением.

Но Роберт тогда не мог этого знать и очень обиделся. Рассказывая об этом случае, он написал: «В тот час, когда судьба поклялась, что карманы братьев мисс Вильгельмины будут полны, Природа столь же решительно постановила, что головы их будут пустыми. Да и вообще из свиного уха шелкового кошелька не сделать», — добавлял он.

Роберт не любил, чтобы его стихи оставались никому не известными. «Девушку из Беллохмайла» он вложил в письмо одной из знатных своих «покровительниц», а «Святошу Вилли» и «Эпитафию ему же», переписав в нескольких экземплярах, отослал приятелям вместе с «декретом»:

«ИМЕНЕМ ДЕВЯТИ МУЗ. АМИНЬ!

Мы, Роберт Бернс, милостью Природы и указом ее от января, двадцать пятого дня, лета господня тысяча семьсот пятьдесят девятого, Поэт Лауреат и Верховный Бард в пределах и за пределами старинных округов и поселений Койл, Каннингем и Кэррик, обращаемся к любимым верноподданным нашим Вильяму Чалмерсу и Джону Мак-Адаму, изучающим и практикующим древнюю и тайную науку смешения добра и зла.

Верноподданные!

Да будет вам известно, что в постоянном нашем попечительстве и заботе о поведении и благонравии всех, кто производит стихи и торгует ими оптом и в розницу, а именно: бардов, поэтов, стихоплетов, рифмачей, куплетистов, певцов, трубадуров и прочая и прочая, как женска, так и мужеска полу, — мы изволили обнаружить некую богопротивную, мерзкую и непотребную песню или балладу, список с коей прилагаем. А посему изъявляем волю нашу: задержите наипрезреннейшего представителя наипрезреннейшей породы, известной под именем, кличкой и прозванием «Черной чертовой скотинки» *, и, заставив оного развести костер на перекрестке эйрской дороги, передайте в беспощадные руки сего ничтожества вышеупомянутый список вышеупомянутой гнусной и богомерзкой песни, дабы ее пожрал огонь в присутствии всех, к сему причастных, для вящего назидания и устрашения составителей таких произведений. Да не оставите вы сие втуне, но выполните в точности, как изложено в этом нашем указе, не позднее двадцать четвертого числа сего месяца, в каковой день мы надеемся лично похвалить вас за верность и усердие.

Дано в Мохлине, двадцатого ноября, лета господня тысяча семьсот восемьдесят шестого.

БОЖЕ, ХРАНИ БАРДА!»

Рассказывают, что приятели Бернса, получив этот декрет, с удовольствием размножили крамольные стихи и развесили на колючих придорожных кустах.

* Так называли церковных старост.

Верховую лошадь обещал дать сосед. Остановиться в Эдинбурге можно было у Ричмонда — он написал, что хозяйка согласна за несколько лишних пенсов в неделю разрешить второму жильцу спать в комнате (на одной кровати с Ричмондом!) и умываться у нее на кухне. Там же можно утром брать два стакана горячей воды.

В деревянный сундучок, так и не попавший в порт Гринок, мать укладывала лучшие рубашки Роберта, несколько пар запасных чулок, новые высокие ботфорты с блестящими голенищами. Она положила щетки для платья и для сапог, кусок мыла, баночку хорошей помады для волос, теплые носки: там, на севере, должно быть, холодно.

Ноябрьский дождь хлестал по крыше. Разговаривать не хотелось — перед разлукой всегда кажется, что обо всем переговорено, а расстанешься — и столько найдется невысказанных слов...

Вдруг в дверь постучали. Мохлинский почтарь торопливо подал конверт маленькой сестренке Белл, открывшей двери, и побежал дальше.

Белл даже не посмотрела на адрес: кому из них

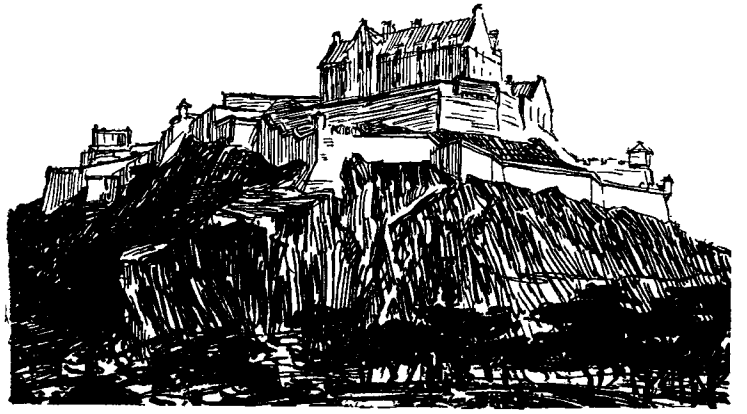
получать письма, как не Роберту. Он отошел к окну, прочел короткие строчки, скомкал письмо в кулаке и выбежал из дому, прямо под проливной дождь...

В письме сообщалось, что мисс Мэри Кэмбл такого-то числа сего года скончалась от гнилой горячки, — как тогда называли тиф, — в порту Гринок, где и погребена на Западном кладбище, на фамильном участке корабельного мастера Макферсона. А посему родственники усопшей мисс Кэмбл просят мистера Бернса не беспокоить их письмами, как беспокоил он покойницу, несмотря на то, что она ему не отвечала.

Далее сообщалось, что все письма мистера Бернса, равно как и вложенные в них стихи, уничтожены родными покойной.

(Только библии, подаренные Робертом, не были уничтожены пуританскими родичами. Кто-то из них, намусолив большой палец, попытался стереть имя Бернса, но чернила крепко въелись в толстую бумагу. А сжечь книгу им было жалко — все-таки библия, и переплет дорогой...)

27 ноября 1786 года, на чужой лошади, без единого знакомого в городе, — не считая старого дружка Ричмонда, — и без единого рекомендательного письма в кармане Роберт Бернс отправился в «северные Афины», столицу Шотландии, — прекрасный город Эдинбург.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

СТАРЫЙ ДЫМОКУР

1

Все кругом колыхалось, как в тумане: ленты, перья, еле прикрытые кружевами спины и плечи дам, их маленькие быстрые веера, любопытные глазки, удивленные улыбки. Мужчины—в модных невысоких паричках, с колбасками локонов по бокам, в темно-голубых, винно-красных, светло-зеленых камзолах и туфлях с драгоценными пряжками... Роберт мельком смотрит на свои ноги. У него самого пряжки тоже новые, серебряные — они с Ричмондом сегодня как следует начистили их мелом и уксусом. Вообще, черт побери, он одет неплохо: только вчера портной принес новый костюм — синий сюртук с песочного цвета отворотами, жилет в полоску и шейный платок из тончайшего голландского батиста. Он хотел было остаться в своих красивых высоких ботфортах, но тут воспротивился Ричмонд: на бал Каледонского охотничьего общества все-таки надо идти в туфлях: не то — будешь танцевать, отдавишь даме ноги!

А-а, вот она, божественная мисс Элиза Барнет. Рядом с ней ее отец — лорд Монбоддо, высокий, сухой, с выгнутым орлиным носом. Бернс уже дважды обедал в доме лорда Монбоддо, его сердце снова «воспламенилось, как трут», — на этот раз богиней

была мисс Элиза, хрупкая и серьезная девушка. Слушать игру этого ангела на арфе было чистейшим наслаждением. Не меньше удовольствия Роберту доставили беседы с ее отцом. Лорд Монбоддо был одним из тех ученых, которыми недаром славился Эдинбург. Если бы Бернс приехал на десять лет раньше, он застал бы еще в живых двух знаменитых людей: философа Юма и экономиста Смита. Но и сейчас в Эдинбурге живет доктор Блэр, о котором часто говорили, что для воспитания юношества достаточно библии и проповедей Блэра. В университете лекции по этике — она называется «моральной философией» — читает старый знакомый, тот самый профессор Дугальд Стюарт, который после встречи с Бернсом у себя в имении написал о нем столько лестных слов эдинбургским ученым. Недавно появилась его статья о стихах Бернса. Он по-прежнему покровительствует поэту. А на медицинском отделении преподает доктор Джон Грегори, уже совсем старик; Бернс недавно присутствовал при его споре с лордом Монбоддо: профессор с сердцем возражал лорду, утверждавшему, будто во многих странах дети рождаются с хвостами. Лорд Монбоддо был уверен, что поддерживает эволюционные теории самого доктора Грегори, отлично изложенные в его остроумной и изящной книге «Обзор Свойств и Способностей Человека по сравнению с таковыми же у Животных».

Ни доктора Грегори, ни профессора Стюарта на балу нет. Ученых, врачей, адвокатов обычно не приглашают в свет, если они не принадлежат к аристократии, как Генри Эрскин — декан коллегии адвокатов, красавец с женственным лицом, который сейчас разговаривает в углу со своим другом Джеймсом Бозвеллом.

Бернс давно слышал о Бозвелле — его имение было расположено неподалеку от Эйра, он и родился в одном приходе с Бернсом, и его отец был судьей Эйрширского округа. Бозвелл много путешествовал, и Бернс знал о его благородных выступлениях в защиту храбрых жителей итальянского острова Корсика, которые боролись за свою свободу. Бернсу очень хотелось познакомиться с Бозвеллом, и сейчас, разговаривая с мисс Элизой, он поглядывал в ту сторону, где стоял высокий, худощавый, быстроглазый Бозвелл в бледно-лиловом шелковом костюме. Но Бозвелл, пожалуй единственный из всех присутствующих, даже ни разу не взглянул на Бернса.

Бал был уже в разгаре, как вдруг все зашевелилось, зашумело, заволновалось: приехала герцогиня Гордон.

Джини, как ее, по старой памяти, звал весь знатный Эдинбург, была все еще на редкость хороша собой, хотя ей уже минуло тридцать семь лет и она вырастила троих детей. Без нее не обходилась ни одна охота, ни один бал, ни одна веселая затея. Она могла съесть невероятное количество свежих устриц, танцевать до утра, пить вино, не пьянея, и обыгрывать в карты самых завзятых игроков. Эдинбургский «свет» обожал ее, прощал ей все шалости, гордился тем, что и при дворе в Лондоне она была первой дамой, что сам король — мрачноватый, унылый и болезненный человек — оживал при ее появлении. Никто не умел так весело шутить, так открыто и приветливо улыбаться, никто так не радовался всякой новизне, как она.

Об эйрширском пахаре-поэте она уже была наслышана и от своего друга, лорда Гленкерна, который показал ей стихи Бернса, и от автора «Человека чувств» Генри Маккензи, написавшего статью о Бернсе. В статье говорилось, что, несмотря на «низкое происхождение и отсутствие настоящего образования», этот «богом наставленный пахарь из своей нищеты и невежества взирает на людей и нравы с необычной проницательностью и пониманием». Автор статьи очень хвалил «высокие чувства, силу, выразительность описаний» и все особенности этого своеобразного таланта и добавлял, что «упоминанием о низком происхождении поэта он вовсе не хочет подчеркнуть достоинства его стихов, которые безотносительно к его биографии трогают сердца и вызывают вполне заслуженное одобрение».

Герцогине Гордон стихи очень понравились. Особенно смеялась она над забавнейшим описанием «насекомого», забравшегося на шляпку нарядной дамы. Она запомнила последние строки:

Ах, если б у себя могли мы
Увидеть все, что ближним зримо,
Что видит взор идущих мимо
Со стороны, —
О, как мы стали бы терпимы
И как скромны!

Герцогиню ничуть не смущали шотландские слова в стихах Бернса: она выросла в имении своего отца, небогатого лэрда (так назывались мелкопоместные шотландские дворяне), и сама даже в Лондоне щеголяла простонародным говорком, не стесняясь своего шотландского происхождения в отличие от ее друга и соседа Джеймса Бозвелла. Тот даже писал приятелю, что «лишь любовь примиряет его с шотландским выговором, который в устах хорошенькой женщины звучит просто, приятно и мелодично».

О, этот неисправимый Бозвелл! Он и слушать не захотел, когда ему стали рассказывать про «чудо-пахаря». С насмешкой он заявил, что когда-то у его друзей был домашний учитель, который, написав длиннейшее и глупейшее поздравление в стихах, потом объяснял: «Я воображал, что весьма трудно писать стихи, но теперь после первой же пробы я обнаружил, что это весьма легко».

— Я спросил этого учителя — нашло ли на него нечто вроде внезапного вдохновения, и он сказал: «Да!» — добавил Бозвелл.

Герцогиня Гордон тогда же подумала, что ей непременно надо самой проверить, каков этот Бернс, и приказала устроителям ежегодного бала Каледонского охотничьего клуба пригласить «забавного» эйрширца. А слово ее было законом.

И вот он стоит перед ней, низко наклонив красивую темную голову. Оказывается, ненапудренные волосы гораздо изящнее, чем парик, особенно, когда они так естественно вьются. Герцогиня задает гостю какой-то пустячный вопрос, и он отвечает приятным

глуховатым голосом, с безукоризненным выговором, непринужденно и вместе с тем почтительно и очень кстати вставляет какое-то французское слово. «Вот так невежество!» — думает герцогиня и с ослепительной улыбкой, перед которой таяли короли и министры, подает руку «его поэтической светлости» — нищему эйрширскому фермеру, мечтающему о месте мелкого акцизного чиновника.

Всю ночь герцогиня танцевала с поэтом. Уже перешептывались дамы, возмущенно пожимал плечами Бозвелл, снисходительно улыбался лорд Гленкерн, земляк Бернса, радуясь за своего подопечного. Прощаясь, Бернс наклонился к руке герцогини и благоговейно поцеловал ее перчатку. Это была фамильярность. Герцогиня слегка приподняла бровь, но «пахарь» посмотрел на нее таким спокойным, ласковым и благодарным взглядом, что она, вспыхнув, опустила глаза.

— Ваш пахарь совсем вскружил мне голову! — громко сказала она лорду Гленкерну, когда он подсаживал ее в карету.

Эти слова побежали по толпе, словно электрический ток. И двери «большого света» столицы настежь распахнулись перед Робертом Бернсом.

Он вернулся домой на рассвете и, устало понурив голову, сел на край постели, где крепко спал Ричмонд. Ему вдруг стало страшно — как будто его из темноты вытащили под слепящий свет яркого фонаря. Эти три недели в Эдинбурге прошли в каком-то невероятном сумбуре. Сначала он никуда не ходил, никого не видел, только бродил по узким, как ущелья, проулкам среди высоких каменных домов, спускался по каменным ступеням длинной лестницы от Парламентской площади вниз, на шумную, мощенную камнем улицу. Камень, серый камень везде. Над городом вздымается громада каменного замка, каменные ограды вокруг церквей, каменные лица у прохожих. Он зашел в книжную лавку, которую пятьдесят лет назад открыл поэт Аллан Рамзей, выпустивший пер-

вый сборник шотландских песен. Говорят, уцелела его библиотека — там должно быть огромное собрание песен и старинных баллад. В старой лавке Рамзея теперь хозяйничает мистер Вильям Крич, бывший воспитатель лорда Гленкерна. Лорд Гленкерн собирается познакомить с ним Бернса: у Крича — лучшая типография в городе, и, если лорд Гленкерн уговорит весь Каледонский охотничий клуб поддержать подписку на новое издание стихов Бернса, Крич, вероятно, согласится их напечатать.

В один из первых дней Бернс побывал и на кладбище при канонгейтской церкви, где был похоронен Роберт Фергюссон. Он долго бродил меж серых надгробий, расспрашивал сторожей, но никто ему не мог указать могилу бедного его тезки, его брата по музам...

Роберт посмотрел на Ричмонда: тот крепко спал, его круглое лицо выражало полное удовлетворение. Добрый Ричмонд не только уступил другу половину своей постели, но и счастлив за него, рад каждой его удаче, как будто его самого недавно чествовали на балу Каледонского клуба.

Первое письмо из Эдинбурга получил Гэвин Гамильтон. Роберт отлично выполнил все его поручения, навел нужные справки в суде и в архивах. Дальше он писал о себе:

«Что же касается до моих личных дел, то я вскорости стану столь же знаменит, как Фома Кемпийский или Джон Бэньян, и, возможно, вы дождетесь, что мой день рождения будет отмечен среди знаменательных событий в «Календаре бедного Робина» и «Эбердинском календаре»... Милорд Гленкерн и декан адвокатской коллегии мистер Генри Эрскин взяли меня под свое крыло... По настоянию лорда Гленкерна Каледонский охотничий клуб принял постановление, чтобы все без исключения члены клуба подписались на мое второе издание. Завтра выйдут подписные листы, и я пришлю вам несколько экземпляров следующей почтой...»

И Гамильтону и другому своему покровителю — банкиру и мэру города Эйр — Джону Баллантайну Роберт послал подписные листы на второе издание и вырезки из газет.

«Меня представили множеству знатных людей, — пишет он Баллантайну, — но мои признанные покровители: герцогиня Гордон, леди Гленкерн и ее дети — лорд Гленкерн и леди Бетти, — затем декан коллегии адвокатов и сэр Джон Уайтфорд. Много у меня добрых друзей и среди ученого люда: профессор Стюарт, доктор Блэр и мистер Г. Маккензи — «Человек чувств». Неизвестная рука оставила десять гиней «для эйрширского барда» у книготорговца Сибболда, и я их получил. Вскоре я узнал, что мой щедрый незнакомец — Патрик Миллер, эсквайр, брат секретаря верховного суда, и вчера вечером, по его приглашению, я распил с ним бутылку кларета в его собственном доме. Я почти договорился с Кричем о печатании моей книги. Должно быть, с понедельника займусь ею...»

Весь декабрь и январь Бернс без передышки, говоря стереотипной фразой, «кружился в вихре светских развлечений». Он завтракал с литераторами у достопочтенного профессора Блэра, обедал с лордом Гленкерном у его друга адвоката Эрскина, танцевал на балах с первыми красавицами города. По-прежнему его дарил своей дружбой профессор Стюарт. По утрам, когда «большой свет» еще нежился в постелях, Бернс, встававший по-деревенски рано, заходил за Стюартом в его небольшую, тесно уставленную книгами квартиру, и они вдвоем отправлялись гулять. Они шли в гору, к серым стенам и круглым башням эдинбургского замка, и любовались старым городом в морозной утренней дымке, кривизной крутых тупиков, широким пролетом улицы Принца. Иногда они подымались на самый гребень горы, откуда была видна вся долина с поселками, старинными замками, небольшими деревушками. Над крышами уже вился ранний дым только что разведенных очагов, и Берно

особенно пристально вглядывался в эти синевато-белые облачка. Однажды он сказал Стюарту, что его сердце радуется этим дымам больше, чем величию замков, и что понять это может только тот, кто знает, какие отличные, достойные люди живут в этих незаметных хижинах. Часто, придя домой, Стюарт записывал свои беседы с Робертом, не переставая удивляться его метким суждениям, тончайшему юмору, беглости, точности и оригинальности его речи, его удивительному умению слушать собеседника, на лету схватывать его мысли и дополнять их неожиданными наблюдениями.

Профессору Стюарту хотелось, чтобы в Бернсе было меньше резкости, больше мягкого снисхождения к недостаткам других: из страха хоть отдаленно показаться приниженным или подобострастным поэт иногда становился слишком нетерпимым. Профессор деликатно намекал Роберту, что не стоило бы так неосторожно хвалить в присутствии доктора Блэра его младшего коллегу и соперника мистера Гринфельда и не надо было говорить про переводчика эпиграмм Марциала, знаменитого латиниста Эльфинстона, что его поэзия может только уподобиться его прозаическим заметкам, — и то и другое одинаково плохо.

Но даже строгий Стюарт смеялся, читая эпиграмму на этого же Эльфинстона:

О ты, кого поэзия изгнала,
Кто в нашей прозе места не нашел, —
Ты слышишь крик поэта Марциала:
«Разбой! Грабеж! Меня он перевел!»

13 января Стюарт присутствовал на торжественной ассамблее Великой шотландской ложи. На собрание явились члены всех многочисленных масонских лож Эдинбурга. Великий магистр торжественно провозгласил здравицу «За Каледонию и за Барда Каледонии, брата Бернса», и вся ассамблея подхватила этот возглас, сопровождая его приветственными восклицаниями.

Роберт, рассказывая об этом в одном из писем, добавлял: «Столь неожиданное признание меня словно громом ударило, и, весь дрожа, я ответил, как только мог достойно. Только я окончил речь, как один из высоких членов ложи сказал вслух, очень громко, чтобы я мог слышать, и притом самым приветливым голосом: «Хорошо, очень хорошо!», так что я снова пришел в себя».

Великий магистр масонской ложи — почтенный старый профессор Фергюссон по достоинству оценил выступление Бернса и через несколько дней устроил в его честь званый обед. Он пригласил своих ученых коллег — среди них профессора Стюарта и педантичного, скучноватого, но весьма добросовестного педагога Джошуа Уокера, который уже познакомился с Бернсом ранее, а также докторов Блэра и Блэклока. Со слепым доктором Блэклоком пришла молоденькая девушка, его добровольный секретарь — мисс Маргарет Чалмерс, которую все звали «наша Пэгги». Кареглазая, изящная Пэгги, с упрямым подбородком и певучим голоском, очень нравилась Бернсу. Он встречался с ней чаще всего в гостиной доктора Блэклока, которому она читала вслух или играла на клавикордах. Отец Пэгги, небогатый фермер, дал дочери отличное образование, не превратившее ее, однако, как других эдинбургских девиц, в светскую обезьянку. С ней Бернс чувствовал себя просто, непринужденно. Он написал для нее веселую песенку. К сожалению, те, кто отбирал стихи для сборника, решительно воспротивились напечатанию этих строк. А в них так хорошо говорилось о тонком личике Пэгги, о ее грациозной фигурке, о ее добром чистом сердце... Черт бы побрал холодные души критиков!

Но в этот вечер у профессора Фергюссона все критики были довольны своим «бардом»: он прочел новую оду — «Обращение к Эдинбургу», где этот город назывался не «Старым Дымокуром», как в других шутливых стихах, а по-старинному «Эдиной».

И вообще эти стихи были мало похожи на другие

стихи Бернса. Высокопарный, классический английский язык, традиционный образ одинокого поэта, ранее певшего «дикие цветы на берегу Эйра» и принятого с распростертыми объятиями сынами и веселыми, «как золото летнего неба», дочерьми «Эдины», — вся эта поэтическая бутафория пришлась по сердцу и доктору Блэклоку, и старому философу Фергюссону, и педантичному Уокеру.

Впоследствии Уокер описывал манеру Бернса читать стихи, на которую он обратил особое внимание.

«Он читал просто, медленно, отчетливо и выразительно, но без всякой искусственной декламации. Не всегда он выделял особо значительные места и не старался подчеркнуть свои чувства модуляциями голоса. Во время чтения он стоял лицом к окну и глаза его были устремлены туда, а не на слушателей».

Не только Джошуа Уокеру понравилось чтение Бернса. Его достойные манеры и весь его облик в тот вечер покорили юношу, которому суждено было стать через несколько лет гордостью мировой литературы.

Пусть об этом расскажет он сам, тогда пятнадцатилетний сын эдинбургского адвоката, а впоследствии великий романист Вальтер Скотт.

«Вы спрашиваете о Бернсе, — писал он своему биографу и биографу Бернса, Джону Гибсону Локхарту, — тут я могу искренне сказать: Virgilium vidi tantum *. Мне было всего пятнадцать лет в 1786—1787 году, когда он впервые появился в Эдинбурге, но я хорошо понимал и чувствовал, какой огромный интерес представляют его стихи, и готов был отдать все на свете, чтобы с ним познакомиться. Но у меня было слишком мало знакомых среди литературного люда и еще меньше — среди знати западных округов, то есть в тех двух кругах, где он больше всего вращался. Мистер Томас Грийр-

* Я видел Вергилия (*лат.*).

сон в то время служил клерком у моего отца. Он знал Бернса и обещал позвать его к себе домой отобедать, но не смог сдержать обещание, иначе я ближе познакомился бы с этим выдающимся человеком. Все же я его увидел у всеми уважаемого, ныне покойного, профессора Фергюссона, где собралось много известнейших литераторов и ученых... Разумеется, мы, молодежь, сидели молча, смотрели и слушали. Особенно меня тогда поразило в Бернсе то впечатление, которое на него произвела гравюра Бенбери, где был изображен мертвый солдат на снегу и рядом с ним — с одной стороны — его несчастный пес, с другой — его вдова с ребенком на руках. Под гравюрой были написаны строки, кончавшиеся так:

«Дитя несчастия, крещенное в слезах...»

На Бернса очень сильно подействовала эта картина, вернее — те мысли, которые были вызваны ею. У него на глазах заблестели слезы. Он спросил, чьи это стихи, и случайно никто, кроме меня, не вспомнил, что это строки из полузабытой поэмы Ленгхорна под малообещающим заглавием «Мировой судья». Я шепнул это одному из знакомых, и он тотчас передал мои слова Бернсу, наградившему меня взглядом и словами, которые хотя и выражали простую вежливость, но и тогда доставили мне чрезвычайную радость и теперь вспоминаются с удовольствием.

Человек он был крепкий, коренастый, держался просто, но без неуклюжести. Это достоинство и простота особенно выигрывали еще и потому, что все знали о его необыкновенном даровании. Портрет Нэсмита * передает его облик, но мне кажется, что он несколько измельчен, словно виден в перспективе. Думаю, что у него были гораздо более крупные черты лица, чем на портретах.

Если бы мне не было известно, кто он такой, я бы принял его за очень умного фермера старой шот-

* Нэсмит — художник, писавший портрет Бернса для сборника стихов.

ландской закваски, не из этих теперешних землевладельцев, которые держат батраков для тяжкого труда, а за настоящего «доброго хозяина», который сам ходит за плугом. Во всем его облике чувствовался большой ум и проницательность, и только глаза выдавали его поэтическую натуру и темперамент. Большие и темные, они горели (я говорю «горели» в самом буквальном смысле слова), когда он говорил о чем-нибудь с чувством или увлечением. Никогда в жизни я больше не видел таких глаз, хотя и встречался с самыми выдающимися из моих современников. Его речь была свободной и уверенной, но без малейшей самонадеянности. В обществе ученейших мужей своего времени и своего века он выражал свои мысли точно и определенно и вместе с тем без всякой назойливости и самоуверенности, а расходясь с кем-либо во мнениях, он, не колеблясь, защищал свои убеждения твердо, но притом сдержанно и скромно...»

«Он был просто, но хорошо одет, — пишет другой современник Бернса. — Платье его напоминало и праздничный наряд фермера и обычную одежду того общества, в котором он вращался. Его черные ненапудренные волосы были связаны сзади и волной падали на лоб. В общем если бы я его встретил в морском порту и меня попросили бы по его облику, выражению лица и платью угадать, кто он таков, то, по всей вероятности, я принял бы его за капитана какого-нибудь солидного торгового корабля».

Но были в Эдинбурге люди, которым Бернс не казался ни «добрым фермером», ни «солидным капитаном». Для них он прежде всего был поэтом, автором удивительных стихов — и тех, что они читали в его книге, и тех, что переписывались от руки и прятались в столах или пелись на знакомые всем мелодии.

И часто в обществе этих людей светский лев эдинбургских салонов, ученый гость профессорских

кабинетов, подопечный лорда Гленкерна и кавалер герцогини Гордон снова становился шальным Робом Моссгилом, одним из мохлинской «четверки бунтарей», который пил эль, читал ненапечатанные стихи, а иногда и пел песни, отнюдь не предназначенные для стыдливого слуха прекрасных дам.

2

В общество «крохалланов» — они так называли себя по старой песне, прославлявшей подвиги легендарных героев, — Бернса привели Вильям Смелли — типограф издателя Крича и Питер Хилл, служивший у того же Крича старшим клерком. Хилл и Смелли вместе с Бернсом готовили к печати эдинбургское издание стихов, вкладывая в это всю душу.

Редко что-нибудь связывает людей так прочно, как общая работа над книгой, особенно если они эту книгу полюбили. Для автора умный, иногда беспощадный, но справедливый редактор или издатель, внимательный, знающий корректор или оформитель становятся самыми близкими друзьями, которые так же напряженно ждут рождения его книги, как и он сам.

Бернсу очень повезло. Пожалуй, трудно было найти редактора более всесторонне образованного и вместе с тем добросовестного и до педантизма придирчивого, чем Вильям Смелли. Большой, лохматый, угрюмый, он, как писал о нем Бернс, был «человеком высочайшей одаренности, неисчерпаемых знаний и при этом обладал самым добрым сердцем и самым острым умом на свете». Автор «Философии естествознания» — книги весьма передовой по мировоззрению, Смелли, кроме того, написал множество статей по самым различным отраслям науки и техники для тогдашнего издания «Британской энциклопедии».

Помощником Смелли и близким его другом был наборщик и корректор Тайтлер — самый нечесаный, немытый, рассеянный и нелепый человек в Эдинбурге. И этот пьянчужка, который, по словам Бернса, «шатался по городу в дырявых башмаках, шляпе с «люками» и пряжками на штанах, столь же не похожими на пряжки, как наш король Георг на мудрого царя Соломона», — этот никому не известный ученый написал чуть ли не половину той же «Британской энциклопедии», сочинял сатирические стихи и имел неплохую коллекцию старых песен.

У Смелли был еще один друг — очень милый, застенчивый, полуграмотный гравер Джеймс Джонсон. Он до самозабвения любил музыку и вместе с органистом Кларком собирал старинные шотландские песни. Смелли познакомил Джонсона и Кларка с Бернсом, и эта встреча стала началом большой дружбы и интереснейшей совместной работы.

Джонсон не первый собирал старинные шотландские песни. В начале XVIII века эдинбургский типограф Уотсон издал свое «Отменное собрание шутливых и серьезных шотландских песен как древних, так и новых». Три тома этого собрания были как бы вызовом шотландца тем, кто старался слить Шотландию с Англией, навязать ей не только политическое устройство, но и английский язык и культуру. Уотсон в предисловии писал, что это первая попытка собрать лучшие стихи и песни «на нашем природном шотландском наречии». Составитель гордился своей страной и ее литературой. Он добросовестно изучил все, что было написано на шотландском языке, от великолепных «баллат» середины XVI века и еще более ранних народных песен до комических посланий и эпитафий. Из этих старых стихов всего известнее шутливая эпитафия начала XVII века тру-

бачу Габби Симпсону. Она написана тем самым шестистрочным стихом, которому потом подражали все шотландские поэты, — Рамзей прозвал этот размер «стандартный Габби». Так написаны лучшие поэмы Фергюссона и многие стихи Рамзея. Этот же размер полюбил Бернс, и «стандартный Габби» зазвучал у него совершенно по-новому — легко, без всякого напряжения, как будто поэт и в жизни разговаривает в таком ритме.

Вот строфы стихотворения «Насекомому, которое поэт увидел на шляпе нарядной дамы во время церковной службы»:

Куда ты, низкое созданье?
Как ты проникло в это зданье?
Ты водишься под грубой тканью,
А высший свет —
Тебе не место: пропитанья
Тебе здесь нет.

Средь шелка, бархата и газа
Ты не укроешься от глаза.
Несдобровать тебе, пролаза!
Беги туда,
Где холод, голод и зараза
Царят всегда...

А ежели тебе угодно
Бродить по шляпе
благородной, —
Тебе бы спрятаться, негодной,
В шелка, в цветы..
Но нет, на купол шляпки модной
Залезла ты!..

Не только «Отменное собрание» Уотсона, вышедшее в 1706—1711 годах, положило начало возрождению народных традиций Шотландии. Появились стихи на шотландском языке, написанные знатными леди и учеными мужами. Шотландские националисты — якобиты, — ущемленные в своей национальной гордости и мечтавшие о реставрации шотландских королей, начали писать послания и баллады на языке своего народа. Воскрешались старинные предания: Вильям Гамильтон переложил поэму менестреля XV века — Слепого Гарри — «Уоллес» на современный шотландский язык — ее-то и читал в детстве Роберт Бернс. Наперекор английским «узурпаторам» шотландцы воскрешали свою национальную культуру.

В тридцатых годах XVIII века работу Уотсона продолжил блестящий молодой литератор Аллан Рамзей. Шотландец родом, он провел детство в Англии и сам писал английские стихи, подражая своим английским современникам. Но потом он переехал в Эдинбург и стал одним из выдающихся литераторов Шотландии. Живой, общительный, разносторонний и способный человек, он страстно увлекся собиранием шотландской старины, открыл антикварный и книжный магазин, ставший своеобразным клубом, собрал вокруг себя молодых литераторов, художников и музыкантов — главным образом из «высшего» общества и вместе с ними начал издание «Альманаха для гостиной» (буквально «для чайного стола»). Первый из четырех томов вышел в 1724 году.

В предисловии Рамзей пишет, что он тщательно убрал из народных песен «всяческие непристойности и насмешки, дабы не оскорблять стыдливый слух прекрасных исполнительниц, так как основная цель всех моих изысканий — завоевать их благосклонность».

Рамзей написал в это же время «драматическую пастораль» под названием «Милый пастушок». За эту поэму он получил прозвище «Шотландского Горация». Тогда же Рамзей выпустил великолепную коллекцию ранней шотландской поэзии «Вечнозеленый венок», где собрал шотландские стихи до 1600 года. Читая предисловие к этим стихам, понимаешь, почему Бернс считал Рамзея, как и Фергюссона, своим учителем:

«Когда писали сии добрые старые Барды, мы еще не заимствовали ввозных украшений для нашей Одежды, — пишет Рамзей, — и не вышивали заграничным узором наши Творения. Стихи эти есть Плоды собственной нашей Земли, а отнюдь не завозной

продукт, подгнивший при перевозке из-за рубежа. Образы их Поэзии — отечественные, а картины Природы — домашние, списанные с тех Полей и Лугов, кои мы ежедневно наблюдать можем».

«В описаниях этих поэтов солнце встает, как ему свойственно, на Шотландском небе. Нас не уводят в Грецию или в Италию, под сень Лесов, к Потокам или Ветрам. Здесь Рощи растут в родных нам Долинах, Реки текут из наших истоков, а Бури бушуют над нашими Холмами. Говорю сие не в упрек Предметам, находящимся в Греции или в Италии, но в упрек Поэту Северному, привносящему из чужих краев Образы в те стихи, Местом действия коих Отчизна его является».

Но робкая Муза Рамзея шла по шотландской земле в городских башмачках и пела за чайным столом, в гостиных под аккомпанемент арф и спинетов. Под «умелыми руками» молодых джентльменов, помогавших Рамзею, богатые мелодии становились бесцветными подражаниями чужой музыке. Приглаженные и подчищенные, они только отдаленно напоминали песни, которые пел народ.

Недаром говорится, что песня — душа народа. Под песню работают и пляшут, встречаются и расстаются, в песнях оживает для каждого родной его край. Крутит ли поземка под копытами оленей на долгих дорогах севера, летит ли по синему морю белый парус, или тонкая рябина качается на ветру — обо всем рассказывает песня. И если велико счастье стихотворца, ставшего для своего народа учителем, помощником в его поисках и живописцем его жизни, то бесценен и песенный дар поэта, рождающий новую песню, вспоенную всем творчеством народа и к народу же возвращающуюся. Таким «песенником» в самом высоком смысле слова был Тарас Шевченко, таким стал для Шотландии Роберт Бернс.

В своих ранних дневниках, еще в Моссгиле, когда уже пелись многие песни Роберта, он писал о том, какой вред приносит народной песне не только салонная обработка мелодии, но и сладкие, сентиментальные слова, написанные на старинную музыку:

«Какой пошлой и бездушной становится песня, какой бесцветной и гладкой кажется музыка по сравнению с переливчатой, вольной, хватающей за душу старой мелодией!.. И я представил себе, что когда-нибудь, быть может, шотландский поэт с верным и взыскательным слухом сумел бы написать новые слова к самым любимым нашим напевам...»

Наверно, гравер Джеймс Джонсон никогда не мечтал встретить такого соратника, как Бернс. Он просто собирался сделать свой «Шотландский музыкальный музей» общедоступным сборником старых и новых песен, по возможности не исковерканных обработкой. Джонсон изобрел дешевый «массовый» способ печатания нот с глиняных матриц, и хотя оттиски выходили грязноватые, зато обходились они совсем недорого.

Теперь Джонсон часами сидел с Бернсом у органиста Кларка, и тот наигрывал им старинные мелодии. Часто к ним совсем не было слов, часто на чудесный напев распевались неумные, а иногда и вовсе непристойные куплеты. И хотя Бернс и его друзья любили хорошую соленую шутку и в своей компании не стеснялись петь весьма вольные песни, Бернс считал, что для сохранения хорошей мелодии нужны хорошие, всем доступные слова, органически связанные с напевом.

Когда-то добросовестный Мэрдок жаловался, что никак не может научить Роберта петь псалмы. Он не понимал, что безголосый мальчик обладает изумительным слухом и тончайшим музыкальным чутьем. Но ни отличный слух, ни музыкальность не сделали бы Роберта Бернса творцом такого количества превосходных песен, если бы он не сумел в каждой песне уловить чей-нибудь живой голос. Уже в «Веселых нищих» — великолепной кантате о любви и свободе — отдельные голоса звучали так, что сразу видишь того, кто поет. Вот хмельная

песня старого солдата, четкая, как бой барабана, как топот марширующих ног:

Я воспитан был в строю, а испытан я в бою,
Украшает грудь мою много ран.
Этот шрам получен в драке, а другой в лихой атаке
В ночь, когда гремел во мраке барабан.

Я учиться начал рано — у Абрамова кургана.
В этой битве пал мой капитан.
И учился я не в школе, а в широком ратном поле,
Где кололи мы врагов под барабан...

Одноногий и убогий, я ночую у дороги
В дождь и стужу, в бурю и туман.
Но при мне мой ранец, фляжка, а со мной моя милашка,
Как в те дни, когда я шел под барабан...

А вот песня удалого лудильщика — в ней беззаботность бродяги, и дорожная скука, и протяжный оклик под окнами домов, предупреждающий о приходе мастера на все руки:

Я, ваша честь,
Паяю жесть.
Лудильщик я и медник.
Хожу пешком
Из дома в дом.
На мне прожжен передник.

Я был в войсках.
С ружьем в руках
Стоял на карауле.
Теперь опять
Иду паять,
Чинить-паять
Кастрюли!..

И, наконец, заключительная песня кантаты «Веселые нищие». В ней голос самого поэта, свободный, звонкий, неудержимо-страстный. Он поет для всех:

В эту ночь сердца и кружки
До краев у нас полны.
Здесь, на дружеской пирушке,
Все пьяны и все равны!

И все — бродяги, веселые девчонки, странствующие музыканты и ремесленники — подхватывают бессмертный припев:

К черту тех, кого законы
От народа берегут.
Тюрьмы — трусам оборона,
Церкви — ханжеству приют...

Бернс написал сотни песен, и лучшие из них поют до сих пор. Они вернулись в народ, стали безыменными, разошлись по всему свету. И причиной тому величайший дар, которым обладал Бернс: уменье перевоплотиться в другого человека, заговорить от его имени, передать его чувства и мысли. Иногда не веришь, что песенку про мельника или про угольщика сочинили не влюбленные в них девчонки, а кто-то другой:

Мельник, пыльный мельник
Мелет нашу рожь.
Он истратил шиллинг,
Заработал грош.

Пыльный, пыльный он насквозь,
Пыльный он и белый.
Целоваться с ним пришлось —
Вся я поседела!.:

Вымазана углем лукавая мордашка, высоко подоткнута рваная юбчонка. Но ничего не надо подружке угольщика:

... — Хоть горы золота мне дай
И жемчуга отборного,
Но не уйду я — так и знай! —
От угольщика черного.

Мы днем развозим уголек.
Зато порой ночною
Я заберусь в свой уголок,
Мой угольщик — со мною...

Всегда правдиво, всегда точно и отчетливо Бернс умел рассказать о себе, о других и о том, что близко и дорого каждому.

Но лучшие его песни еще впереди, а пока что он отдал Джонсону любимые свои стихи, которые он придумал в день рождения близнецов, о том, как «растет камыш среди реки...».

И «крохалланы» часто пели хором песню своего нового друга:

Мне дай веселый вечерок
И крепкие объятья.
И тяжкий груз мирских тревог
Готов к чертям послать я...

Пел высоким красивым голосом молодой нотариус Александр Каннингем, пели оба учителя: Вильям Николь — басом, Вильям Крукшенк — звонким тенорком. Притопывая мягкими бархатными сапожками, пел чистенький, розовый органист Кларк, и густым хрипловатым голосом вторил лохматый Смелли, вспоминая, как пятнадцать лет назад за этим же столом пел свои песни другой поэт — двадцатидвухлетний Роберт Фергюссон.

...Да, актеры часто говорили ему: «Ферги, тебе надо идти на сцену». Пел он изумительно — голос высокий, чистый, ему бы учиться музыке. Но он уже тогда начинал болеть: какие-то припадки меланхолии, иногда весь вечер молчит, пьет без передышки, потом свалится, его унесут...

А что можно было сделать? Мальчик голодал, мальчик бросил университет, по двадцать часов в день переписывал юридические бумаги... Мать у него тоже была совсем больная, из-за нее он и пошел работать. Смелли издал его книжку, но они оба почти ничего за нее не получили...

Роберт Бернс и Смелли долго бродят по городу. Роберту не хочется возвращаться в каморку Ричмонда: завтра праздник, и у девиц наверху, наверно, идет пир горой. А сквозь потолок все слышно — и как они пляшут, и как поют, и как визжат... Лучше подождать, пока они угомонятся, да и жаль отпускать Смелли: его редко можно заставить так разговориться.

Нет, Смелли не знает, где похоронен Фергюссон: он умер в больнице, когда Смелли не было в городе. Кажется, на его похоронах был актер Вуд. На днях он вернется в Эдинбург, и Смелли непременно познакомит с ним Бернса.

В феврале бывают такие теплые, ветреные дни, когда на земле почти нет снега и только прошлогодний бурьян, почерневший и пожухлый, мотается как неприкаянный на забытых могилах.

Бернс долго смотрел на осевший холмик в самом дальнем углу кладбища, куда его привел Вильям Вуд — актер эдинбургского театра. Вуд помнил похороны бедного Боба — больничные дроги, казенный гроб. Он очень любил мальчика, как-то вышло, что он один и проводил его. Боб умер в октябре, ему только что исполнилось двадцать три года... Вуд не видел его перед смертью, да он никого и не узнавал. Конечно, это будет великим делом, если Бернсу разрешат увековечить память Фергюссона, — кому же это сделать, как не ему?

Вечером, тщательно очинив перо, Бернс пишет церковным старостам и казначеям кэннонгэйской церкви:

«Джентльмены, с грустью я узнал, что на вашем кладбище, в заброшенной и забытой могиле, покоятся останки Роберта Фергюссона — поэта, справедливо прославленного, чей талант в веках будет украшением Шотландии. Прошу вас, джентльмены, разрешить мне воздвигнуть простой надгробный камень над дорогим прахом, дабы сохранить нетленную память о бессмертной славе поэта».

Бернс перечитал письмо, надписал на пакете адрес.

Хорошо, если бы Ричмонд пришел сегодня пораньше. Роберту не хочется никуда идти — они пообедают дома и вместе прочтут корректуры: уже идет сто пятьдесят вторая страница книги. Смелли обещал, что к концу марта книга выйдет.

В дверь постучали, и вошел высокий, сухощавый человек в богатой ливрее. Он с поклоном подал конверт, стараясь не выдавать удивления при виде этого мужлана в деревенской шерстяной рубахе, с растрепанными черными космами. Но именно сюда велено было передать приглашение в дом молодой и балованной светской дамы.

Бернс впервые слышит ее фамилию. Не дав себе даже труда познакомиться с ним, она просто пишет, что сегодня ждет мистера Бернса к себе на вечер и надеется, что его приход развлечет гостей, созванных специально для встречи с ним.

В первую минуту мистеру Бернсу просто хочется швырнуть записку в голову лакею, который смотрит на него наглыми немигающими глазами. Но надо сдержаться: тут все-таки не Мохлин, а Эдинбург.

— Поблагодарите вашу хозяйку, — говорит Бернс ровным голосом, — и передайте, что я с удовольствием приду развлечь ее гостей с условием, что она пригласит также дрессированную свинью, которую показывают на площади Грассмаркет *.

Подымаясь по лестнице, Ричмонд с испугом сторонится лакея, который чуть не сбивает его с ног, бормоча что-то весьма нелестное по адресу «этого дикаря».

В восторге Ричмонд слушает рассказ Роберта. Завтра он сообщит об этом клеркам в коллегии адвокатов, и ответ Бернса бесцеремонной даме обойдет весь Эдинбург.

Вильям Крич — владелец лучшего книгоиздательства столицы — был человек своевольный, упрямый и расчетливый. Он взялся издавать стихи Бернса, потому что его об этом попросил лорд Гленкерн; да и все светское общество, с которым Крич очень считался, интересовалось «электрическим пахарем», как его прозвали дамы: в салонах

* Сенной рынок.

очень любили устраивать опыты с электрической машиной, из которой летели искры, совсем как из глаз Бернса!

Крич просмотрел стихи этого феномена. Он вообще относился к стихам весьма равнодушно — и решил посоветоваться со своими друзьями-литераторами. Они любили заходить к нему по утрам, и он, не церемонясь, при них отдавал себя в руки парикмахера или примерял новый камзол: он был необычайно франтоват и, несмотря на малый рост, держался весьма гордо.

Из нового издания по совету знатоков выбросили все, что могло показаться «неделикатным» утонченному читателю, все, в чем проявлялось недостаточно «рыцарское отношение к прекрасному полу». И уж, конечно, в книгу не попала «Молитва святоши Вилли» и «Эпитафия ему же».

Крич был очень доволен, когда Бернс по его просьбе написал «Обращение к Эдинбургу». Эти стихи ему понравились: слог гладкий, мысли возвышенные. Отдана дань тому, что Крич почитает больше всего: красиво сказано про «Богатства золотой поток, Торговли ревностной труды»...

Не это ли послание навело Крича на мысль купить у Бернса авторское право на все его стихи? Впрочем, Крич благоразумно решил выждать, посмотреть, как пойдет новое издание.

Много споров было у Крича с Вильямом Смелли, который требовал, чтобы включили «Оду шотландскому пудингу Хаггис». Ода вызвала настоящий восторг у «крохалланов», и ее уже знал весь Эдинбург. Крич поморщился, но потом согласился, что «Оду» можно напечатать. Даже он понимал, что она прибавит успеха книге: шотландцы любят, когда хвалят их национальные обычаи или блюда, а «хаггис» действительно вкусен.

И описан так, что слюнки текут:

В тебе я славлю командира
Всех пудингов горячих мира, —

Могучий Хаггис, полный жира
И требухи.
Строчу, пока мне служит лира,
Тебе стихи...

Дородный, плотный, крутобокий,
Ты высишься, как холм далекий,
А под тобой поднос широкий
Чуть не трещит.
Но как твои ласкают соки
Наш аппетит!

С полей вернувшись, землеробы,
Сойдясь вокруг твоей особы,
Тебя проворно режут, чтобы
Весь жар и пыл
Твоей дымящейся утробы
На миг не стыл.

Теперь доносится до слуха
Стук ложек, звякающих глухо.
Когда ж плотнее станет брюхо,
Чем барабан,
Старик, молясь, гудит, как муха,
От пищи пьян...

Крич медлил с приобретением авторского права еще и потому, что не был уверен, как долго интерес к Бернсу сохранится у его покровителей. Он все чаще замечал, как при имени Бернса многие переглядывались, пожимали плечами. Один из знакомых лорда Джеймса Гленкерна прямо заявил, что он удивляется, как милый Джеймс до сих пор не может раскусить своего подопечного. Он, друг лорда Джеймса, недавно присутствовал на званом завтраке и был свидетелем возмутительной сцены: Бернс осмелился грубо оборвать одного известного проповедника, пастора, весьма уважаемого всем приходом, и выругать его за то, что тот перепутал какие-то стишки.

При встрече с профессором Уокером, который был на этом же завтраке, Крич спросил, что случилось. Уокер объяснил Кричу, что такой случай действительно произошел и что Бернс вообще «лишен уменья сглаживать разногласия, как это свойственно людям утонченных нравов».

А на завтраке случилось вот что.

Накануне Бернс был у мастера-каменщика, где выбрал надгробную плиту из полированного камня для могилы Фергюссона. На плите должно было стоять имя поэта, даты его рождения и смерти и краткая эпитафия в стихах.

Бернс сам говорил, что он часто «заимствует огонь» у своих предшественников. С детства он любил «Размышления на сельском кладбище» Грея, особенно те заключительные строки, где говорилось, что, быть может, и сам поэт обретет вечный покой среди этих серых камней и «селянин с почтенной сединою» так расскажет о нем другому поэту:

Здесь пепел юноши безвременно сокрыли.
Что́—слава, счастие, не знал он в мире сем.
Но музы от него лица не отвратили,
И меланхолии печать была на нем.

Он кроток сердцем был, чувствителен душою,
Чувствительным творец награду положил.
Дарил несчастных он, чем только мог — слезою,
В награду от творца он друга получил *.

Таким же раздумчивым, плавным стихом Бернс написал эпитафию Фергюссону, словно продолжая рассказ Грея:

Ни урны, ни торжественного слова,
Ни статуи в его ограде нет.
Лишь голый камень говорит сурово:
— *Шотландия! Под камнем — твой поэт!*

Оттого ли, что в эти дни он чаще вспоминал Грея, или просто потому, что никто мало-мальски любящий стихи не может спокойно слушать, как коверкают любимые строчки, но Бернс с самого начала того злополучного завтрака еле сдерживался, слыша, как вышеупомянутый пастор, небрежно бросая парадокс за парадоксом, безапелляционным тоном заявил, что Грея нельзя считать поэтом, ибо он до

* Перевод В. А. Жуковского.

крайности неприлично соединяет церковные понятия с легкомысленным сюжетом, а именно, разговором о каких-то поэтах и их подружках. Бернс удивился, попросил процитировать те строки, которые вызвали возмущение пастора.

— Извольте! — сказал тот, — там сказано: «Он награжден творцом — подружку получил»!

— «...Он друга получил», — негромко поправил его Бернс.

— И почему — «меланхоличности печать...»

— «Меланхолии», — уже с сердцем сказал Бернс.

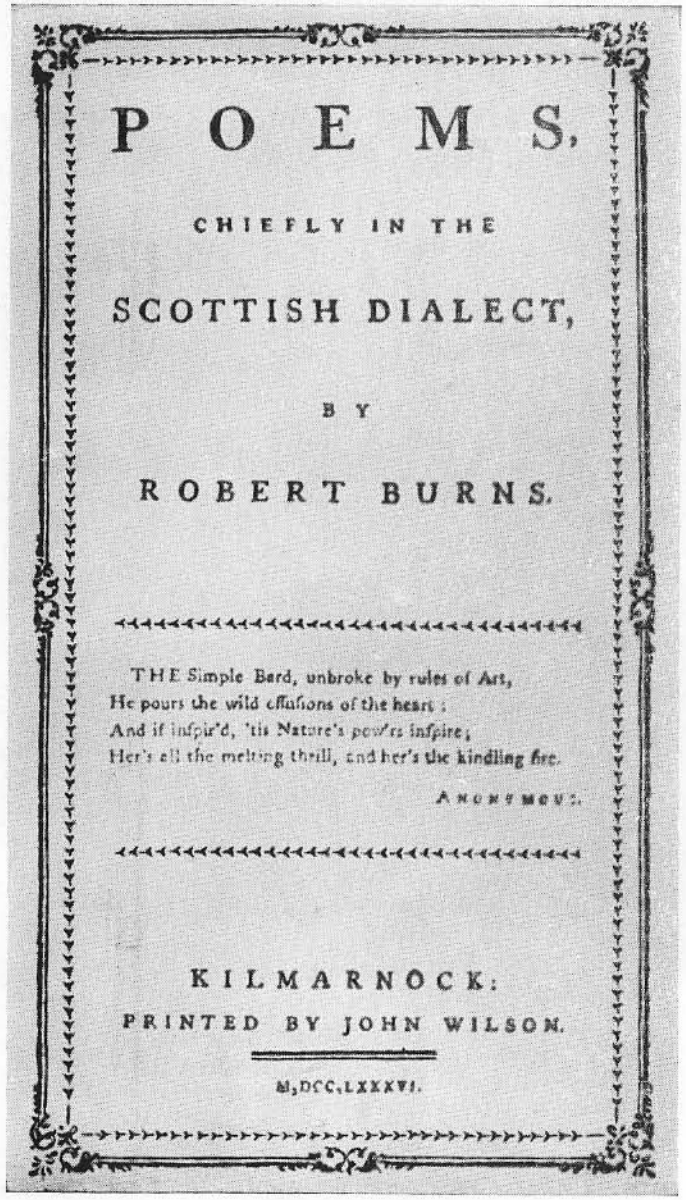
— Но согласитесь, что говорить о крестьянах: «их гений строгою нуждою умерщвлен» — по меньшей мере неуместно. О каком гении может идти речь, когда вопрос касается низших классов? Кроме того, тут цезура не на месте, и, наконец, в остальных строфах некоторые синекдохи и оксюмороны настолько неоправданны...

Но тут Бернс не выдержал.

— Сэр! — загремел он, вскочив с места. — Теперь я вижу, что можно быть отличным знатоком школьных правил стихосложения и при этом оставаться безмозглым тупицей!

Сынишка хозяйки, сидевший у нее на коленях, испуганно смотрел на странного гостя. Бернс перехватил взгляд ребенка, закусил губу и, наклонясь к мальчику, сказал с улыбкой:

— Прошу прощения, мой маленький друг!


POEMS,

CHIEFLY IN THE

SCOTTISH DIALECT,

BY

ROBERT BURNS.

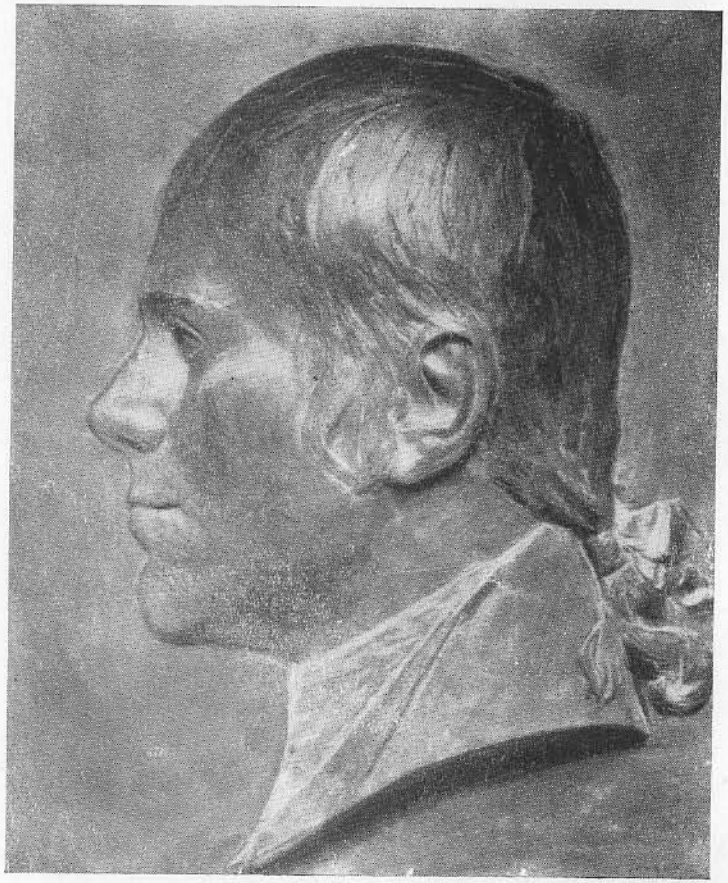
THE Simple Bard, unbroke by rules of Art,
He pours the wild effusions of the heart:
And if inspir'd, 'tis Nature's pow'rs inspire;
Her's all the melting thrill, and her's the kindling fire.

ANONYMOUS.

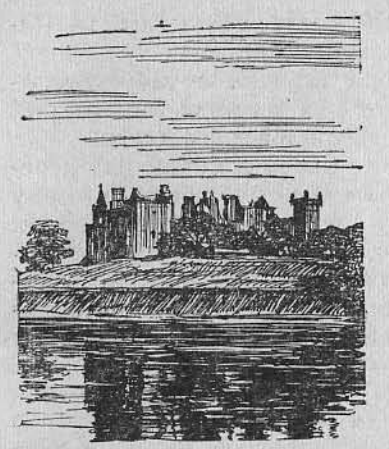
KILMARNOCK:
PRINTED BY JOHN WILSON.

M,DCC,LXXXVI.

Обложка «Кильмарнокского томика».



Роберт Бернс. (Скульптор Н. П. Гаврилов.)



3

Этой весной Роберт Бернс впервые не вышел в поле. С тех пор как он себя помнил, весна была для него сначала рыхлой огородной грядкой под детскими граблями, потом — тяжелой рукоятью плуга, холщовым мешком с семенами, заботливой бороной, мычанием телят в хлеву, солнцем, прогревающим потную спину.

А сейчас он с утра шел в типографию Смелли, где печаталась книга, и в ожидании, пока вынесут очередные гранки, нетерпеливо ходил по комнате, щелкая хлыстом по высоким сапогам. Шестнадцатилетний Александр Смелли, работавший у отца клерком, потом вспоминал, как вся типография оживала с приходом Бернса. У длинного стола, где он обычно правил гранки, стояла специальная табуретка — наборщики так и звали ее «Бернсово кресло». Однажды, когда Бернса не было, на нее уселся некий лорд Дальримпл, печатавший у Смелли какую-то статью. Бернс вошел, покосился на свою табуретку, но промолчал, так как его тут же попросили зайти в наборную.

— Придется вам пересесть, милорд, — сказал Смелли, — пришел хозяин этого места.

— Уступить место этому беззастенчивому глазастому малому? — удивился лорд Дальримпл.

— Этот беззастенчивый глазастый малый — Роберт Бернс, поэт, — отчеканил Смелли.

— Боже правый! — лорд вскочил с табуретки. — Да отдайте ему хоть все стулья в вашей типографии! Я сам подписался на три экземпляра его книги!

Сидя на этой табуретке, Бернс в сотый раз перечитывал свои стихи и в тысячный раз жалел, что ему не дали включить многое из того, что он считал своей удачей. Жаль было, что тридцать семь драгоценных страниц по настоянию Крича пришлось отдать для перечисления всех подписчиков — бессмысленный расход. Но книга была посвящена членам Каледонского охотничьего клуба, в предисловии говорилось, что именно им «скромный бард» обязан своей славой, и с этим надо было считаться.

К сожалению, приходилось считаться не только с этим: каждый, кто встречал Бернса, каждый, кто ему писал, непременно давал ему советы. Обычно Бернс старался почтительно и молча выслушивать собеседника и делать по-своему. Но он всегда настолько был уверен в себе, в своей внутренней правоте, что у него подчас не хватало терпения. Что понимали в его стихах люди, которые советовали ему «поменьше пользоваться шотландским диалектом», говорили, что «его политические взгляды пахнут кузницей», или указывали, что необходимо смягчить «нескромный пыл» его песен. Даже такой умный, тонкий критик, как доктор Мур, с которым Бернс много и охотно переписывался, пытался поучать его:

«Вполне ясно, что вы уже владеете структурой английского языка и богатым, разнообразным запасом выражений. Поэтому в будущем вам надо менее пользоваться провинциальным диалектом. К чему, употребляя оный, ограничивать число ваших почитателей только теми, кто понимает по-шотландски, ежели вы можете включить сюда всех лиц с изысканным вкусом, понимающих по-английски? По моему разумению, вам следовало бы начертать мысленно план более обширного произведения, чем те, за какие вы брались до сих пор. Я хочу сказать, что вам надобно подумать над какой-либо достойной темой, не приступая к выполнению, прежде чем вы не изучите лучших английских поэтов и не приобретете более глубоких познаний в истории. Греческие и римские повествования вы сумеете прочесть в каком-нибудь пересказе, и вскорости вы сможете ознакомиться с самыми блистательными фактами, которые должны в высшей степени восхищать поэтическую душу. Вы также непременно должны и, конечно, сможете овладеть языческой мифологией, на которую постоянно ссылаются все поэты и которая сама по себе полна очаровательных вымыслов... Я очень хорошо знаю, что вы обладаете умом, способным к восприятию знаний более кратким, против обыкновения, путем, и я убежден, что, достигнув этих знаний, вы сумеете сделать из них гораздо лучшее употребление, чем то обычно бывает».

«Вашу критику я выслушиваю с уважением, — отвечал ему Бернс, — но, к моему великому сожалению, она запоздала: некоторые погрешности в стихах я, несомненно, убрал бы, но книга уже пошла в печать... Надежда быть предметом восхищения в веках даже для многих известных писателей оказалась несбыточной мечтой. Я же с самого начала стремился, да и поныне желаю нравиться более всего моим собратьям — обитателям сельских хижин, пока изменчивость языка и нравов не помешает мне быть понятым и любимым ими. Охотно признаю, что у меня есть некоторые поэтические способности, и так как мало кто из писателей — авторов философских и поэтических трудов — близко знаком с тем кругом людей, с которым я всегда был тесно связан, то, возможно, что именно мне довелось видеть людей и нравы в другом свете, чем их обычно видят, а это всегда вызывает своеобразные мысли, не похожие на другие...»

Можно ли было деликатнее объяснить ученому доктору, что ты хочешь писать не для людей «с изысканным вкусом», понимающих по-английски, и не про «очаровательные вымыслы» мифологии, а для тех и про тех, кто живет с тобой одной жизнью, говорит на твоем языке?

Трудно описать душевное состояние человека, который отлично знает себе цену, верит в себя как в поэта, твердо знает, чего он хочет, и все же должен непрестанно выслушивать нравоучения и советы от людей, которым нельзя противоречить.

Иногда Бернс не выдерживал. Получив письмо от миссис Дэнлоп, в котором она упрекала его за «непочтительное отношение к королю» в стихах «Сон» и за то, что он пренебрегает ее «добрыми советами», он рассердился всерьез. Если доктор Мур, автор ученых трудов, вмешивается в его дела, не зная его и расходясь с ним во взглядах на искусство, то миссис Дэнлоп могла бы понять его: он так много и так часто ей пишет, так откровенно рассказывает о себе. И на этот раз он говорит с ней прямо, без обиняков:

«Вашу критику, сударыня, я принимаю, но хотел бы подвергаться ей пореже. Вы правы, говоря, что я не очень склонен следовать советам. Более достойные поэты, чем я, столько льстили тем, кто обладает завидными преимуществами — властью и богатством, — что я-то твердо решил никогда не льстить ни одному живому существу ни в стихах, ни в прозе. Клянусь всевышним, никогда, ни перед кем не стану я пресмыкаться. Мне так же мало дела до королей, лордов, попов, критиков и прочих, как всем этим уважаемым особам до моей поэтической светлости. Знаю, что ждет меня с их стороны в будущем — пошлые оскорбления, а быть может, и презрительное забвение...

Счастлив, сударыня, что некоторые любимые мои стихи вы отметили своим особым одобрением. Что же касается моего «Сна», вызвавшего ваше лояльное неудовольствие, то я льщу себя надеждой, что через месяц или раньше я буду иметь честь явиться к вам, в Дэнлоп, и лично выступить в защиту его...»

Нет, он не отступится, он докажет миссис Дэнлоп, что он прав, разговаривая с королем запросто и подавая ему советы:

Законодателя страны
Я не хочу бесславить,

Сказав, что вы не так умны,
Чтоб наш народ возглавить.
Но вы изволили чины
И званья предоставить
Шутам, что хлев мести должны,
А не страною править
В столь трудный день...

Подозревать я не могу
Ни в чем Вильяма Питта,
С баранов шерсть я сам стригу,
Он нас стрижет сердито.
Я знаю, вы кругом в долгу.
Расходы непокрыты,
Но черт возьми! Пусть сберегут
Хоть флот наш знаменитый,
В столь грозный день...

Многому научило Бернса пребывание в Эдинбурге. Главное, он воочию увидел тех, от кого зависели судьбы государства, судьбы народа. Вся власть в Шотландии фактически принадлежала ее «некоронованному королю», члену парламента Генри Дандасу, человеку ограниченному, деспотичному, презиравшему все шотландское.

Не лучше его оказались и те, кто представлял в Эдинбурге правосудие: вечно пьяный лорд Браксфильд и председатель суда лорд Кэймс, — мы еще встретимся с ними позже. Друзья, побывавшие в Лондоне, рассказывали о положении дел в парламенте, прогрессивная газета «Стар» откровенно писала о возмутительных налогах, о нелепых требованиях парламента распустить хотя бы частично флот, чтобы пополнить казну, истощенную войной с американскими колонистами: вот уже три года, как они отделились от Англии и создали собственное государство.

Бернс близко присмотрелся и ко всем эдинбургским знаменитостям. Он был им благодарен за то, что они проявили к нему столько дружеского внимания и доброты, но это не могло затемнить для него их истинную сущность. Об этом ни с кем не хотелось говорить, да и писать друзьям не стоило. Можно было только записывать эти мысли в дневник:

«Нет такой злой обиды под солнцем, которая до-

саждала бы мне больше и больнее, чем когда я сравниваю, как принимают человека талантливого, нет, более того — всеми признанного и какой прием оказывают самому заурядному существу, разукрашенному пустыми побрякушками — богатством и знатностью. Я представляю себе человека даровитого, в чьей груди горит честная гордость и сознание, что все люди рождены равными, хотя он и отдает должное тем, кто заслужил уважение. Он встречается за столом у одного из великих мира сего с каким-нибудь сквайром или сэром. Зная, что благородный хозяин в душе, быть может, отдает поэту свои лучшие чувства и предпочитает его всем остальным сотрапезникам, ему тем обиднее видеть, как дарят вниманием ничтожество, в ком способностей не хватит даже на то, чтобы стать грошовым портняжкой, а сердца нет ни на грош, и как обходят сына гения и нищеты».

«Благородный Гленкерн ранил меня недавно до глубины души, потому что я его уважаю, почитаю и очень люблю. Он проявил столько внимания — подчеркнутого внимания — к единственному дураку за столом (вся компания состояла из его светлости, этого болвана и меня), что я чуть не бросил им в лицо презрительный вызов. Но потом милорд так крепко пожал мне руку, так ласково посмотрел на меня при прощании — благослови его бог! Если мне больше никогда не суждено будет с ним встретиться, я буду любить его до самой смерти! Мне приятно думать, что я способен хотя бы испытывать благодарность, если я и начисто лишен многих других добродетелей».

«С доктором Блэром я чувствую себя проще... ...Нелегко составить себе точное представление о таком человеке, но, по моему мнению, доктор Блэр — удивительный пример того, что может сделать трудолюбие и прилежание...»

Дневник остался незаконченным: в нем записано несколько отрывочных характеристик и наблюдений, которые говорят о том, насколько трудно было обмануть Роберта Бернса внешним лоском и показной ученостью. Все больше ценил он своих «крохаллановв» — Смелли, Тайтлера и Питера Хилла, все больше времени проводил с Джонсоном и Кларком за песнями. Как когда-то, на первых уроках танцев, ритм музыки захватывал его, и, овладев мелодией, он вплетал в нее слова, словно родившиеся вместе с ней.

4

21 апреля 1787 года вышло эдинбургское издание поэм Бернса. Крич сразу успокоился: полторы тысячи экземпляров разошлись по подписке, остальные пятьсот были распроданы в два дня.

23 апреля Крич пригласил Бернса к себе в контору и подписал с ним договор: авторское право на все произведения Бернса переходило к Кричу за сто гиней.

Сто гиней — огромные деньги. Да еще четыреста фунтов получено от издания книги. Впервые Роберт почувствовал себя богатым человеком. Правда, Крич дал ему только триста фунтов, но и таких денег он никогда не держал в руках.

Надо было решать, что с ними делать.

Половину он тотчас же отослал Гильберту в Моссгил — семье приходилось очень трудно.

Часть он отложил на будущее — неизвестно, когда Крич выплатит основную сумму: деловитый издатель уехал путешествовать по Европе, благо он теперь спокойно мог собирать проценты с многочисленных перепечаток стихов Бернса, выходивших в Лондоне, Бельфасте, Глазго.

Крич был доволен: он вовремя купил все права

на эти стихи, хотя сам он, откровенно говоря, по-прежнему ничего хорошего в них не видел.

А поэт, автор этих стихов, выделил небольшую сумму из своих денег, чтобы тоже поехать в путешествие. Конечно, он даже не мечтал доехать до Лондона или объехать всю Шотландию. Купив недорого хорошую кобылку, он решил посетить хотя бы юг Шотландии, посмотреть, как живут в пограничных графствах, и, по приглашению некоторых своих читателей, побывать у них в гостях.

Спутником Бернса в этой первой его поездке по Шотландии был двадцатидвухлетний Боб Эйнсли — помощник адвоката, самый веселый и беспечный из компании «крохалланов».

Может быть, впервые за все двадцать восемь лет своей жизни Роберт Бернс был так беззаботен и счастлив, как в начале мая 1787 года, когда он неторопливо ехал по зеленым холмам Шотландии. Он старался не думать ни о чем, хотя решил в конце поездки непременно посмотреть ферму, которую ему предложил арендовать богатый помещик Патрик Миллер, близ города Дамфриза.

А пока что он хотел объехать все места, где «на каждом поле гремела битва, а у каждого ручья складывалась песня».

В небольшой тетрадке он кратко записывал впечатления от поездки:

«6 мая. Ламмермьюрские холмы, жалкие и унылые, но подчас весьма живописные.

7 мая. Обедал с мистером Ферменом. Побил м-ра Ф. в диспуте о Вольтере.

8 мая. Прекрасный мост через р. Твид (пограничная с Англией река). И очаровательные пейзажи с обеих сторон — особенно со стороны Шотландии.

9 мая. Завтрак в Джедбурге. Обедал с капитаном Резерфордом... Он выказал особое уважение к моей

поэтической светлости... Мое имя некоторым образом прошумело по стране...»

Встречи, обеды, завтраки, тосты... Джедбург — старинный город — преподносит «Барду Каледонии» титул почетного гражданина. Сестра лорда Гленкерна, леди Гарриет, просит Бернса прислать ей копии своих ненапечатанных стихов. Жена мэра города Фэйла спрашивает суждения Бернса о своих акварелях — он записывает в дневнике: «Миссис Ф. талантливая художница, много способней моего друга леди У. и без ее неограниченного самомнения».

Вместе с Эйнсли Бернс гостит у его родных: «Прелестная мисс Эйнсли! Как она отлично воспитана, какая искренность, простота и доброта. Силы небесные, знающие слабость людских сердец! Будьте мне защитой! Вижу столько счастья и всегда вспоминаю, что оно не для меня...»

Но среди пустячных заметок есть и характерные для Бернса записи. В Бервикшире, где земля и климат благоприятствуют земледелию, Бернс был поражен богатством и независимым образом жизни местных фермеров.

«Приглашен в клуб фермеров в Келсо. Настоящие джентльмены беседуют о высоких материях. У каждого из них собственная верховая лошадь для охоты, ценой от тридцати до пятидесяти фунтов. Ездят травить лису с охотничьим клубом графства».

И в другой записи: «Чем утонченнее и роскошнее живут фермеры, тем грубее и невежественней тут крестьяне... Мне кажется, что человеку с возвышенным вкусом — «человеку чувств», будут больше по душе бедные, но умные и толковые эйрширские крестьяне, чем здешние фермеры и их богатые клубы, при полном варварстве их батраков и соседей-крестьян».

Мимо старинного величия разрушенных замков, мимо руин аббатств, разбитых протестантами во времена реформации, трусит «славная кобылка» Бернса — Дженни Гедс. Характер у нее крутой — она и названа так в честь старухи протестантки, которая сто тридцать лет назад, в разгар борьбы с католи-

ками, швырнула в епископа Эдинбургского скамеечкой за то, что он попытался отслужить «папистскую обедню». Бернс написал про Дженни своему новому другу, учителю латыни Вильяму Николю — умнице, грубияну и добряку, с которым он особенно близко сошелся после выхода книги. С Николем Бернса не раз столкнет судьба, в честь Николя будет назван один из сыновей поэта и написана одна из лучших песен. Николь сохранил каждую строчку Бернса, в том числе и письмо с дороги, которое написано на великолепном народном языке, трудно поддающемся переводу. Про кобылку Дженни Гедс сказано, что она «шла вприпрыжку и вприскачку, по долинам и холмам, до того ядреная да быстрая, что ей и сам черт не брат. Правда, бедна она, как сочинитель песен, и сердита, как церковный совет, и, пока ее не расшевелишь, топчется на месте, как служанка знатной леди на танцах или курица на горячей жаровне, но все ж такую бодрую бабенку поискать! А жрет она, как та кобыла, что могла переварить даже колеса, ей нипочем одним махом слопать за мой счет пять мер самого лучшего овса — и хоть бы что!».

Кажется, что видишь Роберта таким, каким он был в эту поездку, — помолодевшим, задорным, озорным. Эйнсли так и смотрел ему в рот, за обедами и завтраками стоял неумолчный смех, девушки замирали и таяли от его взгляда.

Вскоре Эйнсли уехал — его двухнедельный отпуск кончился, и дальше Бернса сопровождал какой-то скучнейший человек.

Все ближе подходил день, когда надо было возвращаться в Мохлин, все чаще приходили неотвязные мысли о судьбе его семьи. Под конец поездки сказалось и «свирепое гостеприимство» поклонников: Бернс плохо переносил неумеренные возлияния, и по ночам его мучили припадки тоски, бессонница, необъяснимые страхи, так хорошо знакомые всем людям с больным сердцем.

Однажды ночью ему стало так плохо, что слуга в таверне просидел до утра у его постели.

В двадцать восемь лет, при необычайной физиче-

ской силе и выносливости, Бернс страдал тем недугом, который омрачил последние годы его жизни, — застарелым ревматизмом и ревматическим эндокардитом. Сказался тяжкий труд, вечное недоедание и недосыпание. Сказался пылкий, неукротимый нрав, безудержная жажда жизни, мятежная душа, неумение беречь себя, свои силы...

В мрачном настроении Бернс поехал смотреть фермы, которые ему предлагал в аренду Патрик Миллер. Их было три. Самой живописной Бернсу показалась ферма Эллисленд, на крутом берегу реки Нит, поросшем густым лесом, и всего в шести с половиной милях от оживленного города Дамфриза, где Бернсу только что преподнесли звание почетного гражданина. Управляющий Миллера, который показывал фермы, сказал, что аренда невысокая — всего пятьдесят фунтов в год, но что он должен предупредить Бернса: жилого дома на ферме, собственно говоря, нет, службы нуждаются в капитальном ремонте, земля — в удобрении.

Бернс обещал подумать, посоветоваться с кем-нибудь из опытных фермеров. В глубине души он все еще на что-то надеялся — может быть, удастся получить место в акцизе?..

Да и нельзя брать ферму, пока не получены все деньги от Крича.

Прежде всего надо вернуться домой, посоветоваться с Гильбертом, узнать, как дела в Моссгиле, как дети.

И как Джин...

5

8 июня 1787 года Роберт Бернс приехал в Мохлин. Он оставил свой сундучок у трактирщика, попросил приготовить комнату, позаботиться о верной кобылке, а сам, захватив свертки, где лежали подарки для семьи, зашагал в Моссгил по знакомой тропке, меж кустами орешника и терна, где на все голоса пели знакомые птицы. Он уже не шел, а бежал, дыша прерывисто и часто, и ему казалось, что нигде — ни на зеленых лугах южных графств, ни у горных водопадов — не пахло так упоительно и нежно, как пахла в это июньское утро суховатая холмистая земля родного западного края.

А вечером, когда Роберт, устав от долгого дня, полного встреч, разговоров и расспросов, после радостного свидания с родными, — как счастливы были мать и сестры, как улыбался молчаливый Гильберт, какие краснощекие, загорелые мордочки были у ребят! — после веселого ужина с друзьями и бесконечных тостов, наконец, остался один в своей комнате и уже собирался лечь спать, дверь тихонько отворилась. И по бешеным гулким ударам сердца, отдававшимся болью в висках, по свинцовой тяжести во всем теле, словно онемевшем от страха, Роберт по-

чувствовал, что он ждал этого весь вечер, что ему никуда не уйти от своей судьбы, от Джин.

А она подошла, села рядом и, без слов обхватив его шею рукой, крепко прижала к себе.

Под утро, сквозь тяжелый, душный сон, он услышал, как Джин встает. Он испуганно открыл глаза — что теперь будет, как она вернется домой? Но Джин спокойно сказала, что мать сама дала ей ключ, и, поцеловав Роберта, ушла.

Значит, теперь, когда он стал знаменитым, богатым, Арморы сменили гнев на милость! Значит, теперь эта ведьма, ее мать, сама подослала к нему дочку! То-то же ему показалось, что вчера, когда он издали на улице поклонился старухе, та угодливо и подобострастно улыбнулась.

Нет, не бывать этому! Теперь он ни за что не придет к ним вновь просить руки Джин, ни за что не даст ей свое имя!

Конечно, он ее любит, любит, но простить не может.

Он ни дня не останется в Мохлине, он сейчас же уедет! Будь они прокляты, эти рабские душонки!

Десять дней ездил Роберт по горной Шотландии. Он выехал из Глазго, проехал по северным озерам, по местам, прославленным в песнях. Настроение у него было тяжелое. Ему изменяет даже его обычная любовь к людям, он пишет об этом Николю: «Никогда, друг мой, я не считал род человеческий излишне склонным к благородству, но чванство эдинбургских патрициев и угодничество моих братьев-плебеев, которые раньше, до того, как я вернулся домой, смотрели на меня искоса, меня почти что отвратило от всей нашей породы. Я купил карманное издание Мильтона и постоянно ношу его с собой, изучая чувства этой великой личности — Сатаны: непоколебимое великодушие, бесстрашную, непокорную гордость, отчаянную смелость и благородное пренебрежение к трудностям. Правда, сейчас у меня есть немного денег, но я боюсь, что проклятая звезда, которая до сих

пор прямо на мою голову слала свои зловещие лучи, испепеляющие все благие намерения, эта вредная планета, столь неблагоприятная для рифмующей братии, — боюсь, что она еще не закатилась на моем горизонте!!!»

В это лето он почти совсем не писал стихов. Правда, когда умер один из крупных шотландских деятелей — сэр Джеймс Хентер Блэр, эдинбургские друзья попросили Роберта написать элегию на его смерть. Отказаться было бы невежливо. Бернс написал на классическом английском языке одиннадцать пышных четверостиший. В них завывает буря, бледный месяц выходит из-за крылатых облаков и перед испуганным взором даже носятся метеоры. И тут, среди скал, поэт видит величественную фигуру в траурных одеждах, которая «в отчаяньи себя колотит в грудь и стонет бешеному вою бури в лад». Эта «величавая», в другой строфе «царственная» фигура — Каледония, оплакивающая своего сына, «безвременно почившего во гробе».

Легко понять, что элегия на смерть незнакомого и, вероятно, не очень приятного Бернсу сановника написана через силу, не по велению сердца. Стоит только сравнить образ «царственной», величественной Каледонии, окруженной всей романтической бутафорией, с образом той же Каледонии, или попросту Шотландии, из знаменитого шуточного послания «Серьезнейшая просьба и мольба автора этих строк к шотландским представителям в палате общин», в котором поэт просит, чтобы сняли налоги с шотландского виски. Как великолепен портрет Музы, сидящей «голым задом в придорожной пыли» и «выкрикивающей голосом, охрипшим от жажды, прозаические стихи». Как живописна «бедная старая мать поэта — Шотландия», которая плачет горькими слезами над «пустым, как свисток, кувшином», а за ее спиной негодяй-контрабандист и толстомордый самогонщик вытаскивают у нее из кармана последний грош! «Неужто у каждого, кто носит имя шотландца, не закипит кровь, когда у его несчастной старухи матери отнимают все? Неужто и вы, ваши светлости,

благослови вас боже, можете спокойно видеть, как наша добрая, веселая старушка плачет — и не встанете на ее защиту?..»

И тут вдруг Бернс под видом шутки так описывает гнев старухи Шотландии, что удивляешься, как эта сатира была напечатана в эдинбургском издании!

«Лучше не доводить ее до отчаяния, — говорит поэт, — не то она подоткнет свою клетчатую юбку, помчится по улицам с кинжалом и пистолетом за поясом и до самой рукоятки вонзит нож в первого же врага! Ради бога, сэры, поговорите с ней поласковее, погладьте ее по голове и скорее бегите в палату — уговаривать правительство! Если ей хоть в этом пойдут навстречу, она уж защитит своих друзей — у нее такой острый язык и такая тяжелая палка, что, хоть грози ей виселицей, она от своего не отступится».

Эту сатиру в эдинбургском издании напечатали с послесловием поэта, где сказано несколько патриотических слов о шотландце, которому достаточно дать кружку доброго виски, и он пойдет убивать врагов короля Георга. Но портрет старой свободолюбивой Шотландии, верной до конца друзьям, потом не раз появлялся в более откровенных и более крамольных стихах Бернса.

Элегию на смерть Блэра напечатали и в лондонской и в эдинбургской газетах, перепечатали в Глазго и Эбердине, но славы она поэту не принесла.

И денег тоже: газеты печатали такие стихи только бесплатно.

В июле этого бурного 1787 года Бернс снова вернулся в Моссгил.

Почти все время он хворал, был раздражен, капризен. Мать и сестры ухаживали за ним, и он был им благодарен за то, что они ни о чем не расспрашивали. Он почти не виделся с Джин, старался не встречаться с ней наедине, но иногда, оставшись ночевать в Мохлине, не выдержав, свистел под ее окном — и снова их бросала друг к другу непреодолимая сила.

Надо было как можно скорее уезжать, окончательно рассчитаться с Кричем, решить свою судьбу.

Без конца Роберт перечитывал Мильтона, учась у Сатаны «непокорной гордости» и «благородному пренебрежению к трудностям». Без конца перебирал в мыслях все, что с ним случилось за эти восемь месяцев, — поездка в Эдинбург, головокружительный успех, новые люди, новое издание книги, путешествия, слава, блистательное возвращение домой — и мучительные, сложные отношения с Джин. Никак не заживала обида, и никак не проходила любовь...

В эти дни, словно остановившись «посреди жизненного пути», как писал Данте, Бернс рассказал доктору Муру всю свою предыдущую жизнь.

Замкнулся круг. Он снова в Моссгиле, в старой комнате, под той же соломенной стрехой, где по ночам возятся крысы. Он знал, что так будет. Еще из Эдинбурга он писал доктору Лоури, которому он был обязан этой поездкой: «Новизна всегда на время привлекает внимание людей, ей я и обязан моим теперешним éclat *. Но я предвижу то недалекое будущее, когда волна всеобщего признания, поднявшая меня на вершины, коих я, может быть, и недостоин, внезапно и молча отхлынет, оставив меня на пустынном песке, по которому я снова медленно сойду в прежнее свое состояние. Говорю об этом не из ложной скромности, а просто вижу неизбежные следствия и готов к ним. Я приложил огромные усилия, чтобы перед приездом сюда (в Эдинбург) беспристрастно отдать себе отчет в своих умственных способностях. Пребывание здесь ничего не добавило к моему представлению о себе, и я верю, что до мельчайшего атома унесу все, что во мне есть, в родные края, убежище безвестных ранних лет моей жизни».

И миссис Дэнлоп он тоже писал об этом:

«Будьте мне свидетелем, что в час, когда слава пенилась в моем кубке, я держал его в руках, не опьяняясь хмельным напитком, и с грустной решимостью смотрел в грядущее, когда удар Клеветы

* Блеском (*фр.*).

с мстительным злорадством выбьет его у меня из рук».

2 августа он закончил письмо доктору Муру. В эти листки вместилась вся его жизнь до двадцати восьми лет.

Читатель пересмотрел ее вместе с поэтом.

Началась новая полоса жизни. Надо было решать не только свою судьбу, но и судьбу детей, судьбу Джин.

И свою дальнейшую творческую судьбу тоже. Сможет ли поэт, вернувшись «к старому своему знакомцу — плугу», все же сохранить в целости свою простую лиру, не дать пальцам огрубеть, а паутине забот оплести звонкие струны?

Он знает, что теперь его голос слушает народ Шотландии.

Для него он должен сохранить свою поэтическую силу, еще лучше узнать свою страну, ее песни, ее предания.

Сейчас он уедет в Эдинбург, потом поедет путешествовать, а потом...

Потом будет видно, что готовит ему жизнь.

6

3 августа Бернс снова вернулся в столицу. Он собрался оттуда поехать в горную Шотландию, а заодно посетить герцогов Атольских и герцогиню Гордон в их летних резиденциях, куда его давно звали. В августе начинался отпуск у Вильяма Николя, и Бернс, очень привязанный к «беспутному Вилли», необдуманно пригласил его с собой.

24 августа Бернс и Николь выехали из Эдинбурга на север, в горную Шотландию, уже не верхом, а в удобной двуколке.

За три недели в Эдинбурге Бернс немного успокоился. Он жил в семье учителя Крукшенка, не в старом городе, а в одном из новых кварталов. Главным его другом была маленькая Дженни — дочь Крукшенка. Работая над песнями для второго тома джонсоновского «Музея», Бернс часто просил девочку спеть для него мелодию, на которую он подбирал слова. Он дарил ей книжки, гулял по саду близ улицы Принца и, может быть, держа в руке детскую ручку, думал, что жизнь надо построить так, чтобы его дети были с ним всегда...

По вечерам в небольшой гостиной Крукшенков собирались друзья — органист Кларк, который давал Дженни уроки музыки, Джонсон, приносивший Берн-

су для проверки ноты и корректуры «Музыкального музея», Вильям Николь. Дженни пела им песенку, написанную для нее Бернсом:

За полем ржи кустарник рос.
И почки нераскрытых роз
Клонились, влажные от слез,
Росистым ранним утром.

Но дважды утренняя мгла
Сошла, и роза расцвела.
И так роса была светла
На ней душистым утром...

Ты, нераскрывшийся
цветок,
Расправишь каждый лепесток
И тех, чей вечер недалек,
Согреешь летним утром!

Крукшенки проводили Бернса и Николя в путешествие, взяв с поэта слово, что по приезде он снова остановится у них.

О поездке с Николем остались отрывочные записи в дневнике, несколько писем и отличные стихи. Путешественники объехали все северное предгорье, посетили исторические места, видели разрушенные замки, старинные аббатства, дом, где родилась несчастная королева Шотландии Мария Стюарт, и замок, где, по преданию, Макбет убил короля Дункана. Они побывали в городе Инвернессе — одном из самых древних шотландских городов, считавшемся еще столицей первых жителей Шотландии — пиктов, видели скалистое Кинкардинское ущелье и поле знаменитой битвы при Баннокберне, где Роберт Брюс разбил англичан. Бернс долго стоял над камнем, отмечающим то место, куда, по преданию, Роберт Брюс воткнул древко шотландского знамени «с кроваво-алым львом».

«Ни один шотландец не пройдет без волнения мимо этого поля, — записывает Бернс. — Мне кажется, что я вижу храбрых моих соотечественников, наступающих с холма на грабителей их страны, убийц их отцов. В крови горит благородная месть и справедливая ненависть, шаг их становится все тверже и быстрей, приближаясь к угнетателю, оскорбителю, кровожадному врагу. Я вижу, как на поле победы они с торжеством поздравляют друг друга, восхищаясь своим царственным вождем-героем и завоеванной свободой и независимостью».

Тогда же он сделал первый набросок стихотворения, законченного позже:

Навек простись, шотландский край,
С твоею древней славой,
Названье самое прощай
Отчизны величавой!

Где Твид несется в океан
И Сарк в песках струится, —
Теперь владенья англичан,
Провинции граница.

Века сломить нас не могли,
Но продал нас изменник
Противникам родной земли
За горсть презренных денег.

Мы сталь английскую не раз
В сраженьях притупили,
Но золотом английским нас
На торжище купили.

Как жаль, что я не пал в бою,
Когда с врагом боролись
За честь и родину свою
Наш гордый Брюс, Уоллес.

Но десять раз в последний час
Скажу я без утайки:
Проклятие предавшей нас
Мошеннической шайке!

...Рассветы над горами, когда внизу в тумане лежат зеленые долины и осеннее золото полей, замшелый гранит старых замков, шумные рыбачьи деревушки, где рано утром на мощенной булыжниками рыночной площади скользко от рыбьей чешуи, а горластые рыбачки торгуются со скупщиками свежей рыбы, узкие квадратные башни полуразрушенных

аббатств, зеленоватая вода озер, быстрые реки, где отражаются выгнутые дугой каменные мосты, — всё видят зоркие глаза Бернса.

В пути он встречает множество интереснейших людей. Здесь, на севере, живет старый скрипач и певец Нийл Гоу. «Нийл Гоу играл нам, — записывает Бернс. — Он невысок, коренаст, настоящий горец, седые волосы падают на ясный открытый лоб, интересное лицо, в нем виден глубокий ум, добросердечие с доверчивой простотой — был у него дома...»

У Нийла Гоу Бернс записал много песен. Он записывал их всю дорогу — знатоки шотландского фольклора впоследствии проследили весь путь Бернса по его песням. Любой отрывок оригинальной мелодии, любой припев с характерными, занятными словечками Бернс тщательно заносил в свои тетради.

Он писал старому поэту Джону Скиннеру, прося его принять участие в работе над сборниками Джонсона: «В Эдинбурге сейчас идет работа, которая ожидает от вас всяческого содействия... Я совершенно помешался на этом деле, собираю старые стихи и все сохранившиеся сведения об их происхождении, авторах и так далее...»

Николь не мешал Бернсу задерживаться в тех деревушках и поселках, где, по преданию, родились лучшие шотландские танцы и песни. Он медленно расхаживал по улочке или сидел в таверне, пока Бернс разговаривал с местными жителями, охотно беседовавшими с ним. Но «упрямый сын латинской прозы» очень ревниво относился к встречам Бернса со знатью. Дважды за это путешествие он испортил настроение не только Бернсу, но и целой компании, собравшейся приветствовать «Барда Каледонии».

Бернса с нетерпением ждали в замке герцога Атольского. Преподавателем в семье у герцога — человека ученого и очень скромного — был профессор Уокер, старый эдинбургский знакомый Бернса. Он зашел за Бернсом в трактир, неподалеку от замка, где Бернс и Николь остановились на ночлег, и увел

его ужинать в замок. В дневнике Бернса — новая запись:

«Пятница: ужинал у герцогини — чувствовал себя легко и свободно, очень милая семья; утвердился в хорошем мнении о моем друге Уокере. Суббота: посетил места вокруг замка Атоль — красиво, но испорчено дурным вкусом».

На следующий день — в воскресенье — Бернс был приглашен на обед в замок. К обеду собрались гости — генерал с женой, какой-то маркиз, сестры герцогини с детьми, ее взрослые дочери — словом, весь цвет округи. Кроме того, у герцога гостил мистер Роберт Грэйм-оф-Финтри — один из самых влиятельных чиновников акцизного управления. Все эти люди с нетерпением ждали прихода Бернса: они были подписчиками на его книгу и большими его поклонниками. И он не обманул их ожиданий: давно он не был так остроумен, так мил с дамами, так внимателен к собеседникам. Он вернулся поздно, и Николь что-то мрачно проворчал насчет завтрашнего отъезда.

Утром Уокер прибежал за Бернсом: в замке не садятся без него завтракать, а молодые леди, оказывается, уже посылали слугу подкупить возницу, чтобы тот расковал лошадь и задержал Бернса еще на день. Николь сердито слушал этот разговор и, бросив Бернсу, что он ждет его ровно к пяти часам, иначе уедет без него, стал молча шагать взад и вперед, заложив руки за спину и тяжело переступая с ноги на ногу. Бернс с доброй усмешкой смотрел ему вслед и на замечание Уокера, что, мол, такой ворчливый спутник вряд ли приятен, ответил, что Николь — человек исключительных душевных качеств и талантов, но что «его дух похож на его тело — душа у него дьявольски крепкая, но тоже косолапая».

Однако «косолапая» душа Николя оказалась весьма упрямой: когда Бернса уговорили остаться к чаю, а потом и к обеду, Николь в бешенстве велел трактирному слуге отнести записку в замок с предупреждением, что он ждать не намерен и, если Бернс тотчас же не вернется, он уедет один: он не имеет возмож-

ности нарушить план поездки, так как его отпуск скоро кончается.

И Бернс, смущенно извинившись за друга, встал из-за стола и под растерянными, обиженными взглядами хозяйки и гостей ушел к своему упрямому, косолапому, сердитому другу.

Профессор Уокер, провожая Бернса, только недоуменно развел руками. Пусть Бернс по крайней мере пришлет герцогу письмо или, может быть, стихи.

Через несколько дней Бернс прислал в замок Атоль стихи. Они были посвящены одному из тех мест, про которые он писал в дневнике, что они «испорчены дурным вкусом». В стихах говорилось о прекрасной реке, чьи берега были безжалостно лишены лесного покрова. Как всегда, пристальный хозяйский глаз Бернса увидел бессмысленное опустошение родной земли. И он пишет «Смиренную жалобу реки Бруар благородному герцогу Атольскому»:

О ты, кто не был никогда
Глухим к мольбам и стонам!
К тебе смиренная вода
Является с поклоном.
Во мне остался только ил.
Небесный зной жестокий
Ручьи до дна пересушил,
Остановил потоки.

Река жалуется, что и форель, попав в мелкую струю, обречена барахтаться в болоте и еле дышит на мели... А тут еще пришлось в таком позорном виде попасться на глаза поэту.

Я пролила немало слез
И пенилась от злости,
Когда какой-то бес принес
Поэта Бернса в гости.

Он написал мне пару строк,
А сочинил бы оду,
Когда увидел бы у ног
Бушующую воду!..

Прошу, припав к твоим ногам,
Во имя прежней славы
Ты насади по берегам
Кусты, деревья, травы.

Когда придешь под сень ветвей,
Плеснет, играя, рыба
И благодарный соловей
Тебе споет: спасибо!

И жаворонок в вышине
Зальется чистой трелью,
И отзовется в тишине
Щегол своей свирелью.

И зазвенят у теплых гнезд,
Проснувшись спозаранку,
Малиновка и черный дрозд,
Скворец и коноплянка...

Ко мне влюбленные весной
Придут на берег тайно
И встретятся в тиши лесной,
Как будто бы случайно.

Оберегая их покой,
Росы роняя слезы,
Благоуханною рукой
Прикроют их березы.

И вновь придет ко мне поэт
В часы, когда сквозь ветки
На побережье лунный свет
Свои начертит клетки.

По склонам тихо он сойдет,
По шахматным полянам
Послушать гулкий рокот вод,
Окутанных туманом...

Стихи кончаются здравицей в честь храбрых мужей и прекрасных дочерей герцогского дома, которые поддержат честь родины.

Бернс так и не узнал, понравились ли эти стихи

в замке герцога, где так ласково встретили «Барда Каледонии» и так обиделись на него за то, что он не захотел оставить своего друга.

Увы! Та же история повторилась и в замке герцогини Гордон. Бернс пришел туда с визитом и был встречен как нельзя лучше. «Герцог благороден, величав и вместе с тем очень мягок, внимателен и любезен, герцогиня очаровательна, остроумна, добра и умна — благослови их бог!» — записал Роберт.

На следующий день он пришел проститься и попал прямо к обеду. Его усадили за стол, и он только среди обеда вспомнил, что Николь ждет его в гостинице. Спохватившись, Бернс попросил разрешения уйти до десерта, и милая герцогиня — та самая, которой Бернс в Эдинбурге «вскружил голову», немедленно послала слугу — просить и Николя откушать «вместе с друзьями его друга, мистера Бернса».

Но посланный застал Николя в крайнем раздражении у заложенной пролетки, и никакие уговоры не могли его заставить пойти в замок. Снова Бернсу пришлось извиняться за своего приятеля и выбирать между ним и знатными покровителями.

Вероятно, на этот раз Бернс не так скоро примирился с Николем, хотя нигде — ни в письмах, ни в дневниках — нет и следа какой-либо обиды. Он послал Гордонам очень милые стихи, но и они, как герцоги Атольские, больше никогда его не приглашали. Более того, когда Бернс вернулся в Эдинбург, он встретил чрезвычайную холодность в великосветских кругах, где и так на него смотрели искоса. Все возмущались тем, что он предпочел своим знатным знакомым «невоспитанного и грубого» учителя, имевшего к тому же репутацию вольнодумца и пьяницы.

Последний этап путешествия привел Бернса в замок Стерлинг — древнюю резиденцию шотландских

королей. Алмазный карандаш — подарок лорда Гленкерна — оставил на стекле выразительную надпись:

Когда-то Стюарты владели этим троном,
И вся Шотландия жила по их законам.
Теперь без кровли дом, где прежде был престол,
А их венец с державой перешел
К чужой династии, к семье из-за границы,
Где друг за другом следуют тупицы.
Чем больше знаешь их, тиранов наших дней,
Тем презираешь их сильней.

Весь ноябрь и декабрь этого невероятно насыщенного и трудного 1787 года Бернс просидел в Эдинбурге, дожидаясь окончательного расчета с Кричем. Без этого он ничего не мог предпринять. Кроме того, он надеялся, что ему как-то помогут, что-то для него сделают. Он написал письмо лорду Гленкерну с просьбой помочь устроиться в акцизное управление. Он написал мистеру Патрику Миллеру, чтобы тот сообщил ему свои планы насчет Эллисленда, зная, что это, вероятно, будет для него единственным выходом. Может быть, он в душе надеялся, что ему назначат какую-то пенсию от государства, — ведь назначил же премьер-министр Питт огромную по тем временам пенсию — двести фунтов в год — бездарному поэту Дибдину за то, что тот сочинил какие-то «морские песни». Но, как известно, деньги, ордена и премии во все века получают поэты «официальные», и никому не могло прийти в голову, что надо сохранить для Шотландии ее лучшего певца.

О том, чтобы получать какую-то плату за свою огромную работу по составлению сборника песен, Бернс, конечно, и не думал. А к этому времени вся работа из рук медлительного, ленивого Джонсона перешла в его руки. Он пишет письма всем поэтам, которых знает, он терпеливо разъясняет в этих письмах задачи сборника, он говорит в письме к старому Джону Скиннеру: «Я часто мечтал и непременно по-

стараюсь образовать нечто вроде дружественного союза всех настоящих сынов каледонской песни. Мир, занятый прозаическими делами, может и не заметить многих из нас, но моя заповедь: «Чти самого себя!»

Он живет по-прежнему в семье Крукшенка, где ему предоставили светлую комнатку в мансарде высокого дома, с витыми лесенками и окнами в узорных свинцовых решетках. Широкий стол на львиных лапах весь покрыт рукописями, нотами, старыми сборниками песен, собственноручными нотными записями Бернса.

Первый том «Музыкального музея» он посылает своему дорогому другу, Пэгги Чалмерс. Он обещает в следующем томе написать специально для нее песню — «если мне попадется какая-нибудь великолепная старая мелодия». Пока что он посылает набросок: «хотя доктор Блэклок очень его расхвалил, я сам не совсем им доволен: стихи о любви, если они не написаны рукой мастера и с истинной страстью, превращаются в нудное нытье, столь же нестерпимое для меня, как ханжеские причитания. Стрелы, пламя, купидоны, амуры и грации и вся прочая дребедень похожи на мохлинские проповеди — одно бессмысленное суесловие».

О себе он пишет грустно, ему кажется, что его красноречие «потеряло всякую силу и не действует на прекрасную половину рода человеческого»... «Бывали времена... Но это все в прошлом! По совести говоря, я думаю, что сердце мое столько раз воспламенялось, что теперь совсем остекленело. Я смотрю на женщин с тем же восхищением, с каким любуюсь звездным небом в морозную декабрьскую ночь. Я восхищаюсь дивным мастерством творца, я очарован шаловливым и грациозным их непостоянством и — желаю им спокойной ночи! Говорю об этом в связи с неким увлечением: «Dont j'ai eu l'honneur d'être un esclave miserable...» * Что же касается дружбы, то вы и Шарлотта доставили мне много радости, той нетленной радости, какую, надеюсь, свет не в силах ни подарить, ни отнять и которая переживет и небеса и землю».

Эти строки написаны накануне того дня, когда «остекленевшее» сердце поэта вдруг ожило и снова «воспламенилось, как трут».

* «Чьим несчастным рабом я имел честь быть...» (*фр.*).

7

Все стихи, все песни и письма Бернса говорят о любви как о высшем счастье, доступном смертному. В нежнейших лирических строках, в горьких жалобах брошенной девушки, в возмущенных отповедях «добродетельным» ханжам и безудержно откровенных вольных песнях, которые распевали за бутылкой добрые друзья-«крохалланы», — везде воспевается могучая, неукротимая сила страсти, голос крови, непреложный закон жизни. Бернс ненавидит любовь продажную, является ли она ему в виде накрашенных шумных соседок, оравших и плясавших у него над головой, когда он жил в каморке Ричмонда, или в печальном образе девушки, насильно отданной замуж за богатого: «За шиллинги, пенни загублена Дженни, обвенчана Дженни с глухим стариком...»

Но еще больше он ненавидит тех, кто мешает другим любить просто, горячо и непосредственно, если эта любовь не освящена «бормотаньем джентльмена в черном» в церкви, перед алтарем.

Всю жизнь Бернс помнил унижение, которое он испытал, когда после рождения маленькой Бесс его заставили сидеть на покаянной скамье три воскресенья подряд. Навсегда он запомнил, как острая лисья мордочка «святоши Вилли» неожиданно появлялась из-за угла, когда они с Джин шли к реке или в лес — их первый и единственный дом. С этого началось восстание Бернса против церкви, против суровой, непреклонной кальвинистской доктрины, учившей, что все земные радости — смертный грех, что прелюбодеев надо либо казнить смертью, либо выставить на позор в железном ошейнике, прикрепленном цепью к дверям церкви, или, раздев донага, прогнать плетьми по всему городу.

Сам Кальвин — основатель этого жестокого учения — к концу жизни, очевидно, смягчился. Во всяком случае, в шестьдесят лет, потеряв одну жену, он женился на семнадцатилетней красотке, подтвердив тем самым, что церковный обряд может покрыть любую срамоту. Пресвитерианцы, последователи Кальвина в Шотландии, во главе с беспощадным реформатором Джоном Ноксом, были куда строже своего учителя. С фанатической жестокостью они проповедовали полный аскетизм и хотя признавали церковный брак, но всяческое «потакание грешной плоти» карали смертью. Даже служение богу должно было быть лишено всякой красоты, всякой поэзии. Реформаторы разрушали все предметы «языческого, папистского культа» — готические церкви, статуи, органы; они запрещали строить церкви, считая, что молиться надо в самой бедной, простой обстановке.

«Какое жалкое, гнусное место — пресвитерианские молельни! — записывал Бернс во время поездки по Шотландии. — Грязные, темные, тесные, они приткнулись к былому величию разрушенных средневековых монастырей... А ведь обряды и церемонии, если только их умело подать, безусловно необходимы большинству людей как в религиозной, так и в гражданской жизни».

Особенно ненавидел Бернс учение «Старого толка». С деревянных подмостков мрачных, сырых и грязных часовен и молелен гремел обличительный голос фанатика-попа, который по пяти-шести часов подряд, обливаясь потом и слезами, рисовал страшные картины ада, где стоит «вой, крики, стоны, рыдания и скрежет зубовный». Не лучше был и кальвинистский рай, в ко-

тором святые, играя на лирах, радуются воплям грешников, «столь же необходимым для ангельских песнопений, сколь басовый аккомпанемент необходим для мелодии».

В детстве Роберт читал много книг, где излагалось пресвитерианское учение. Одну из этих книг — «Природа Человека в четырех Естествах ее», написанную неким мистером Бостоном, он упоминает неоднократно. В ранние годы книга «поразила его детское воображение», позже, в письме к Питеру Хиллу, он называет сочинение мистера Бостона «мерзейшей чепухой».

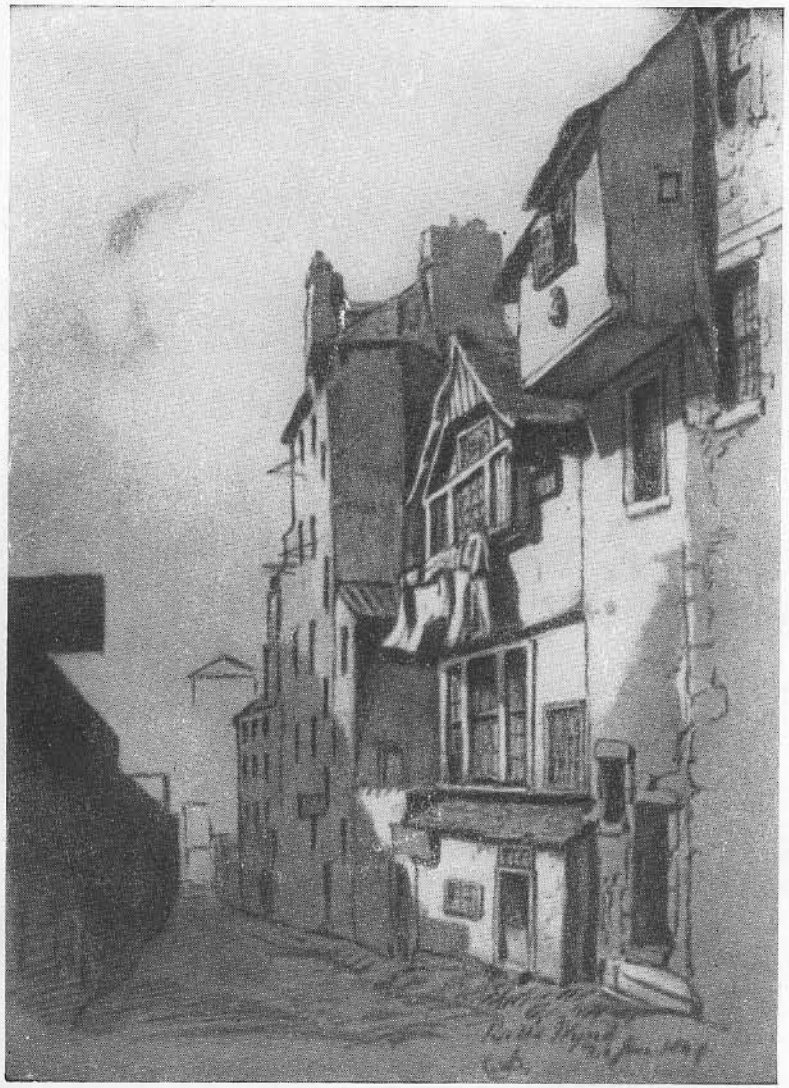
Вот как Бостон описывает муки ада:

«Быть заключенну в пещере рыкающих львов, опоясанну змеями, окруженну жалящими осами, иметь внутренности, выедаемые гадюками, — все это лишь слабое сравнение с муками проклятых грешников».

И диву даешься, как Роберт, выросший среди этих угроз, запугиваний и запретов, еще в юности нашел в себе силу вырваться из цепких рук церковников и так беспощадно отделать их в своих сатирических стихах. Правда, к этому времени все сильнее становилось влияние «Нового толка», где более просвещенные служители церкви улавливали души более утонченными сетями. Уже ржавели цепи и ошейники у церковных врат — их до сих пор показывают туристам в Шотландии, — уже церкви стали чище и светлее, а во многих из них восстановили органы и пение псалмов. Но все же «грешными» считались светские танцы, игры на инструментах, любое веселье в воскресный день, непосещение церкви, не говоря о всяком нарушении седьмой заповеди, запрещавшей «прелюбодеяние».

По-прежнему церковники шпионили и наушничали церковному совету, и по-прежнему церковный совет, легко отпуская грехи богатым помещикам, обрушивал громы и молнии на головы деревенских Ромео и их босоногих Джульетт.

...И если пухленькой шейке прелестной миссис Мак-Лиоз не грозил железный ошейник, если в про-



Старый Эдинбург

Кларинда.

свещенном Эдинбурге ее даже не посадили бы на «покаянную скамью», как сажали в Тарболтоне и Мохлине, все равно перед ней всегда стоял призрак греха, угроза осуждения церкви, в которую она верила, и угроза презрения общества, от которого зависело ее благополучие.

Нэнси Мак-Лиоз, дочь врача из Глазго, рано осиротела и рано вышла замуж. Молодой и красивый адвокат Джеймс Мак-Лиоз, так изысканно ухаживавший за шестнадцатилетней девочкой, оказался негодяем — грубым, жестоким, ревнивым и к тому же нечистым на руку. Нэнси родила ему четырех детей — из них в живых остались только двое, — а когда он попал в долговую тюрьму, добилась разрешения уехать от него. Развестись ей не позволяла ее религия. Родственники Нэнси — люди со средствами и связями — выкупили Мак-Лиоза из тюрьмы и дали ему возможность уехать на Ямайку. Там он жил вот уже одиннадцать лет, не заботясь ни о жене, ни о детях.

Нэнси переехала в Эдинбург, сняла скромную квартирку в респектабельном квартале, украсила ее недорогими коврами, мягкой мебелью и кружевными занавесками и поставила для себя маленькое бюро — тут она читала романы и писала стихи. Она жила на пенсию, которую платили ей как дочери известного врача, и на «воспомоществование» своего знатного родственника, престарелого лорда, очень жалевшего хорошенькую и добродетельную племянницу. Нэнси аккуратно ходила в церковь, во всем доверяла своему духовнику мистеру Кемпу, который неусыпно заботился о прелестной прихожанке, и вздыхала о несчастной своей судьбе, утешаясь мыслью о загробном блаженстве — оно, несомненно, будет ей наградой за безупречную жизнь.

Но прошлой зимой в эту жизнь ворвалась смута: Нэнси услыхала о «неотразимом» поэте, «электрическом пахаре», «эйрширском барде». Она прочла его стихи, увидела его на улице — и потеряла голову. Всю

первую зиму, когда Бернс жил в Эдинбурге, она искала случая с ним встретиться. Но в свете она не бывала, с литераторами и учеными-профессорами знакома не была и уж, конечно, никогда не встречалась с компанией Смелли, Николя и Хилла. Однажды она сидела на концерте почти что рядом с Бернсом, но он был со знаменитым писателем Маккензи, потом подошел к какой-то очень хорошенькой девушке, и Нэнси услыхала, как он объяснял мистеру Маккензи, что это мисс Кристина Лоури, музыкантша, дочь священника из Эйршира. Бедная Нэнси мучалась от зависти ко всем знакомым Бернса, но никак не могла попасть в их число. А ей казалось, что они созданы друг для друга, что он поймет ее, как никто не понимал, и что ему она не постесняется показать свои стихотворные опыты.

Потом Бернс уехал и снова появился в Эдинбурге уже в середине зимы. И тут миссис Мак-Лиоз проявила непривычную энергию: узнав, что Бернс знаком с ее приятельницей мисс Ниммо и привез ей привет от родных, Нэнси настояла, чтобы мисс Ниммо устроила вечер и пригласила ее и Бернса.

6 декабря долгожданная встреча состоялась.

Бернс, без особой охоты принявший приглашение почтенной мисс Ниммо, был приятно поражен, увидев рядом с ней прехорошенькую белокурую женщину с огромным шифоновым бантом в пушистых локонах и небесно-голубыми глазами, смотревшими на него с восхищением. Он развеселился, напропалую ухаживал за милой дамой, обещал ей прийти к ней пить чай в четверг, сожалея, что ему скоро придется уехать из Эдинбурга.

Вечером «крохалланы» были обрадованы отличным настроением своего друга, который в последние дни огорчал их мрачными разговорами.

В четверг Бернс не мог явиться к Нэнси, о чем сообщил ей письмом, обещая прийти в субботу.

А в субботу Нэнси, нетерпеливо ждавшая его за накрытым для двоих чайным столиком у камина, снова получила записку:

«Могу честно сказать, сударыня, что до сих пор я никогда в жизни не встречал человека, с которым мне так бы хотелось увидеться вновь, как с вами. Сегодня мне предстояло это великое удовольствие. Я был опьянен этой мыслью, но вчера вечером, выходя из коляски, я оступился и так ушиб колено, что теперь не могу шевельнуть ногой. Но если мне не придется вас увидеть, я с горя не найду покоя даже в могиле».

И дальше шла тончайшая лесть: «Не могу перенести мысль, что уеду из Эдинбурга, не повидав вас, — не знаю, как это объяснить, но некоторые люди неожиданно меня захватывают целиком, и я редко ошибаюсь. Вы мне мало знакомы, но я странный человек: какие-то неопределенные чувства — какие-то мысли...»

С тем же посыльным пришел ответ: Нэнси сожалеет, что она не сестра мистера Б., хотя и чувствует, что они похожи душой, как близнецы. Прийти ей не позволяет этикет, но она посылает ему для критики свои стихи. Она «предчувствует, что общество друг друга доставит им много радости».

Бернс только что написал Пэгги Чалмерс отчаянное письмо: ему плохо, он несчастен, нога болит, доктор велел держать ее на подушке, он готов был бы «подарить лучшую свою песню худшему своему врагу», если бы Пэгги и Шарлотта были тут: они ангелы и пролили бы бальзам на его израненную душу.

Но, перечитав записку Нэнси, он несколько повеселел — приятно, когда такая изящная и умная женщина предлагает тебе «вечную дружбу»! Он написал ей, что, если бы они встретились раньше, «одному богу любви известно, к чему бы это привело...».

Это письмо, заканчивающееся самыми тонкими комплиментами, Нэнси получила в воскресенье, придя из церкви. Ее испугало пылкое, хоть и скрытое признание в любви — только что мистер Кемп в проповеди говорил о долге замужней женщины...

Она пишет суровое письмо своему «другу»: пусть он не забывает, что она замужем!

Бернс принял это письмо за кокетство и ответил соответственно. Ему сейчас «нечего делать», поэтому он ей пишет, он и в мыслях не имел намерения ее обидеть, и если его сердце «заблудилось», то он клянется честью поэта — он тут ни при чем!.. Ему только жаль, что такая женщина, молодая и обаятельная, брошенная тем, кто обязан был ее защищать, любить и оберегать, к тому же обладающая самой прелестной внешностью и самой благородной душой в мире, — жаль, что она слишком жестоко судит того, кто невольно ею восхищается... Она шутила, что ему, наверно, «придется ждать ее семь лет». А он готов ждать не семь и не четырнадцать, как библейский патриарх ждал свою невесту, а хоть четыреста лет!

«Перечел написанное — такая хаотическая чепуха, что вы, наверно, бросите ее в огонь и назовете меня пустым, глупым человеком. Но что бы вы ни думали о моем уме, я остаюсь в священном преклонении перед вами, сердечно ваш смиренный и покорный слуга...»

И тут исчезает Нэнси, исчезает Роберт. «Я придумала для вас более пасторальное имя, — пишет Нэнси. — Как вам нравится «Сильвандер»? Я как-то испытываю меньше стеснения, когда подписываюсь «Кларинда».

И полетели письма — в десять, в пятнадцать страниц, каждый день, а то и дважды в день — письма влюбленные, безумные, с упреками, с исповедью Сильвандера и признанием, что его герой — мильтоновский Сатана, с мольбой Кларинды «обратить мысли к богу». И под этими цветистыми, сентиментальными излияниями чувствуешь искреннюю, безудержную тягу двух не очень счастливых, не очень удачливых в любви людей, из которых один — разочарован в женщинах и «остекленел» сердцем, а другая — всей душой стремится к простому женскому счастью и леденеет от страха при мысли, что ей за это будет.

Наконец они свиделись — Кларинда и ее Сильвандер, но они все еще посылают друг другу письма. Она

пишет ему в стихах: «Не говори мне о любви — она мой злейший враг!» Бернс в восторге, он подбирает к этим стихам «превосходную старую шотландскую мелодию» и обещает, что «скоро вы увидите свою песню напечатанной в «Шотландском музыкальном музее». Сам он пишет и много и хорошо — снова стихи становятся «голосом его сердца».

Правда, тут же он пишет и стихи «по заказу»: опять умер знатный сановник — лорд Дандас. Доктор Вуд — «Длинный Сэнди», отличный хирург и не менее отличный собеседник, уговаривает Бернса написать «Элегию на смерть Дандаса»: брат Дандаса, некоронованный король Шотландии, Генри Дандас, может быть, тогда что-нибудь сделает для Бернса. Элегию печатают в газете, ее посылают родне покойного, но никакого ответа нет. Миссис Дэнлоп откровенно бранит Бернса за слабые стихи, и он ей отвечает:

«Ваша критика и замечания по поводу «Элегии» на смерть лорда-президента вполне справедливы. Мне до смерти надоело писать о том, что не находит живого отклика в моей груди. Напишите мне, что вы думаете о нижеследующих стихах: тут как будто в моей груди родился какой-то отклик».

В этих стихах Сильвандер взывает к «владычице своей души — Кларинде»: скоро им придется расстаться, но она, солнце его жизни, всегда будет светить ему, в этом он клянется слезами, наполняющими ее прекрасные глаза!

Да, бедная Кларинда не раз плакала, осторожно выпуская Сильвандера поздним вечером из своего дома, так, чтобы никто не видел... Она провела немало бессонных ночей, мучаясь от желания дать волю своей любви и от страха — а вдруг узнают?

Напрасно Сильвандер утешал ее: они чисты перед ее богом и ее мужем, они ничего дурного не делают, их поцелуи — братские, их встречи — «не преступают границ дозволенного».

Но когда Кларинда прислала в письме Сильвандеру записку своего строгого духовника, узнавшего,

что ее «посещает какой-то мужчина», Сильвандер не выдержал: он вдруг снова стал самим собой — он написал Кларинде все, что он думает о ее наставнике, так напомнившем ему вдруг «святошу Вилли».

«Меня ждут к обеду, пишу наспех. Бога ради, скажите сами, на каких условиях вы желаете видеться со мной — вести переписку — я на все готов! Пусть я страдаю, люблю, тоскую втайне — не лишайте меня хоть этого. Вы всегда будете для меня самым светлым, самым дорогим в жизни. Нет у меня терпения читать пуританские каракули — о проклятая софистика! Вы, небеса, ты, творец природы, спаситель рода человеческого, ты взираешь благосклонно на сердце, вдохновленное чистейшим пламенем любви, хранимое истиной, совестью и честью. Но мизерная душонка бесчувственного, равнодушного, ничтожного пресвитерианского лицемера не может простить ничего, что не вмещается в мрачное подземелье его груди и в его затуманенные мозги. Прощайте! Я приду к вам завтра вечером, и будьте совершенно спокойны! Я ваш в той мере, в какой вы считаете это нужным для своего счастья. Не смею писать дальше. Я люблю и буду любить вас... И я презираю накипь чувств и туманы софистики...»

Роберт ушел на званый обед, не отправив письмо, и, вернувшись вечером, дописал его:

«После ужасного дня готовлюсь к бессонной ночи. Сейчас я призываю всесильного свидетеля всех моих дел — того, кто, может быть, вскоре станет моим судьей. Я не хочу быть адвокатом страсти. Будь моей опорой и свидетелем моим, о господи, ибо я выступаю в защиту истины!

Я прочитал высокомерное наставительное письмо вашего друга. В таких делах вы ответственны только перед богом. Кто дал право человеку, и человеку недостойному, быть вашим судьей, потому что он вам неровня, — кто дал ему право допрашивать, бранить, унижать, обижать и оскорблять — бессмысленно и бесчеловечно оскорблять вас такими словами? Я не хочу, я вовсе не желаю обманывать вас, друг мой. Всеведец сердец мне свидетель, как вы мне дороги,

но если бы и представилась возможность сделать вас еще дороже, я не осмелился бы даже поцеловать вашу руку наперекор вашей совести!

Нет, прочь декламацию! Давайте апеллировать к суду здравого смысла. Не разглагольствованиями обо всем, что свято, не пустыми, напыщенными рассуждениями, не высокомерной и оскорбительной проповедью римского преосвященника можно разрушить такой союз, как наш. Скажите мне, милостивая государыня, неужели на вас лежит хоть тень обязательства — отдавать вашу любовь, нежность, ласку, привязанность, ваше сердце и душу мистеру Мак-Лиозу, человеку, который неоднократно упорно и жестоко рвал все узы долга, природы и благодарности, связывавшие его с вами? Правда, законы вашей родины из весьма полезных политических и социальных соображений охраняют вашу личность, но неужели ваше сердце, ваши привязанности закреплены за тем, кто ни в малейшей степени не отвечает вам тем же?

Нельзя это допустить! Противоестественно заставлять вас так жить. Простые человеческие чувства запрещают это. Разве нет у вас сердца и чувств, которыми вы вольны распоряжаться? Нет, они у вас есть! Было бы в высшей степени нелепо, бессмысленно предполагать противное. Так скажите же мне, во имя здравого смысла, неужели это грех, неужто совместимо с самыми простыми понятиями о добре и зле предположение, что нехорошо отдать ваше сердце, ваши чувства другому, если это ни в малейшей степени не нарушит ваш долг по отношению к богу, к вашим детям, к самой себе или к обществу в широком смысле слова?

Это великое испытание. А последствия — посмотрим, что будет...»

Снова — свидание, снова — клятвы, слезы, «небесное счастье» и горькое раскаяние. Кларинда знает о Сильвандере все: он рассказал ей о Джин, о детях — у него теперь остались только Бесс и Бобби; маленькая Джин умерла, и Бернс жалел, что не взял ее в Моссгил, где умели растить малышей и никогда

бы не допустили «безобразного недосмотра», как эти Арморы. Кларинда вышивает рубашонки для крошки Бобби и с удивлением пишет о Джин: «Отречься от вас после таких доказательств любви — нет, эта милая девушка либо ангел, либо дурочка!»

А «милую девушку» в это время родители выгоняют из дому: не сумела женить на себе Роберта, снова ждет от него ребенка — пусть теперь расхлебывает эту кашу сама.

Добрые знакомые — Вилли Мьюр и его жена — приютили Джин у себя на мельнице и написали об этом Роберту.

Только что в письме к старому другу Ричарду Брауну Роберт признавался, что «готов повеситься ради молодой эдинбургской вдовушки, чей ум и красота оказались опасней и смертельней убийственных стилетов сицилианского бандита или отравленных стрел африканских дикарей». Только что он клялся Кларинде, что будет любить ее вечно, что счастлив их встречей...

Но вчера он вернулся от Кларинды с головной болью, измученный ее страхами и сомнениями, и нашел письмо из дому. И все эти шесть недель, когда он сидел, прикованный к креслу, страдал физически от боли в распухшей ноге и душевно — от путаницы чувств и неопределенности отношений с Клариндой, — эти «ужасные шесть недель», как он написал миссис Дэнлоп, показались ему нелепым сном перед настоящей бедой. Джин страдает из-за него, ее приютили чужие люди, она снова носит его ребенка, а он тут никак не может распутаться с неутоленной любовью к милой, беспомощной, запуганной ханжами женщине, никак не может наладить свои дела с Кричем, решить, наконец, свою судьбу и судьбу тех, за кого он отвечает.

И Сильвандер откладывает пастушью цевницу и, очинив перо, садится за письма.

Он пишет резкое и решительное письмо Кричу,

требуя от него немедленной уплаты за книгу и за авторское право.

Проглотив самолюбие, он просит аудиенции у знатной дамы, имеющей связи в акцизном управлении. Вернувшись с этого визита, он возмущенно пишет Кларинде: «Я готов отказаться от мысли поступить в акциз. Только что был у одной высокопоставленной особы. Почему великие мира сего не только оглушают нас грохотом своих экипажей и ослепляют пренебрежительной пышностью, но еще непременно хотят донимать нас своими наставлениями и поучениями? Меня допрашивали о моих делах, как мальчишку, меня бранили и отчитывали за мою надпись на окне в замке Стерлинг...»

Но здравый смысл берет верх: надо все же пытаться и дальше что-то сделать для будущего. Лорд Гленкерн знает о нем больше всех, лорд Гленкерн — прекрасный, добрый, внимательный человек, ему Бернс обязан многим. Надо написать ему, пока он не уехал в кругосветное путешествие.

«Милорд!

Знаю, что ваша светлость неодобрительно отнесется к просьбе, с которой я к вам хочу обратиться, но я самым серьезным образом взвесил все: мое положение, мои надежды, проверил мои мысли и решил выполнить свой план, если только мне это удастся. Я хочу поступить в акциз. Мне сказали, что ваше ходатайство легко доставит мне разрешение инспекции. Покровительство вашей светлости и ваша доброта, которые уже спасли меня от безвестности, изгнания и всяких напастей, дают мне смелость просить о вашем ходатайстве. Вы дали мне возможность спасти от разорения мой родной дом — приют престарелой матери, двух братьев и сестер. Условия аренды для моего брата чрезвычайно тяжелы, но я надеюсь, что он, должно быть, выдержит оставшиеся семь лет. После тех сумм, какие я ему отдал и еще отдам в виде небольшого вложения в ферму и пособия для семьи, у меня останется примерно около двухсот фунтов. Вместо того чтобы обречь себя на нищенство, взяв небольшую, но дорогостоящую ферму, я положу мой

скромный капитал как неприкосновенный вклад в банк. Предвидение бед или беспомощной старости часто терзали мне душу страхом, а кроме того, есть существа, которые имеют право называть меня отцом. Я пойду на любые уступки, не роняющие чести, дабы оставить им по себе лучшую память, чем клеймо незаконного рождения.

Таковы, милорд, мои взгляды. Я пришел к этому решению после самого глубокого раздумья и теперь, утвердясь в нем, приложу все старания, чтобы это решение выполнить. Покровительство вашей светлости — одна из сильнейших моих надежд, да я ни к кому еще не обращался. Не знаю, как и обратиться к кому-либо другому. Я не приучен пресмыкаться у ног знати с назойливыми приставаниями и дрожу при мысли о равнодушных обещаниях не менее, чем в ожидании холодного отказа. Но для вашей светлости я имею не только честь и счастие, но и удовольствие быть неоплатным должником, вечно вам обязанным,

вашим покорным слугой, *Робертом Бернсом.*

P. S.: Прилагаю при сем «Святошу Вилли» и буду иметь честь явиться к вам в начале следующей недели, так как к тому времени рассчитываю закончить все дела с мистером Кричем».

Доктор Александр Вуд пришел навестить Бернса, когда тот дописывал это письмо. Длинный Сэнди очень привязался к своему пациенту и, заходя к нему, всегда прихватывал бутылку хорошего вина «для подкрепления сил бедного инвалида». Обычно он, сам того не замечая, выпивал три четверти этого лекарства, так как Бернс и теперь пил мало, хмелея от одного стакана.

Но на этот раз Роберт совсем отказался от вина и на расспросы доктора Вуда откровенно рассказал ему о Джин, о пиявке Криче, о письме к лорду Гленкерну. Только о Кларинде он не сказал ни слова. Он не знал, что Вуд на днях чуть не избил

некоего франта, осмелившегося дурно говорить об отношениях Бернса к миссис Мак-Лиоз.

Вуд не любил пустых обещаний и ничем не обнадежил Бернса. Но в тот же вечер он заехал к одному из влиятельнейших инспекторов главного акцизного управления, Роберту Грэйму, и попросил его помочь Бернсу.

Мистер Грэйм помнил Бернса: он познакомился с ним на том злосчастном обеде в замке герцога Атоль, когда Николь увез Бернса. Грэйм сожалел, что не узнал Бернса ближе: на полке его библиотеки стояли оба издания стихов, и он давно оценил их автора.

Через несколько дней Бернс получил официальное разрешение пройти курс инструктажа по акцизному делу и обещание дать ему должность по месту жительства, когда представится возможность.

Знал ли Бернс, прощаясь с Эдинбургом и с Клариндой, что их любви пришел конец? Вероятно, знал, вернее — чувствовал в глубине души, не сознаваясь себе в том.

Он обещал ей писать ежедневно и каждый вечер, выйдя в определенный час из дому, смотреть на те же звезды.

Он спрашивал, будет ли для нее радостью получать письма, знать, что о ней думают, что ее боготворят.

Бедная Кларинда! Ей приходилось соглашаться, что такие «возвышенные» отношения — именно то, чего она хотела.

Она отдала ему подарок для маленького Бобби — вышитые ее руками рубашонки. Она целовала его на прощание, с отчаянием чувствуя, что хуже цепей и железных ошейников ее связывает пресловутая «супружеская верность» человеку, чье имя она носит.

А может быть, и она, несмотря на всю влюбленность, понимала, как понимал Роберт, что их пути расходятся...

18 февраля 1788 года Бернс уехал из Эдинбурга с официальной бумагой из акцизного управления, с приглашением мистера Миллера еще раз посмотреть его ферму, с медальоном, в который был вделан портрет Кларинды и локон ее волос, и с горькой тревогой за Джин, брошенную на произвол судьбы.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ПОЭТ И МИР

1

XVIII век шел к концу. Остался год до того июльского дня 1789 года, когда первым громовым раскатом прокатилось по всему миру падение Бастилии. С этого года началось последнее десятилетие славного века — века познания великих истин в науке, века потрясений и переворотов, открывших путь новой эре в жизни человечества, рождению нового класса — рабочего класса. Он еще «был ничем», и ему предстояла долгая и упорная борьба, чтобы «стать всем».

В XVIII веке человечество старалось окончательно отвергнуть миф о божественном происхождении власти королей и ограничить их власть.

Впервые в истории христианства в этом веке люди пытались не просто заменить одну церковь другой, одного бога — другим, но и совсем уничтожить власть религии, заменив ее торжеством Разума, провозгласив новое учение о Свободе, Равенстве и Братстве.

И в каждой стране, под каждым небом подымал голос человек, наделенный высоким даром — говорить словами, отобранными, очищенными, отлитыми в прекрасную форму стиха, романа, трактата, проповеди или песни.

Нескладный костлявый англичанин, насупив брови, сидит в палатке среди нищей, разбросанной армии американских повстанцев и, положив бумагу на полковой барабан, пишет огненные памфлеты, которые всколыхнут и армию и ее нерешительных руководителей — зажиточных американских колонистов. Мы еще встретимся с ним — с Томом Пэйном, когда его книга «Права человека» будет тайком передаваться из рук в руки в его родной Англии и попадет в шотландский город Дамфриз.

Помощник управляющего петербургской таможней, человек «скромный и честный», в эти же годы пишет в первых строках великой книги: «Я взглянул окрест меня, и душа моя страданиями человечества уязвлена стала!» Из маленькой квартирки на берегу Невы он, Александр Радищев, видит не только страдания родного русского народа, но и борьбу рыбаков Мэйна, землепашцев Пенсильвании, садоводов Вермонта, слышит голос их командира — Джорджа Вашингтона. И русский поэт приветствует американского «солдата свободы»:

О воин непоколебимый!
Ты есть и был непобедимый.
Твой вождь — свобода, Вашингтон!..

В тот год, о котором здесь рассказывается, Радищев еще дописывает книгу. Через два года его отправляют за нее в ссылку, дарованную ему «милостью» Екатерины вместо смертной казни.

Но тухнет один факел — другой вспыхивает еще ярче, замолкает голос — и другой, за тридевять земель, подхватывает песню.

Сожжена книга Радищева, а полковой лекарь герцога Вюртембергского Фридрих Шиллер заставляет толпу зрителей исступленными криками приветствовать крамольные речи Карла Моора — героя «Разбойников», молодого бунтаря против тирании и неравенства. Шиллеру тоже грозит тюрьма, он бежит из родного города, но не замолкает: устами маркиза Позы, Вильгельма Телля он обличает тиранов и славит свободу.

...В чужом доме, больной, почти нищий, умер великий учитель Руссо. Но его книги с благоговением читает и перечитывает молодой студент — Максимилиан Робеспьер, фанатик и ученый, мечтатель и революционер — Неподкупный. Пройдет четыре года — и он сложит голову на гильотине за свою мечту создать государство Света и Разума. Он не щадил ни себя, ни других, веря в великое дело освобождения.

Погибали и будут погибать борцы за свободу и певцы свободы. Но Великая Эстафета Вольности — слово поэта — передается из рук в руки по всему земному шару.

В эти весенние дни 1788 года на берегу широкой светлой реки Нит, поросшей дубняком, орешником и совсем молодыми березками, лучшему поэту Великобритании пришлось таскать на собственной спине мешки с известкой и кирпичи.

Роберт Бернс строит свой первый дом — строит на чужой земле.

Аренду он оплатил гинеями, полученными за бесценные, бессмертные стихи. Он живет во временной пристройке к хлеву, где дым ест глаза и ветер дует из всех щелей.

Так «Бард Каледонии» вернулся «к старому своему знакомцу — к плугу».

Два месяца назад, покидая Эдинбург, Роберт совсем не представлял себе, что его ждет. К Мохлину он подъезжал в отличном настроении: его так хорошо везде встречали, так ему радовались. В Глазго его ждали младший брат Вильям и старый друг Ричард Браун. Роберт обрадовался ему до слез,

заказал самый дорогой ужин, самое старое вино, читал своему «крестному отцу» лучшие свои стихи. Ричард Браун очень изменился. Теперь это был уже не бесшабашный синеглазый шалопай, а почтенный капитан большого корабля, с круглой шкиперской бородкой и солидным басом. Он говорил о рейсах, о фрахтах, о прибылях и даже несколько поморщился, когда Роберт напомнил ему о ветреных эрвинских днях.

Из Глазго Роберт написал Кларинде, но и это письмо и все остальные, написанные с дороги, больше похожи на шутливые рассказы веселого путешественника, чем на письма влюбленного.

Три сказочных дня Роберт провел в замке Дэнлоп. Обе незамужние дочки миссис Дэнлоп, Рэйчел и Кийс, соперничали с матерью, стараясь оказать как можно больше внимания поэту. Мисс Рэйчел, художница, писала «портрет» его музы — Койлы: так назвал он ее в честь своего родного округа. Мисс Кийс и ее кузина нежными голосками пели песни поэта, и Бернс чувствовал, что тут его любят и ценят.

В таком приподнятом настроении он заехал на мельницу Мьюра, приютившего Джин, а брата Вильяма послал вперед предупредить родных в Моссгиле. Он расцеловал добрую миссис Мьюр, крепко пожал руку ее мужу, поблагодарил их за помощь Джин и вошел в комнату, где на кровати неподвижно лежала та, к которой он приехал.

Он остановился как оглушенный. Что сталось с этим веселым, ласковым, всегда спокойным созданием? Перед ним была исхудалая, подурневшая до неузнаваемости, робкая и растерянная женщина. Тяжелая беременность и жестокость родителей, очевидно, совсем доконали ее. Она смотрела на Роберта чужими, боязливыми глазами. Разве она ему не рада? Она ничего не ответила, отвернулась, потом взглянула на него с укоризной и с каким-то рабским страхом. Значит, она ему не верит? Значит, она не любит его, не понимает, что он приехал из-за нее, чтобы стать ей опорой, защитой? Значит, опять она его хочет предать, унизить, оскорбить! Он что-то пробормотал и вышел из комнаты.

Он идет в Моссгил медленным, тяжелым шагом. Ему никого не хочется видеть, кроме детей. Он везет им много подарков, платьица для Бесс, рубашки для Бобби, вышитые руками Клариды. Вот кто сейчас понял бы его, вот кто пожалел бы, приласкал. Кларинда! Вечно ее образ будет жить в его груди...

Первое, что он видит на большом столе в жилой комнате Моссгила, — это письмо от Клариды.

И пока мать и сестры собирают на стол, послав маленькую Белл в поле за Гильбертом, Роберт читает письмо Клариды, полное самых благородных, самых деликатных, самых нежных чувств.

Надо сейчас же ей ответить, через полчаса почтарь уезжает из Мохлина.

«Моссгил. 23 февраля 1788 года.

Только что, дражайшая моя сударыня, я передал ваш милый подарок моему чудесному маленькому Бобби — он отличный мальчишка! Ваше письмо меня ждало. Разговор ваш с мистером Кемпом разбередил старую рану, никак не заживающую в моей груди: не от мысли, что его дружба имеет для вас столь большое значение, но оттого, что вы ее слишком переоцениваете. Теперь сообщу вам небольшую новость, которая вас порадует. Сегодня утром, сейчас же по приезде домой, я навестил *ту* женщину. Я не выношу ее. Мне с ней тяжело, и хотя сердце укоряло меня за такое богохульство, я пытался сравнить ее с моей Клариндой. Но это все равно, что сравнивать угасающий свет грошовой свечи с безоблачной славой полуденного солнца...»

Его *понесло, закрутило... Все оскорбленное* самолюбие, все унижения, пережитые из-за Джин, снова терзали его. Он, которого так принимают, так ценят лучшие люди страны, он, которого любит самая прелестная женщина Эдинбурга, он снова должен мучиться из-за этой девчонки.

Он запечатывает письмо своей новой печатью и отдает мальчику-подпаску, чтобы тот рысью мчался в Мохлин и не прозевал почтаря.

Завтра он должен снова ехать в Дамфриз — он обещал еще раз посмотреть ферму мистера Миллера. Он делает это только из уважения к Миллеру — не нужна ему эта ферма, его удел акцизная служба, по крайней мере тогда он будет свободен, сможет уехать из Мохлина.

Уехать от Джин — теперь уже навсегда...

И вдруг со страшной силой его снова толкнуло в сердце то необъяснимое чувство, которое и прежде охватывало его при мысли о Джин: немыслимая тоска, неодолимая тяга, отчаяние, страх и блаженная дрожь, та слабость, когда кажется, что не сдвинешься с места, та сила, которая может перевернуть горы...

Он вскочил, наспех простился со своими и побежал на мельницу.

И, сидя на сухой соломе в сарае Мьюров, куда он вызвал Джин, он целовал ее бледный распухший рот, дрожащие руки, отекшие колени, пока она не засмеялась прежним, счастливым смехом в невыразимой радости и облегчении.

В тот же вечер Роберт снял комнату в двухэтажном домике за церковью, купил самую лучшую, самую дорогую кровать — красное дерево с бронзовыми украшениями, пошел к миссис Армор и сухо сказал ей, что теперь все решено и никого он спрашивать не будет: Джин его жена, он завтра едет брать в аренду ферму и настаивает, чтобы миссис Армор ухаживала за Джин, пока она не родит. Он уже договорился с доктором Макензи, что тот будет ежедневно навещать Джин.

В этот вечер Кларинда смотрела на звезды одна...

2

От Эллисленда до Моссгила — сорок шесть миль. Если выехать на рассвете, с остановкой в Кирконнеле или Санкуэре, где можно накормить эту обжору Дженни Гедс, то она к вечеру бодрой рысцой прибежит к воротам Моссгила. Дэвок, парнишка, который помогает Гильберту по хозяйству, возьмет кобылку под уздцы, а Джин высоко поднимет на руки Бобби навстречу отцу.

Джин живет на ферме у Бернсов с апреля. В марте она снова родила близнецов — и обе девочки умерли, не прожив и месяца.

Мать Роберта рада, что он, наконец, «покрыл грех». Но к Джин она относится с некоторым холодком — не может забыть, как мучился из-за нее Роберт.

А сестры Роберта любят Джин. Они учат ее, городскую девушку, всему, что надо знать жене фермера, и Джин теперь отлично доит коров, сбивает масло, варит сыр. Роберт особенно настаивал, чтобы она как следует научилась этому искусству — он хочет устроить на Эллисленде образцовую молочную ферму.

Нечего таить — земля на Эллисленде оказалась прескверной.

В марте Роберт попросил старого товарища отца — Джона Теннанта поехать с ним и решить, брать ли ему Эллисленд. Теннант похвалил землю, сказал, что аренда не слишком высока и что, если землю хорошо удобрить, можно будет снять с нее неплохой урожай. Конечно, дом и службы надо отстроить заново, но мистер Миллер обещал дать на это триста фунтов. Деньги небольшие, основную работу придется делать самому Бернсу.

Эйрширец Теннант судил по своей, эйрширской земле. Он не знал, какая запущенная, истощенная, болотистая и каменистая почва лежит под тонким слоем чернозема на эллислендских полях. Он не знал ни климатических условий Дамфризшира — дождливого лета, сырой осени, малоснежной зимы, — ни цен на удобрения и семена.

А Бернс после первого же ливня, размывшего почву, в отчаянии писал: «Прошел дождь — и участок, где я засеял лен, похож на булыжную мостовую...»

Да, из трех ферм, которые мистер Миллер предложил ему на выбор, Бернс взял самую красивую — и самую невыгодную.

Но так хорош был лесистый берег широкой быстрой реки Нит, так мягко круглились вдали холмы, поросшие лиловатым вереском, так звонко пели птицы... Что ж, если нельзя будет вести настоящее земледельческое хозяйство, то уж пастбища тут, во всяком случае, отличные. Джин пока что будет жить в Моссгиле, мать и сестры сделают ее отличной хозяйкой, в Ните много рыбы, в шести милях — город Дамфриз, где есть театр, лавки, библиотека, — нет, Роберт положительно верил, что все будет хорошо.

А главное — у него, наконец, будет свой дом, свой очаг, своя настоящая семья. «Счастливый дом для жены и ребят — вот высшая радость! — пишет он слепому доктору Блэклоку. — А кто делает все, что может, тот когда-нибудь сделает еще больше...»

Перед тем как окончательно переехать в Эллисленд, Бернс прошел курс инструкций у акцизного инспектора Джона Финдлея.

Финдлей был человек молодой, весьма добросовестный, но и весьма немногословный. Он вкратце объяснил Роберту правила проверки патентов, сбора налогов пошлины, обследования ферм — не варят ли там пива на продажу, но вообще предпочитал давать ему для изучения длиннейшие инструкции.

Бернс хорошо относился к Финдлею, и, когда Джонсон с Кларком прислали ему новую мелодию с просьбой написать слова — готовился уже третий том джонсоновского «Музыкального музея», — он написал песню про своего неразговорчивого наставника, который в это время настойчиво и молчаливо добивался милостей одной из мохлинских красавиц.

— Кто там стучится в поздний час?
«Конечно, я — Финдлей!»
— Ступай домой Все спят у нас!
«Не все!» — сказал Финдлей.

Как ты прийти ко мне посмел?
«Посмел!» — сказал Финдлей.
— Небось наделаешь ты дел.
«Могу!» — сказал Финдлей.

— Тебе калитку отвори..
«А ну!» — сказал Финдлей.
— Ты спать не дашь мне до зари!
«Не дам!» — сказал Финдлей.

— Попробуй в дом тебя впустить...
«Впусти!» — сказал Финдлей.
— Всю ночь ты можешь прогостить.
«Всю ночь!» — сказал Финдлей.

— С тобою ночь одну побудь...
«Побудь!» — сказал Финдлей.
Ко мне опять найдешь ты путь.
«Найду!» — сказал Финдлей.

— О том, что буду я с тобой...
«Со мной!» — сказал Финдлей.
— Молчи до крышки гробовой!
«Идет!» — сказал Финдлей.

После скучных од на смерть президентов и лордов Бернс снова вернулся к песням. Опять Джин пела ему по вечерам, и, посылая одну из лучших своих песен Джонсону для «Музея», он добавил: «Это я написал для миссис Бернс в наш медовый месяц».

...Он сочинял эту песню, подымаясь по долине Нита с юга на запад, через холмистые, серо-зеленые пастбища, через рощи и перелески, где этим ранним июнем все так дружно цвело и пело. Теплый ветер с залива Сольвэй дул в спину, а когда ездок подымался на невысокую гряду холмов, ему навстречу, с залива Клайд, уже несся западный ветер — милый эйрширский ветер, — который пролетел через моря и горы, забежал в Моссгил и теперь пахнет домом, дымом, скошенной травой и волосами Джин.

Из всех ветров, какие есть,
Мне западный милей.
Он о тебе приносит весть,
О девушке моей.

Леса шумят, ручьи журчат
В тиши твоих долин.
И, как ручьи, мечты мои
К тебе стремятся, Джин

Тебя напоминает мне
В полях цветок любой.
И лес в вечерней тишине
Заворожен тобой.

Бубенчик ландыша в росе,
Да и не он один,
А все цветы и птицы все
Поют о милой Джин...

Джин ждет Роберта в назначенный день. Она вымыла и выскребла все полы — дома ей мыть пол никогда не приходилось, но теперь ей все хотелось делать самой, и делать хорошо: хорошо хозяйничать, хорошо петь, хорошо растить детей. Она стала еще красивей, чем прежде, и снова пела, как птица в лесу.

Весь последний год для нее был наполнен ожиданием, покорностью, страхом. Теперь жизнь начинается снова. Теперь нужно только одно — быть такой, какой ее хочет видеть Роберт, слушаться его во всем. Нет в мире никого лучше Роберта, умнее, красивее, добрее Роберта. Нет в мире стихов и песен лучше тех, что пишет Роберт. Конечно, Джин не так образованна, как следовало бы жене такого замечательного человека, она мало читала, она мало видела, но все стихи и все песни Роберта она знает наизусть от слова до слова.

«У моей жены удивительно мягкий, спокойный и добрый характер, горячее сердце, со всей силой и преданностью готовое любить, отличное здоровье и веселый, легкий нрав, весьма выгодно оттененный более чем привлекательной внешностью...» — пишет Роберт миссис Дэнлоп. Он пишет о Джин сдержанно, потому что его почтенная корреспондентка не слишком одобрительно отнеслась к его женитьбе.

Добрая миссис Дэнлоп сейчас лучший друг Роберта. Она сама предложила стать его поверенной, первым его критиком, как стала для Вольтера «некая старая дама».

Роберт искренне привязан к миссис Дэнлоп, он с нежностью вспоминает ее славных дочек, он благодарен ей за книги, с ней он не стесняется быть откровенным, ей можно излить душу в минуты усталости, разочарования, болезни. Он рассказывает ей о том, что он читает, о том, какое впечатление на него произвел, скажем, Вергилий в переводе Драйдена: «Не знаю, согласятся ли со мною критики, но «Георгики», по-моему, — лучшее, что он написал. Для меня такая манера письма совершенно внове, и тысячи мыслей о соревновании с поэтом овладели мною. Но — увы! — когда я читаю «Георгики», а потом проверяю свои собственные силы, мне кажется, что это все равно, как если бы выпустить на призовые скачки низкорослую шотландскую лошадку рядом с чистокровным рысаком».

Он и сам посылает ей книгу Спенсера и стихи Грея для мисс Кийс — милой художницы, писавшей его музу — Койлу. Миссис Дэнлоп приняла Спенсе-

ра, но не позволила дочери принять подарок от «мужчины, не принадлежащего к их семье». Бернс не обиделся — значит, таковы светские правила! — но впервые подумал, что, несмотря на все восхищение «своим поэтом», миссис Дэнлоп все же относится к нему не совсем как к ровне.

Работа в поле, работа на постройке дома, утомительные, хотя и радостные, поездки в Моссгил, возвращение в Эллисленд, неустроенная, неуютная жизнь — где уж тут много писать...

Бернс ждет осени, когда уберут урожай, с нетерпением ждет, когда будет готов дом и когда переедет к нему Джин с Бобби.

Он почти ни с кем не встречается, и соседи с любопытством смотрят на нового фермера, про которого рассказывают столько непонятных и занимательных историй.

3

Капитан Роберт Риддел собирал старинные монеты и оружие, книги по готической архитектуре и старые гравюры, где изображались уединенные беседки, гроты, руины замков и развалины древних крепостей. У себя в имении он построил беседку «Эрмитаж» — что значит «Приют отшельника» — и «Пещеру друидов» — древних жрецов. Парк спускался прямо к берегу реки Нит, он был запущенный, старый, очень красивый. Когда-то здесь стоял небольшой монастырь, разрушенный последователями рьяного реформатора Джона Нокса. На месте монастыря еще в начале века выстроили одноэтажный белый крытый яркой черепицей дом с широкими дверями и просторными, светлыми комнатами. Дом был убран с большим вкусом — много старинной мебели, цветы, ковры. Под стеклом лежали коллекции Риддела — их приезжали смотреть из антикварных обществ Лондона и Эдинбурга, членом которых состоял капитан Риддел. Кроме того, он был любителем-музыкантом, членом Литературно-философского общества города Манчестера и переписывался со многими учеными.

Капитан Риддел встретил Бернса на собрании масонской ложи Дамфриза. Он сжал его руку в сво-

ей мощной длани и громовым голосом приветствовал «нового соседа», требуя, чтобы тот немедленно ехал к нему обедать. Бернс обещал приехать в другой раз — сегодня он приглашен к мистеру Патрику Миллеру, а скромному арендатору нельзя пренебрегать приглашением хозяина его фермы. Капитан Риддел сказал несколько не слишком лестных слов по адресу «чудака и сумасброда» Миллера, который совсем помешался на каких-то экспериментах с паровыми лодками, и тут же с подкупающей простотой добавил, что Миллер не стоит и гроша по сравнению с «нашим поэтом».

Визит к Миллеру никакого удовольствия Бернсу не доставил. Он чувствовал себя плохо, о чем откровенно писал на следующий день миссис Дэнлоп. Письма к ней — «лучшее в мире лекарство для израненной души», добавляет он и с грустной иронией описывает первый визит к своему лэндлорду.

«Прием мне был оказан вполне подобающий, а со стороны хозяйки дома даже лестный... Сама она иногда экспромтом сочиняет какой-нибудь стишок. Она прочла две или три строфы, к восторгу всех присутствующих. Все ожидали, что я, как профессионал, тоже подам голос. И я, впервые в жизни, угрызаясь вовсю, пошел наперекор своей совести. Простите меня, боготворимые мои пенаты — Независимый Дух и Честное Сердце!.. Потом разговор коснулся «Музыкального музея» Джонсона — это собрание шотландских песен с музыкой. Под аккомпанемент арфы нам спели песню, которая начиналась: «Злые ветры ей навстречу...»

Песня весьма понравилась, хозяйка дома спросила меня, чьи это слова. «Мои, сударыня, это одни из лучших моих стихов!» Parbleu! * — она не обратила на них ни малейшего внимания! Хорошо сказано в старинной шотландской пословице: «Мякина королей лучше ржи бедняков!» Хотел еще при-

* Черт побери! (*фр.*).

вести цитату из евангелия насчет «метания бисера перед свиньями», но это было бы чересчур сильно сказано!

А в общем нельзя сказать, что человек — существо счастливое. Я не говорю об Избранном Меньшинстве, о любимцах пристрастного Неба, чьи души предаются ликованию среди Богатств, Почета, Благочестия и Учености. Я говорю о попранном Большинстве, чьи нервы, чьи жилы, чьи дни, чьи мысли, чья независимость, чье спокойствие — нет, даже чьи радости и удовольствия запроданы тем, избранным Любимцам небес!

Я перепишу для вас одну древнюю шотландскую балладу, если вы ее никогда не читали: она называется: «Век людской»...

У моей матери был старый дядя, у которого она жила в молодости; славный старик, — а он и вправду был очень добр, — ослеп задолго до смерти, и для него не было выше наслаждения, чем сидеть и плакать, слушая, как моя мать поет эту простую старую песню...

Именно в этих настроениях, именно в этих грустных истинах надо искать разгадку, отчего Религия так дорога нищим и несчастным чадам человеческим. Если все это только выдумка, существующая лишь в воспаленном воображении восторженного ума, то —

Какая Истина дороже этой лжи?

(Юнг, Ночные думы)

Мои вольнодумные размышления иногда вселяют некоторый скептицизм, но потребности сердца всегда опровергают холодное философствование...»

Длинные, вдумчивые, до глубины души откровенные письма пишет Бернс миссис Дэнлоп. В них он весь — от его «скептических» рассуждений о религии и обществе до горячих «потребностей сердца», которому хочется во что-то верить, даже если это

«выдумки восторженного ума». В миссис Дэнлоп живой, иронический ум много видавшего и много пережившего человека соединен с путаным, непоследовательным, часто наивным мировоззрением. В нем смешались и религиозное воспитание, и благотворный скепсис Вольтера, которого она очень чтит, и доброе, человечное учение Руссо, чьи книги она читает с удовольствием. К сожалению, она не только сама пишет слабые стихи, но и покровительствует «самородкам» — на них сейчас в Шотландии мода! В ее доме давно живет девушка из крестьянской семьи — Дженни Литтл. Дженни очень некрасива, набожна и восторженна и к тому же сочиняет ужасающие стихи. Миссис Дэнлоп в восторге от поэтических упражнений бедной Дженни: ей хочется, чтобы у нее на молочной ферме рос собственный Вергилий.

Она непрестанно посылает Бернсу «на отзыв» эти ни на что не похожие вирши. Бернс в душе и сердится и обижается. Подчас у него пропадает охота делиться с миссис Дэнлоп своими мыслями и стихами — неужто она не видит разницы между ним и Дженни? Но кому же, если не миссис Дэнлоп, показывать свои произведения? Песни он посылает Джонсону, их поет Джин, но ему непременно надо показать все, что он пишет, человеку образованному, начитанному, посоветоваться с ним, поспорить. Здесь, в Дамфризе, он еще ни с кем не знаком, а о своих соседях по ферме он пишет, что «прозу они знают лишь по молитвам и псалмам и ценность ее определяют, как свою домотканину, — на локти; что же касается муз, то они имеют о поэте такое же понятие, как о носороге...».

Поэтому встреча с громкоголосым добродушным капитаном Ридделом очень обрадовала Бернса.

В первый же вечер, который он провел с Ридделом у громадного камина за стаканом отличного хереса, он понял, что теперь ему есть с кем делиться своими замыслами, есть кому читать свои стихи. Оказалось, что капитан неплохо играет на скрипке и даже сам кое-что сочиняет. Для Бернса это было просто кладом: наконец он сможет прослушать все мелодии, которые ему посылает Кларк, и те мотивы, которые он собрал и по-своему, без аккомпанемента, записал во время поездок по Шотландии. Риддел по совету Бернса подписался на весь «Шотландский музыкальный музей» и первый же том отдал переплести вперемежку с пустыми страницами, на которых Бернс обещал записать историю каждой песни и стихи; не вошедшие ни в одно издание.

Риддел искренне привязался к Бернсу. Он отдал ему в полное распоряжение свой «Эрмитаж» — небольшой домик, увитый зеленью, где в холодные дни можно затопить низкий кирпичный камин и разложить рукописи на широком каменном столе, — Риддел уверял, что этот камень некогда служил надгробием храброму рыцарю.

К сожалению, у Бернса почти не было времени «отдаваться служению музам»: он писал, что «только в светлые промежутки кладет свою мозолистую ладонь на затянутую паутиной лиру, как старуха на колесо своей позабытой старой прялки...»

Осень выдалась дождливая, и, хотя яблоки успели снять и продать вовремя, урожай зерновых частью пропал. Постройка дома шла медленно: то не хватало материалов, то нельзя было достать рабочих. К вечеру Бернс от усталости еле мог добраться до постели. Но он так ненавидел «плаксивый визг жалоб», что в письмах, — а он писал их очень много, — всегда слышишь его уверенный, спокойный голос.

Джин терпеливо ждала его в Мохлине, а когда они не виделись, писала ему письма аккуратным мелким почерком: никто не знал, как она тайком училась писать красиво, чтобы Роберту было приятно читать ее письма. Все его ответы она тщательно прятала в сундучок и по сто раз перечитывала, пока не выучивала наизусть:

«Дорогая моя любовь!

Прочел твое милое письмо с таким удовольствием, какое ничье письмо, кроме твоего, мне доставить не может. Всю прошлую ночь видел тебя во сне. Увы! Боюсь, что пройдет еще недели три, прежде чем я смогу надеяться на радость встречи с тобой. Жатва кончается, осталось снять еще немного, но сегодня сложили два стога, и я устал как собака.

Пожалуй, возьми у Гильберта круг свежего сыру и перешли мне...

Только что посоветовался со своей старой соседкой насчет столового белья, и она говорит, что можно достать самое лучшее по два шиллинга ярд...

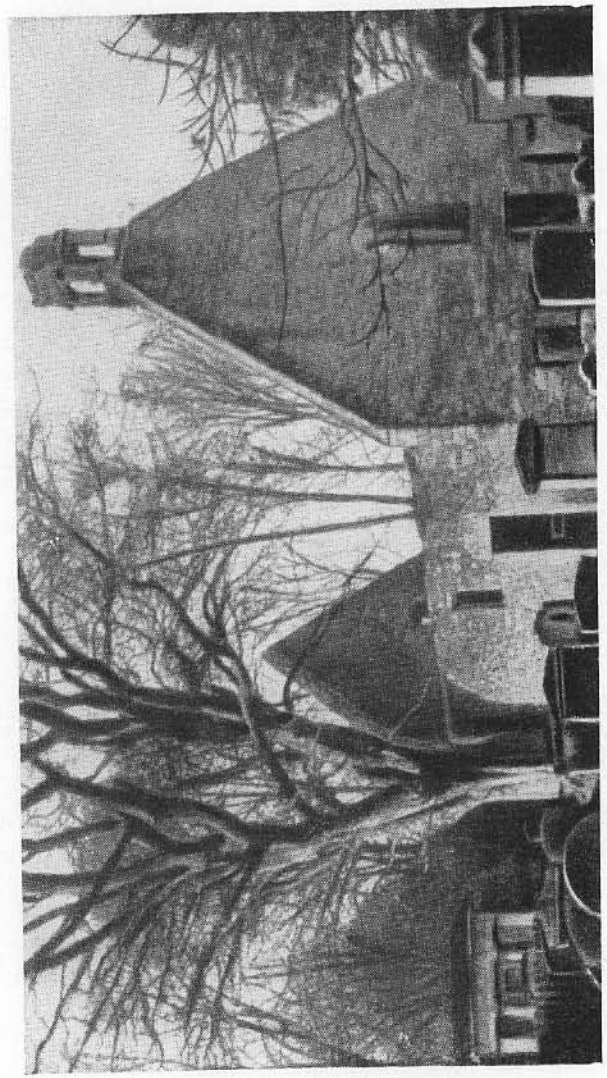
На днях буду в Дамфризе и справлюсь там о ценах. Надеюсь, что твои новые платья уже шьются и будут готовы к моему приезду домой. Наконец, после долгого раздумья, я написал письмо мистеру Грэйму, комиссионеру акцизного управления, и послал ему целую пачку стихов вдобавок. Кстати, раз я уж заговорил о стихах: мне в руки попала прекрасная мелодия, на которую надо было написать слова для джонсоновского собрания...»

Вот слова, написанные Бернсом на эту прекрасную мелодию:

Джон Андерсон, мой друг, Джон,
Подумай-ка, давно ль
Густой, крутой твой локон
Был черен, точно смоль.

Теперь ты стал не тот, Джон,
Ты знал немало вьюг.
Но будь ты счастлив, лысый Джон,
Джон Андерсон, мой друг!

Джон Андерсон, мой друг, Джон,
Мы шли с тобою в гору,
И столько славных дней, Джон,
Мы видели в ту пору.



Старая церковь, описанная в «Тэме О'Шентере».

Антиквар Фрэнсис Гроуз.

Теперь мы под гору бредем,
Не разнимая рук.
И в землю ляжем мы вдвоем,
Джон Андерсон, мой друг!

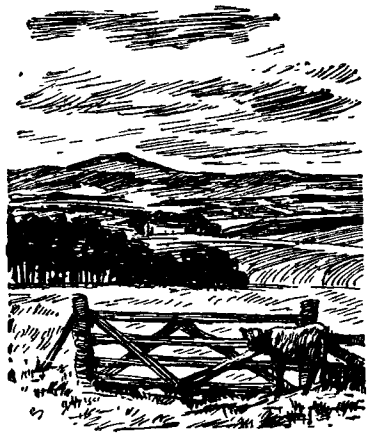
Если бы Бернс написал одну только эту песню — имя его запомнилось бы навеки: так неотделимо, плавно и прочно легли слова на старый мотив, так передана в них спокойная и вечная любовь двух состарившихся вместе людей.

Джин поет эту песню вечером у большого стола на кухне. Ей подпевают мать и младшая сестра Роберта, Нэнни. Каждый думает о своем: Нэнни — о том, как она уедет из дому вместе с Джин на ферму Роберта, мать — о прошлых годах, о покойном муже. А Джин — о том, что Роберту надо бы только писать песни и стихи, а он вместо этого должен через силу сочинять просительные письма важным эдинбургским господам.

Мистер Грэйм получил письмо Роберта с оказией, и это письмо очень огорчило Грэйма и его жену. Грэйм помнил Бернса таким, каким он его видел за столом герцогини, — его сильные плечи, гордую посадку головы, красивый голос, непринужденные, сдержанные манеры, его удивительную улыбку и яркие, живые глаза. Настоящий джентльмен, хорошо воспитанный, образованный. А тут письмо с бесконечными оговорками, с извинениями «за беспокойство», с уверениями в том, что Грэйм — его благодетель, что он вечно ему обязан... Неужели Бернс не понимает, что не он должник тех, кто ему хочет помочь, а все они в долгу у него? Всей Шотландии должно быть стыдно, что ее поэт бьется в тисках нужды, что ему надо, кроме тяжкого труда на ферме, еще взвалить на себя обязанности акцизного, объезжать за неделю округу чуть ли не в двести миль и возиться с длиннейшими отчетами, вместо того чтобы писать стихи. И хотя Бернс пишет в этом письме, что, если он поступит на службу, это будет содействовать его поэтическим планам и он сможет осуществить «замысел сельской

драмы», так как его «странствия по служебным делам будут чрезвычайно благоприятны для изучения оригинальных черт человеческой природы», мистер Грэйм отлично понимает, какое это заблуждение.

Но он сделает для Бернса все, о чем тот просит. Пусть у «Барда Каледонии» будет по крайней мере одна твердая опора — пятьдесят фунтов в год и, если повезет, фунтов двадцать премиальных...



4

Последний раз Роберт был в церкви в Мохлине, когда их брак с Джин признали «действительным и законным». Он тогда уплатил гинею в пользу бедных, пожал руку священнику, «папаше Оулду», удивляясь, что старик встретил его так ласково, словно забыл и его «прегрешения» и его сатиры. Роберт ушел из церкви с облегчением и, наверно, подумал, что больше ему ходить туда не надо.

Но 5 ноября 1788 года, в сотую годовщину так называемой «славной» революции, новый арендатор Эллисленда, почетный гражданин города Дамфриза и будущий акцизный этого же округа, решил пойти в церковь на торжественный молебен.

Очевидно, Бернсу хотелось и на соседей посмотреть, а может быть, и себя показать, вернее — показать, что он такой же благомыслящий человек, как и окружающие его люди: мелкие торговцы, владельцы небольших поместий и арендаторы других ферм. С тех пор как он взял в аренду Эллисленд и женился на Джин, он все время заставлял себя «быть как все»...

Он сидел в церкви, серьезный, нарядный, в жилете с красивыми янтарными пуговицами и с дорогой булавкой в шейном платке.

Сначала он спокойно слушал молитвы, думая о чем-то своем и негромко подтягивая пению псалмов. Но когда началась проповедь, он выпрямился, нахмурился и стал внимательнее вслушиваться в речь достопочтенного пастыря.

Какая наглость... Говорить о несчастном доме Стюартов так грубо, так оскорбительно... Называть их «кровавыми тиранами», презрительно издеваться над этим несчастным мальчишкой — слабовольным, добрым Чарли Стюартом, который был игрушкой в руках хитрых интриганов. И эти льстивые, притворные похвалы теперешнему королю и всему царствующему дому — ганноверской династии, где нет ни одного мало-мальски способного, умного человека! Пусть Стюарты в свое время действительно были тиранами, — а кто из королей не был? Разве эпитеты «кровавый» и «тиранический» не могут быть отнесены с той же справедливостью к династии Тюдоров или Йорков да и к ганноверской династии, которую так превозносит проповедник?

В тот же вечер Бернс пишет об этом длинное письмо редактору «Эдинбургских вечерних курантов».

В конце письма он прямо говорит о том, как сейчас американские колонисты радуются, избавившись от тирании английского короля. «Кто бы мог поверить, сэр, что в наше просвещенное время, время широких взглядов и утонченных чувств, когда мы по справедливости столь ревностно и щепетильно относимся к нашим правам и свободам и с таким возмущением думаем даже о памяти тех, кто мог бы их ограничить, — кто мог бы предположить, что некий народ возмутился не только против нашего монарха, но и против всего нашего законодательства в целом, жалуясь на те же самые притеснения и ограничения, — и почти в тех же словах, в каких наши предки жаловались на династию Стюартов!..

Скажу в заключение, сэр: пусть каждый, кто способен пролить слезу над множеством бед, уготованных человечеству, пожалеет династию, не менее славную, чем многие династии Европы, и претерпевшую несчастия, неслыханные доселе в истории. И пусть

каждый британец и особенно каждый шотландец, который когда-либо с почтительным состраданием взирал на немощи престарелого родителя, опустит завесу над роковыми ошибками королей своих предков».

Казалось бы, странно, что Бернс, бунтарь, которого никак нельзя заподозрить в монархических симпатиях, вдруг с таким жаром заступается за династию Стюартов. Но для него Стюарты были не «помазанниками божьими», не «коронованными особами» и «славный принц Чарли» не наследником престола. Просто их имя, их борьба в изгнании за возвращение на родину стали уже отвлеченным символом шотландской независимости, а поэтическая и грустная судьба Марии Стюарт, вдохновившая и немца Шиллера и поляка Словацкого, стала символом женской прелести, молодой жизни, принесенной в жертву зависти и жестокой, кровавой тирании. Для Бернса Стюарты стали такой же легендой, как старый король Койл, будто бы царствовавший в его родном Эйршире,

Где в память Койла-короля
Зовется исстари земля...

Все связанное с историей Шотландии, с борьбой за независимость было дорого Бернсу. Даже лиловые шапки татарника были для поэта не просто бурьяном:

Я при уборке ячменя
Щадил татарник в поле.
Он был эмблемой для меня
Шотландской древней воли.

Пусть родом,
Доходом
Гордится знатный лорд, —
Шотландской,
Крестьянской
Породой был я горд...

И, гордясь своей «шотландской породой», Бернс не мог допустить, чтобы издевались над традициями, над легендарным прошлым его родины.

Но еще больше Бернсу в этом письме хотелось восстановить историческую перспективу. Он непременно должен был высказать непреложную истину о том, что народ всегда радуется избавлению от тирании королей.

В ответ на сетования миссис Дэнлоп по поводу психического заболевания короля Георга он откровенно говорит:

«Что же касается К. Г. (короля Георга), которому вы так соболезнуете в вашем письме из Морэма (как видите, я прочел обе страницы, наперекор вашим язвительным предположениям!), то я не знаю, не выиграл ли он на этом, потому что слыть сумасшедшим гораздо более почетная репутация, чем слыть дураком».

Миссис Дэнлоп не обижается на поэта за эти письма, она знает, как все ее семейство любит Бернса. Ее сын, майор Дэнлоп, который ушел в отставку и теперь хозяйничает в Дэнлопе, дарит своему «собрату-фермеру» премированную породистую телку, и тот обещает «ежегодно в этот день украшать ее рога торжественной одой в честь семейства Дэнлоп». А барышни Дэнлоп, когда он у них гостил во время отсутствия матери, окружили его «лестным вниманием и искусными комплиментами». Правда, они «не умасливали его, как поэт обычно умасливает своего Патрона, или, вернее, свою Патронессу, и не обсахаривали, как кэмронский священник обсахаривает Иисуса Христа», но все же хвалили так тонко и так хитро, что он чуть не вообразил себя «немаловажной персоной».

Так рассказывал Бернс миссис Дэнлоп об этом визите в письме от 13 ноября.

Простое ли это совпадение, что в тот же ноябрьский вечер под впечатлением исключительно лестного приема, оказанного ему в замке Дэнлоп, Бернс написал еще одно письмо, адресованное некоему Брюсу Кэмблу? К письму были приложены стихи и просьба передать их мистеру Джеймсу Бозвеллу,

адвокату, литератору, другу прославленного доктора Сэмюэля Джонсона.

Бернс неоднократно упоминал о Бозвелле в своих стихах. В одном из посланий он говорит, что ему хотелось бы «сражаться, как Монгомери *, или ораторствовать, как Бозвелл».

Стихи, посланные Бозвеллу, назывались изысканно, по-французски «Фэт Шампэтр» и были посвящены выборам в парламент.

...Больше всего на свете Джеймс Бозвелл ненавидел «доморощенные» стихи. Читатель уже знает, что он единственный из всего Каледонского охотничьего общества не подписался на эдинбургское издание Бернса, вероятно даже не прочитав ни строчки из ранее опубликованных стихов поэта. С годами он, конечно, изменился, но много лет подряд его идеалом была Англия, он мечтал жениться на англичанке, он даже просил книготорговца, знакомившего его с доктором Джонсоном, не говорить тому, что он, Бозвелл, шотландец.

Бернс, с его огромным чутьем к талантливым людям, всегда интересовался Бозвеллом. В Эдинбурге он слышал о нем постоянно от всех, начиная с доктора Грегори, профессора анатомии, и лорда Монбоддо, биолога и философа, и кончая строгим и набожным доктором Блэром.

Весь Эдинбург интересовался Бозвеллом, побаивался Бозвелла, порицал Бозвелла — и прощал ему все его сумасбродные выходки. Сам доктор Блэр рассказывал, как лет двадцать назад, когда и он и Джейми Бозвелл были молодыми, оба сидели в театре, и Джейми, в сильном подпитии, настолько искусно мычал коровой, что публика в восторге орала: «Браво, корова! Бис! Бис!» Джейми стал подражать и другим животным, на что молодой Блэр, уже тогда человек серьезный, ему заметил: «Я бы ограничился коровой!»

Но не рассказы о веселом нраве и шальных выходках молодого Бозвелла привлекали к нему вни-

* Монгомери — шотландский полководец.

мание Бернса. Во-первых, он застал его уже человеком лет под сорок, женатым, остепенившимся, хотя и по-прежнему не признающим никаких границ в кутежах и сквернословии. Бернс знал, что Бозвелл в молодости много путешествовал, был знаком с Руссо и Вольтером, не раз выступал в печати в защиту свободолюбивой Корсики, где шла борьба за независимость, столь близкая сердцу каждого шотландца. Бернс с величайшим уважением относился к другу Бозвелла — лексикографу Джонсону: толковый словарь Джонсона был его настольной книгой. В те годы Бозвелл писал книгу, обессмертившую его имя, — огромную биографию доктора Джонсона. Тогда еще никто не знал, что Бозвелл вел интереснейшие дневники — их отыскали только недавно, в 1939 году, в старом замке, где часть из них лежала в книжном шкафу, а часть — в ящиках из-под крокета. Теперь, читая эти неподражаемые по красочности, точности и непосредственности записи, опубликованные уже после второй мировой войны, мы видим не только всю жизнь тогдашней Англии и Шотландии, людей, обычаи и нравы, но и самого Бозвелла — блестящего, остроумного, наблюдательного и вместе с тем поребячески наивного и непосредственного.

В этих же драгоценных архивах нашлось письмо Бернса к управителю бозвелловского имения, Брюсу Кэмблу, от 13 ноября 1788 года. В письме Бернс пишет, что если стихи «Фэт Шампэтр» доставят ему честь знакомства с мистером Бозвеллом, он, Бернс, сочтет это их величайшим достоинством.

«Так как я имел честь родиться на свет и сделать свой первый вздох в одном приходе с мистером Бозвеллом, то при мысли о такой связи моя гордость распускает крылья. Пресмыкаться в свите Богатства и Знатности, если только деловые соображения обыденной предусмотрительности этого не оправдывают, я считаю Проституцией в каждом, кто не рожден Рабом, но знакомство с таким человеком, как мистер Бозвелл, я завещал бы своим потомкам как великую честь, доставшуюся их Предку».

Кэмбл передал письмо Бозвеллу.

Аккуратный Бозвелл положил письмо в соответствующую папку, проставил на нем дату получения и сверху надписал:

«От мистера Бернса, поэта, с выражением весьма высоких чувств по отношению ко мне».

Ответа на письмо не последовало.

Хорошо, когда у тебя есть дом, милая жена, верные друзья. Хорошо, когда ты можешь писать письма этим друзьям — в замок Дэнлоп, его владелице, в книжную лавку Эдинбурга, славному Питеру Хиллу, или в акцизное управление, мистеру Грэйму. Хорошо, когда тебе присылают книги — много книг, и можно их читать по вечерам у собственного камина.

Но такому человеку, как Бернс, этого мало: ему нужно живое общение с людьми, с самыми разнообразными людьми. Он вспоминает Эдинбург — утренние прогулки с профессором Дугальдом Стюартом, беседы с умницей Смелли, вечера у доктора Блэклока, где Пэгги Чалмерс читала вслух или пела своим приятным тихим голоском. Милая Пэгги, вечно дорогой друг! Теперь она замужем, ее муж — адвокат, славный малый.

В Эдинбурге Бернс был окружен удивительными людьми. Они понимали его с полуслова — Смелли, Хилл, Тайтлер. Они пишут ему редко, каждый занят своим делом. Изредка приходят письма от Николя. Он собирается купить небольшое поместье между Эдинбургом и Дамфризом и приглашает Бернса на новоселье. Обещает наварить пива, позвать друзей.

В последнее время стал меньше писать и Джонсон. Бернсу кажется, что гравер как будто охладел к «Музыкальному музею». Бернс неутомимо шлет ему песни, просит переслать обратной почтой материалы — старые песни, старую музыку, обещает сочинить хорошие стихи.

«Я вижу ясно, мой дорогой друг, — пишет Бернс, — что у нас наверняка выйдет четыре тома. Может быть, вы не найдете особых выгод в этом де-

ле. Но вы патриот нашей национальной музыки, и я уверен, что потомки будут себя считать в неоплатном долгу перед вашими общественными заслугами. Не торопитесь, давайте работать добросовестно, и ваше имя будет бессмертным.

Я готовлю пламенное предисловие для вашего третьего тома. Каждый день мне попадаются объявления о новых музыкальных изданиях, но что они такое? Пестрые бабочки-однодневки, летают день — и навеки исчезают! Но ваша работа переживет капризы пустой моды и презрит зубы Времени».

«Ваше имя будет бессмертным... Ваша работа...»

А Ваше имя, Роберт Бернс? А Ваша работа — более четырехсот прекраснейших песен? Об этом Вы ничего не пишете, об этом Вы молчите.

Но об этом будут судить потомки, особенно те, кто говорит на Вашем языке.

Ваши песни будут петь не только шотландские крестьяне и английские фермеры. В лесах Австралии пастухи и стригали, загоняя овец, будут напевать «Мэри Моррисон». В горах Уэльса шахтеры, отдыхая в воскресенье, наряду со своими, уэльсскими, песнями загремят хором:

Вина мне пинту раздобудь,
Налей в серебряную кружку.
В последний раз, готовясь в путь,
Я пью за милую подружку.

У костра на техасском ранчо какой-нибудь ковбой, подыгрывая себе на банджо, расскажет Вашими словами о своей любви:

Любовь, как роза, роза красная,
Цветет в моем саду.
Любовь моя — как песенка,
С которой в путь иду.

Сильнее красоты твоей
Моя любовь одна.
Она с тобой, пока моря
Не высохнут до дна.

Не высохнут моря, мой друг,
Не рушится гранит,
Не остановится песок,
А он, как жизнь, бежит...

Будь счастлива, моя любовь,
Прощай и не грусти.
Вернусь к тебе, хоть целый свет
Пришлось бы мне пройти!

И неизменно, расставаясь надолго, друзья, взявшись за руки, станут в круг и споют самую знаменитую в мире прощальную песню:

Забыть ли старую любовь
И не грустить о ней?
Забыть ли старую любовь
И дружбу прежних дней?

За дружбу старую —
До дна!
За счастье прежних дней!
С тобой мы выпьем, старина,
За счастье прежних дней...

Бернс посылает миссис Дэнлоп эти стихи. И хотя он сохранил от старой песни только припев, он добавляет: «Пусть земля будет пухом над могилой того поэта, божьей милостью который написал этот изумительный припев! В нем больше огня, природного гения, чем в десятке современных английских застольных!»

И ни слова об истинном авторе этой песни — Роберте Бернсе!

5

Те два с половиной года, что Бернс прожил в Эллисленде, были, смело можно сказать, лучшими годами его жизни. И не с внешней, материальной стороны: ему и в Эллисленде было так же трудно, так же хлопотно, так же утомительно, как и раньше — в Лохли, в Моссгиле. Ферма оказалась невыгодной, урожаи были плохие, тощая земля прожорливо глотала остатки денег, полученных от Крича, по акцизным делам приходилось объезжать десять приходов в неделю — около двухсот миль. Бернс нуждался, Бернс болел, Бернс никак не мог свести концы с концами. И все-таки, несмотря на нужду, болезни, тяжкий труд, Бернс был счастлив: он писал стихи, он не мог нарадоваться на своих ребят. Осенью 1789 года Джин родила ему еще одного черноглазого мальчишку — он чувствовал себя «патриархом», окруженным чадами и домочадцами.

Он жил такой напряженной, такой полной умственной жизнью, что многие его письма читаются как философский трактат, как комментарии к учению великого француза Жан-Жака Руссо и английских просветителей — так глубоко он усвоил основные принципы века Просвещения, так органически слились они с его жизненным опытом, с опытом народа, из глубин которого он вышел.

Часто Бернс пишет о религии, часто он задумывается над тем, во что и как должен верить человек. И если пренебречь условной терминологией XVIII века, когда даже вольнодумцы еще говорят о боге, то мы найдем у Бернса настоящую, неподдельную веру в то, что человек добр, что будущее его светло, что настанет день, когда придет конец «бесчеловечности человека к человеку».

И чем больше крепнет эта вера, тем дальше Бернс уходит от церкви. Теперь это уже не молодой бунт мохлинских дней, когда писались «Святая ярмарка» и «Молитва святоши Вилли», не зрелое возмущение тираническим ханжеством кальвинизма, выливавшееся в письмах к Кларинде. Теперь он просто отметает церковную рутину и создает для себя собственную религию — религию Сердца и Разума, столь знакомую каждому, кто читал Руссо.

«Я настолько перестал быть пресвитерианцем, — пишет он миссис Дэнлоп утром, в день нового, 1789 года, — что одобряю, когда человек сам для себя намечает дни и времена года для более благоговейной сосредоточенности, чем обычно...

Новогоднее утро... Первое воскресенье в мае, ветреный, при синем небе, полдень в начале осени или утро в изморози и ясный солнечный день в конце ее — сколько раз с незапамятных времен они были для меня настоящими праздниками. Они не похожи на унылую чиновничью обрядность кильмарнокского причащения. Можно смеяться или плакать, быть веселым или задумчивым, мыслить о добродетели или благоговеть в соответствии со своим настроением и с характером Природы.

...Мы ничего или почти ничего не знаем о сущности и строении нашей Души, потому и не можем разобраться в этих кажущихся прихотях ее. Почему одному особенно приятны одни явления или поразительны другие, тогда как на умы иного склада они никакого особого впечатления не производят? У меня есть свои любимые цветы весной, среди них — горная ромашка, колокольчик, наперстянка, дикий шиповник, распускающиеся березы и седой терн, которыми я любуюсь

с неустанным восхищением. Стоит мне услышать одинокий посвист пеночки в летний полдень или дикое, с перебоями, курлыканье журавлиной стаи осенним утром, как душу мою наполняет возвышенное вдохновение, похожее на молитву или стихи...»

В феврале Бернсу пришлось съездить в Эдинбург — надо было уладить дела с Кричем. До сих пор он не желал окончательно рассчитаться с Бернсом, а деньги были нужны неотложно: подходила весна, надо было готовиться к севу, покупать семена, сильно подорожавшие в том году.

«Я так несчастлив здесь, как никогда раньше в Эдинбурге не бывал... Я плохой делец, а тут надо обделывать весьма серьезные дела, я люблю развлекаться, но вполне умеренно, а здесь меня заставляют слишком часто служить Бахусу, а главное, я вдали от дома...» — пишет он миссис Дэнлоп, а в письме к Джин сообщает: «Наконец, к своему удовлетворению, уладил дела с мистером Кричем. Он, конечно, не таков, каким он должен быть, и не заплатил мне то, что следовало, но все же вышло лучше, чем я ожидал. До свидания! Очень хочу тебя видеть! Благослови тебя бог!»

Скорее вернуться домой... Кларинда в Эдинбурге, но она предупредила Бернса письмом, что не хочет с ним встречаться и не подойдет к окну, чтобы случайно его не увидеть. Впрочем, если он согласен признать, что он «злодей и обманщик», он может ей написать.

Бернс написал ей, только вернувшись домой, — и то через неделю:

«Сударыня! Письмо, которое вы прислали мне в гостиницу, заключало в себе и ответ: вы запретили мне писать, если я не соглашусь признать себя виновным в прегрешениях, которые вам угодно было приписать мне. Будучи убежден в своей невинности, хотя и сознавая свою чрезвычайную опрометчивость и безумство, я все же могу, положа руку на грудь, утверждать, что там бьется честное сердце. Простите

же меня, если даже вам в угоду я не приму наименования «злодей» и не соглашусь с вашим мнением обо мне, как бы я ни уважал ваше суждение и как бы высоко я вас ни ценил. Я уже говорил вам, и я еще раз повторю, что в то время, на которое вы намекаете, у меня не было ни малейших *моральных* обязательств перед миссис Бернс, и я не знал, да и не мог знать всех решающих обстоятельств, которые суровая действительность мне готовила. Если вы припомните все, что происходило между нами, вы увидите, как вел себя честный человек, успешно борясь с искушениями, сильнее которых не знало человечество, и как он сохранял незапятнанной свою честь в таких обстоятельствах, когда суровейшая добродетель простила бы грехопадение... Неужто я виновен, что стал жертвой Красоты, к которой ни один смертный не мог приблизиться безнаказанно? Если бы я имел хоть самую смутную надежду, что она может стать моей, если бы железная необходимость, — но все это пустые слова...

Когда я восстановлюсь в вашем добром мнении, я, может быть, осмелюсь просить о вашей дружбе. Но, будь что будет, знайте, что прекраснейшая из всех женщин, каких я встречал, всегда останется для меня предметом самых искренних пожеланий всего наилучшего».

Кларинда пришла в такую ярость, что тут же написала Сильвандеру, что прочла его письмо «с презрительной улыбкой» и вообще готова все его письма показать свету.

На это Бернс ничего не ответил: еще одна иллюзия разбилась, еще один эпизод из блестящей эдинбургской жизни закончился...

Зимой Роберт и Джин проводили в «большой свет» младшего брата Роберта, Вильяма. Приехав из Эдинбурга, Бернс застал письмо от Вильяма — «одно из лучших писем, какое мог написать молодой рабочий». Старший брат восхищен этим письмом, рад, что Вильям спрашивает у него советов.

«Прежде всего учись сдержанности и молчаливости, — советует он. — Будь ты мудрым, как Ньютон, и остроумным, как Свифт, — болтливость всегда принизит тебя в глазах окружающих... С этим же посыльным ты получишь от меня две плотные и одну тонкую рубашку, шейный платок и бархатный жилет. Напишу тебе еще на будущей неделе».

Вильям уехал в Лондон — учиться ремеслу шорника. Там его ждут чужие люди и множество искушений. Роберт не только пишет ему о том, как надо напрямик завоевывать девушку, в которую влюблен, но и о том, что при всех обстоятельствах надо избегать «дурных женщин»: в те годы в Лондоне было около семидесяти тысяч зарегистрированных проституток и по сравнению с относительно тихой и благопристойной жизнью Шотландии Лондон казался настоящим вертепом — для этого достаточно прочесть хотя бы «Лондонский дневник» того же Бозвелла.

«Душа человека — его королевство, — пишет Бернс в другом письме брату. — Сейчас в твоем возрасте закладываются черты характера — этого не избежать при всем желании. И эти черты останутся в тебе до самого конца. Правда, позднее в жизни, даже в таком сравнительно раннем возрасте, как мой, человек может зорким глазом видеть все присущие ему недостатки, но искоренить или даже исправить их — дело совсем другое. Приобретенные случайно, они постепенно входят в привычку и со временем становятся как бы неотъемлемой частью нашего существования».

6

В этом году Бернсу исполнилось тридцать лет. В газете «Эдинбургский обозреватель» писали, что «эйрширский Бард сейчас наслаждается сладостным уединением на своей ферме» и что Бернс, уйдя от света, поступил мудро.

И дальше газета предостерегающе рассказывает о злой судьбе «поэта-жнеца», некоего Стивена Дака, которого «неразумные покровители» заставили сделаться пастором, и он, бедняга, выбившись из привычной колеи, не выдержал и в припадке безумия покончил с собой. «Бернс, как ему и подобало, вернулся к цепу, но, мы надеемся, не бросил перо». Бернс читал эту статью, он читал письма миссис Дэнлоп о Дженни Литтл — поэтессе-молочнице — и с тоской пробегал бездарные, безжизненные строчки стихов, которые ему со всех концов Шотландии посылали поэты-кузнецы, поэты-портные, поэты-чиновники — словом, все графоманы, которых ободрил успех «поэта-пахаря».

«Под влиянием моих успехов на свет божий выползло такое количество недоношенных уродов, именующих себя «шотландскими поэтами», что само название «шотландская поэзия» сейчас звучит издевательски», — жалуется Бернс.

В другом письме, рассказывая о себе, о своих планах, он говорит:

«Имя и профессия Поэта раньше доставляли мне удовольствие, но теперь я горжусь ими. Знаю, что недавней моей славой я был обязан необычности моего положения и искреннему пристрастию шотландцев, но все же, как я говорил в предисловии к моей книге, я верю в то, что имею право, по самой своей природе, на звание Поэта. Ничуть не сомневаюсь, что талант, способность изучить ремесло муз есть дар того, кто «склонность тайную в душе рождает», но так же твердо я верю, что *Совершенство* в этой профессии есть плод усердия, труда, вдумчивости и поисков, — во всяком случае, я решил проверить эту свою доктрину на опыте... Хуже всего, что к тому времени, как закончишь стихи, их так часто проверяешь и пересматриваешь мысленным взором, что в значительной мере теряешь способность критически их оценить. Тут лучший их судья — Друг, не только обладающий способностью судить, но и достаточно снисходительный, как мудрый учитель к юному ученику, — такой друг, который иногда похвалит больше, чем надо, чтобы это тонкокожее животное — Поэт — не впало в самую тяжкую из поэтических болезней — неверие в себя. Посылаю вам один свой опыт в совершенно новой для меня поэтической области...»

И он прилагает «Послание к мистеру Грэйму» — одно из интереснейших стихотворных своих посланий.

В нем Бернс снова говорит о судьбе поэта.

Раньше в посланиях к друзьям-поэтам он писал о поэзии как о любимом развлечении, о легком песенном даре:

Сейчас я в творческом припадке,
Башка варит, и все в порядке,
Строчу стихи, как в лихорадке,
А ты, мой друг,
Прочти их бегло, если краткий
Найдешь досуг.

Одни рифмуют из расчета,
Другие, чтоб задеть кого-то,
А третьи тщетно ждут почета
И громкой славы,
Но мне писать пришла охота
Так, для забавы.

Я обойден судьбой суровой.
Кафтан достался мне дешевый,
Убогий дом, доход грошовый,
Я весь в долгу,
Зато игрой ума простого
Блеснуть могу.

Поставил ставку я задорно,
На четкий, черный шрифт наборный,
Но разум мне твердит упорно:
— Куда спешишь?
Ты этой страстью стихотворной
Всех насмешишь!..

И в другом послании он пишет:

Пусть ветер, воя, точно зверь,
Завалит снегом нашу дверь, —
Я, сидя перед печью,
Примусь, чтоб время провести,
Стихи досужие плести
На дедовском наречье...

Стихи сами приходят к нему, когда он думает о любимой:

Назвал я Джин — и вот ко мне
Несутся строчки в тишине,
Жужжат, сбегаясь в строй,
Как будто Феб и девять муз,
Со мной вступившие в союз,
Ведут их за собой.

И пусть хромает мой Пегас,
Слегка его пришпорь —
Пойдет он рысью, вскачь и в галоп,
Забыв и лень и хворь.

Легкие, шутливые эти строчки и впрямь «несутся вскачь», играя, как резвый жеребенок. Позже, в «Ответе на письмо» хозяйке поместья Уочеп-хауз, которая прислала Бернсу очень милые, непритязательные стихи и красивый плед, он написал знаменитые стро-

ки о том, как он щадил татарник — эмблему шотландской воли, и о том, что он хочет сделать для родины:

Одной мечтой с тех пор я жил:
Служить стране по мере сил
(Пускай они и слабы!),
Народу пользу принести —
Ну, что-нибудь изобрести
иль песню спеть хотя бы!..

Рифмовать для забавы, спеть песню, блеснуть «игрой ума простого» — таким Бернсу казался поэтический труд в ранней молодости. И только позднее он написал о том, что такое миссия поэта в мире, о том, какие «тонкокожие животные» эти поэты и как им трудно приходится в обыденной жизни.

Роберт Грэйм был всего на десять лет старше Бернса, однако в первые месяцы знакомства между ними лежала пропасть: Бернс был подчиненным, Грэйм — начальством. Но постепенно их переписка становится все прямее и откровеннее. Жена Грэйма, образованная и приветливая женщина, попросила Бернса переписать для нее все лучшие стихи, не вошедшие в сборники, и все песни, которые еще не вышли в свет, а сам Грэйм, человек очень сдержанный и немногословный, отвечал на письма Бернса короткими, но ласковыми записками и в трудные минуты всегда помогал поэту. Грэйм, будучи одним из главных инспекторов государственного акцизного управления Шотландии, делал для Бернса все, что мог, и не его вина, если продвижение Бернса по службе шло сравнительно медленно.

Но не как начальство Бернса остался в истории литературы Роберт Грэйм, а как адресат нескольких писем и посланий в стихах, по которым видно, о чем в те годы думал Бернс.

В одном из посланий к Грэйму Бернс рассказывает, как Природа создала род человеческий (именно Природа, а не бог!).

Сначала она сделала самых полезных людей: крестьян и фермеров — «сынов земли», потом ремесленников и торговцев, потом «механиков», затем титулованную знать, духовенство, философов и, наконец, из северного сияния создала блистательные женские души.

Радуясь своей законченной работе, Природа вдруг в шутку решила испробовать свое искусство еще на одном творении. Из пены и огня, — а их ведь может развеять малейшее дуновение ветра! — она создала Нечто и окрестила Поэтом.

И вышло у нее существо хотя и подверженное заботам и горестям, но забывающее их при малейшем проблеске счастья, существо, созданное для забавы своих серьезных собратий, которые восхищаются им, хвалят его, — но и только! А он, этот нелепый каприз природы, непригоден для охоты за фортуной, и судьба часто шутит над ним. Он умеет наслаждаться всеми благами жизни, но ему часто даже не на что жить. Он хотел бы отереть каждую слезу, утешить каждого в горе, но его собственных стонов никто и слушать не хочет...

Бороться с несправедливостью и злом, облегчить людям жизнь — вот новая миссия поэта, о которой в первый, но далеко не в последний раз говорит Бернс.

Другое послание Грэйму написано гораздо позже, когда Бернсу приходилось особенно трудно.

И снова речь идет о Природе, столь несправедливо поступившей со своим нелепым созданием — Поэтом.

О Природа! Пристрастная Природа! Горько сетую над твоей материнской блажью! Ты позаботилась и о льве и о буйволе: один сотрясает рыком лес, другой роет копытами землю. Осел толстокож, улитка может спрятаться в раковину, ядовитое жало осы охраняет ее гнездо. Твои любимцы защищают королей, правят государством, пожирают других — ты дала им могущество, власть, силу. Лисы и министры умеют хитрить, обыватели и вонючки пахнут так, что к ним не подступиться. У жаб есть яд, у врачей — лекарства, священник и еж одеты в надежные облаче-

ния. Даже глупая женщина владеет военным искусством: язык и глаза — вот ее копье и стрелы!

Но какая ты злая, жестокая мачеха своему бедному, беззащитному голому детенышу — Поэту! Нет у него ни опыта, ни сноровки в жизни, он глупец, он беспомощнее любого безумца. Ты не дала ему быстрых ног — как ускакать от своры кредиторов? Нет у него когтей — нечем вырыть яму, чтобы скрыться от их зубов. Нет и рогов, кроме тех, что уготованы неудачником Гименеем, а их — увы! — не назовешь рогом изобилия! Его обнаженные нервы, его болезненная гордость дрожат под напором неумолимых ветров, вампиры-книготорговцы сосут из него кровь; скорпионы-критики отравляют неизлечимым ядом. О критики! Как страшно произносить это слово! Бандиты-головорезы на большой дороге Славы, кровавые прозекторы, которые хуже, чем десяток Монро*: тот вскрывает трупы, чтобы учить студентов, а эти потрошат живого человека.

Незаслуженные обиды ранят душу, наглые болваны сводят с ума, тупицы, недостойные носить даже веточку лавра, срывают с Поэта честно заслуженный венок, который ему дороже жизни. И бредет по свету Поэт, исполосованный ударами, окровавленный, замученный неравной борьбой, пока не отлетит последняя надежда, согревавшая сердце, и последняя Муза, когда-то вдохновлявшая его...

«Этот отрывок, — писал Бернс, — должен был стать частью большой поэмы — «Путь поэта».

Но поэма написана не была: в это время другие события затмили размышления о личной судьбе: 14 июля 1789 года под ударами народных толп пал оплот сильнейшей монархии в Европе — французского королевства — тюрьма Бастилия.

Началась Великая французская революция.

Напрасно мы будем искать у Бернса прямой отклик на падение Бастилии. Мы не знаем, что он об

* Монро — знаменитый анатом, преподаватель Эдинбургского университета.

этом писал. Большинство писем того лета сожжено, если не самими корреспондентами Бернса, то их наследниками.

Так сгорела почти вся переписка Бернса с Вильямом Смелли. Биографы последнего откровенно писали: «Многие письма Бернса, адресованные мистеру Смелли и оставшиеся в его бумагах, одни — будучи совершенно неподходящими для опубликования, а другие — из-за резкой критики весьма уважаемых персон, здравствующих и поныне, были сожжены».

По предположению некоторых биографов Бернса, так была сожжена и переписка Бернса с Мэри Уолстонкрафт — известной английской писательницей и общественной деятельницей, женой писателя Вильяма Годвина и другом знаменитого поэта Вильяма Блэйка.

А может быть, эти письма еще найдут, как нашли многие документы той эпохи.

В первые годы самые широкие круги Англии и особенно Шотландии сочувствовали французской революции. Казалось, что Свобода, Равенство и Братство придут мирным путем из-за моря, что в Великобритании падет правительство Питта — представителя реакционной партии тори — и на смену ему придет правительство Фокса — представителя либеральной партии вигов. А тогда и Шотландия получит больше прав. И хотя множество шотландских граждан, в том числе и Бернс, из-за строгого имущественного ценза не могли участвовать даже в выборах муниципалитета своего города, не говоря уже о парламентских выборах, политическая жизнь Шотландии оживилась. В общество «Друзей народа», как называли себя сторонники прогрессивных реформ, вступили не только представители демократических слоев, но даже многие аристократы.

К сожалению, именно с этого года «шотландский бард» стал акцизным чиновником, то есть служащим того самого «слабоумного Джорди» — короля Георга Третьего и того реакционного правительства Вильяма Питта, против которого он так откровенно высказывался.

Откровенность и правдивость — отличные качества. Но недаром народ говорит: «Язык мой — враг мой», и недаром сам Бернс в письме к брату настоятельно советовал тому «научиться молчать». Именно не лгать, не лицемерить, а вовремя держать язык за зубами.

Бернс никогда не умел молчать, никогда не любил молчать, и все горести, которые ему пришлось пережить в эти годы, происходили оттого, что по должности он должен был вести себя как образцовый служащий его величества, а по натуре был настоящим бунтарем, вольнодумцем, свободолюбцем.

Как-то он написал, что основные черты его характера — Гордость и Страсть. За все, что он в жизни делал, он брался с огромным пылом, не жалея себя, часто не думая о последствиях, не обращая внимания на то, что скажут соседи, церковь и власти.

И с гордостью, с уверенностью в том, что он одарен чудесным даром — творить стихи и призван дать народу новые песни, Бернс говорит о своем призвании, о высоком имени и о заслуженных лаврах «его поэтической светлости» — «шотландского барда».

Но лавровый венок надо снять, лиру отложить и ездить на Пегасе не в гости к музам, а на ярмарки — следить, не продают ли там беспошлинный эль или контрабандный шелк.

И о том, что думаешь о мировых событиях, тоже лучше помалкивать.

А если от этого унижения щемит твое гордое сердце — дай себе волю в крамольной песне, которую до поры до времени никто не увидит.

В осень и зиму 1789/90 года Роберт Бернс еще теснее сошелся с капитаном Ридделом. Почти все вечера он проводил в его имении, и даже Элизабет Риддел, белокурая, хрупкая и болезненная женщина, несмотря на свою чопорность и светскость, привыкла к необычному другу своего мужа и часто в ожидании капитана поила Бернса чаем в своей гостиной.

Миссис Риддел очень любила читать и охотно

приняла участие в организации передвижной библиотеки, которую затеял Бернс. Правда, она и ее знакомые дамы часто просили Бернса заказывать в Эдинбурге всякую макулатуру, как писал Бернс своему главному поставщику Питеру Хиллу, но вместе с тем благодаря этой библиотеке Бернс мог следить за текущей прессой и читать все новинки.

Для себя он выписывал стихи, драмы, серьезные труды по истории, философии, экономике. И хотя он продолжал писать песни для Джонсона, но в эту зиму его очень занимали и политические дела Дамфризского графства.

Сейчас уже трудно разобраться в сложной борьбе интересов, которая шла в ту зиму вокруг кандидатов вигов и тори. Бернс откровенно писал миссис Дэнлоп, что «вся эта возня ничуть не лучше грызни двух охотничьих щенков» и что «большой человек» (то есть местный член палаты лордов, бывший тори, ставший вигом), «как все ренегаты, — пламенный приверженец другой партии». Выборные баллады Бернса по большей части либо шутливы, либо неинтересны и напыщенны. Они только тем и примечательны, что мы видим, с какой горячностью, с каким неподдельным интересом Бернс вмешивался во все, что касалось политической жизни страны, считая, что все силы надо направить на благо народа.

Он так и пишет Грэйму (9 декабря 1789 года), что, несмотря на свои недостатки, «большой человек» делает «отчаянные попытки завоевать репутацию благодетеля народа» и в двух-трех случаях предложил такие мероприятия, которые действительно «пойдут на пользу его соотечественникам».

Этого для Бернса достаточно: он будет поддерживать кандидата партии вигов — может быть, в парламенте один лишний голос присоединится к сторонникам реформ.

Этим летом в гости к Ридделам приехал удивительный человек — капитан Фрэнсис Гроуз.

Тот, кто видел капитана Гроуза впервые, невольно

начинал улыбаться: такой неотразимо комический вид был у этого великана с огромным животом, на котором едва сходились коротенькие пухлые ручки. Но стоило присмотреться — и над складками трех подбородков вырисовывались красивый твердый рот, орлиный нос, большие вдумчивые глаза и высокий лоб мыслителя и художника. Фрэнсис Гроуз был одним из самых образованных и талантливых археологов и антикваров своего времени. Восемь томов исследования «Английская и уэльсская старина» были украшены сотнями рисунков самого Гроуза, изображавших не только старинные замки и аббатства, но и пейзажи Англии и Уэльса.

Гроузу было пятьдесят девять лет, когда он познакомился с Бернсом. Он объезжал Шотландию, подготавливая новый том «Шотландской старины», и с первой же встречи понял, что Бернс будет для него бесценным помощником.

Бернс был восхищен Гроузом, его неистощимым остроумием, его глубочайшими знаниями и подлинной артистичностью. Целыми вечерами они просиживали в гостиной у Ридделов или в дамфризской таверне «Глобус». Хозяин таверны Вильям Хислоп и его жена были люди гостеприимные и неглупые. Старая миссис Хислоп относилась к Бернсу с материнской нежностью и часто, в плохую погоду, не отпускала его домой. Наверху, в квартире Хислопов, была небольшая уютная комната, которую хозяева отвели Бернсу. Там стояли стол и широкая удобная кровать. И когда экипаж Гроуза поздно ночью увозил толстого капитана в имение Ридделов, Роберт Бернс оставался ночевать в «Глобусе» и допоздна переписывал для Гроуза старинные песни и баллады из своего собрания.

Бернсу очень хотелось, чтобы Гроуз увековечил развалины церкви в Аллоуэе и старое кладбище, где был похоронен отец поэта. Гроуз съездил в Аллоуэй, зарисовал церковь — от нее уже и тогда остались только стены серого камня, — узнал, порывшись в старых книгах, что она была построена в 1516 году и уже за три года до рождения Бернса, в 1756 году,

закрыта. Гроуз сказал Бернсу, что хорошо бы найти какую-нибудь интересную легенду, связанную с церковью, — тогда стоит о ней написать.

В любой работе важно чувствовать, что кто-то знает о ней и не тебе одному она интересна и нужна. Для Роберта Бернса, оторванного от той среды, где его понимали, каждая встреча с творчески близким ему человеком была подарком судьбы. Ему нужен был умный читатель, советчик, друг, ему нужен был вдохновитель — или вдохновительница! — и соратник по работе. Он был бесконечно благодарен Гамильтону, Эйкену, доктору Макензи — всем, кто помогал ему выпускать первый, кильмарнокский томик. Он навсегда сохранил дружбу с Питером Хиллом, Смелли и чудаком Пайтлером, принимавшими такое горячее участие в эдинбургском издании. Он любил медлительного Джонсона, рассеянного, ленивого органиста Кларка, с которым он делал «Музыкальный музей», — вспомним его письмо, в котором он обещал Джонсону «бессмертие и благодарность потомков», совершенно забыв о себе — истинном составителе, редакторе и главном авторе этих сборников.

Капитан Фрэнсис Гроуз навсегда будет памятен всем, кто любит Бернса, потому что он вдохновил поэта на одну из лучших его поэм — «Тэм О'Шентер».

Бернс добросовестно записал для Гроуза три старинные легенды, связанные с церковью в Аллоуэе. В стене, обращенной к дороге и увенчанной маленькой колокольней, сохранилось высоко прорезанное готическое окно с каменным переплетом. Если ехать верхом, можно заглянуть в это окно. Ночью в церкви страшно, там летают совы и мечутся летучие мыши, и легенда говорит, что ведьмы собираются там на шабаш.

В море есть миллионы перламутровых раковин. И только в одной на миллион вдруг вырастает жемчужина неописуемой прелести.

В мире есть тысячи прекрасных легенд и сказок. И только из одной на тысячу в руках поэта вырастает несказанной красоты поэма или песня.

Бернс записал для Грауза легенду о том, как в церкви шел шабаш ведьм и как темной ночью некий подвыпивший фермер (похожий на эйрширского пьяницу Дугласа Грейма), возвращаясь верхом домой, заглянул в окно церкви и увидел там бог знает что.

Он еще записал комический рассказ о придурковатом батраке, который летал на метле во Францию и очнулся утром в рыбачьем поселке в Бретани.

Он записал и третью легенду — о ведьме и черте.

Но первый рассказ запал в его душу, должно быть, из-за живописных подробностей встречи пьяненького фермера с нечистой силой, а может быть, и потому, что тут, в Эллисленде, он вспомнил старый Эйр, крутой каменный мост через реку, увитые густым плющом стены церкви, узкую оконницу и четыре круглые балясины маленькой колокольни, чудом уцелевшей на треугольной вышке.

...В тот день он рано вернулся из поездки по округе и, позавтракав, ушел на свою любимую дорожку у реки. Осеннее солнце еще грело стволы сосен, под которыми стояла скамья, весело блестела река.

Прошел час, другой, третий...

Джин взяла на руки маленького Фрэнка и, кликнув Бобби, пошла к реке — посмотреть, почему Роберт не идет пить чай. Выйдя из-за кустов, она увидела, что он стоит посреди дорожки и читает вслух какие-то стихи. Она хотела подойти поближе, но вдруг заметила, что у него по щекам катятся безудержные слезы, а он, не замечая ничего, бормочет стихи, дыша прерывисто и часто, как будто ему не хватает воздуха.

Он увидел Джин, бросился к ней, усадил на скамью и, даже не сказав: «Слушай!», начал читать:

Когда на город ляжет тень
И кончится базарный день,
И продавцы бегут, задвинув
Засовом двери магазинов,
И нас кивком сосед зовет
Стряхнуть ярмо дневных забот, —

Тогда у полной бочки эля,
Вполне счастливые от хмеля,
Мы не считаем верст, канав,
Мостков, опасных переправ
До нашего родного крова,
Где ждет жена, храня сурово
Свой гнев, как пламя очага,
Чтоб мужа встретить как врага

Об этом думал Тэм О'Шентер,
Когда во тьме покинул центр
Излюбленного городка,
Где он наклюкался слегка.
А город, где он нализался —
Старинный Эйр, — ему казался
Гораздо выше всех столиц
По красоте своих девиц.

О Тэм! Забыл ты о совете
Своей супруги — мудрой Кэтти.
А ведь она была права...
Припомни, Тэм, ее слова:

«Бездельник, шут, пропойца
старый,
Не пропускаешь ты базара,
Чтобы не плюхнуться под стол.
Ты пропил с мельником помол.
Чтоб ногу подковать кобыле,
Вы с кузнецом две ночи пили.
Ты в праздник ходишь в божий дом,
Чтобы потом за полной кружкой
Ночь просидеть с церковным служкой
Или нарезаться с дьячком!

Смотри же: в полночь ненароком
Утонешь в омуте глубоком
Иль попадешь в гнездо чертей
У старой церкви Аллоуэй!»

Бернс давно не знал такой радости творчества, такой полной власти над словом. Он работал над своим «Тэм О'Шентером» день и ночь, отделывая и оттачивая каждую строку.

Иногда стихи так ладно, так верно ложились в строфы, что почти ничего не приходилось переделывать:

Трещало в очаге полено.
Над кружками клубилась пена...
То дождь, то снег хлестал в окно,
Но пьяным было все равно!

Заботы в кружках потонули,
Минута каждая плыла,
Как пролетающая в улей
Перегруженная пчела...

Через несколько дней Бернс читал «Тэма» капитану Гроузу и Ридделам.

Сначала шло описание бурной ночи, когда Тэм выехал из Эйра домой:

Дул ветер из последних сил,
И град хлестал, и ливень лил,
И вспышки молний тьма глотала,
И небо долго грохотало...
В такую ночь, как эта ночь,
Сам дьявол погулять не прочь...

Скачет Тэм на своей верной кобыле Мэг, скачет по страшным, зловещим местам:

Здесь, у прибрежных этих скал,
Пропойца голову сломал.
Там — под поникшею ракитой —
Младенец найден был зарытый,
А дальше — тот засохший дуб,
Где женщины качался труп...

Тэму надо бы ехать поскорее домой, но любопытство погнало его к самой церкви.

О боже! Что творилось там!..
Толпясь, как продавцы на рынке,
Под трубы, дудки и волынки
Водили адский хоровод
Колдуньи, ведьмы всех пород...

Тэм онемел. Тэм, не отрываясь, смотрел в окно на страшных пляшущих ведьм, похожих на «живые жерди и ходули».

Но Тэм нежданно разглядел
Среди толпы костлявых тел,
Обтянутых гусиной кожей,
Одну бабенку помоложе.
Как видно, на бесовский пляс
Она явилась в первый раз..

Она была в рубашке тонкой,
Которую еще девчонкой
Носила, и давно была
Рубашка ветхая мала..

Но музу должен я прервать,
Ей эта песня не под стать,
Не передаст она, как ловко
Плясала верткая чертовка,
Как на кобыле бедный Тэм
Сидел недвижен, глух и нем,
А дьявол, потеряв рассудок,
Свирепо дул в десяток дудок...

Но вот прыжок, еще прыжок —
И удержаться Тэм не мог.
Он прохрипел, вздыхая тяжко:
«Ах ты, Короткая Рубашка!..»
И в тот же миг прервался пляс,
И замер крик, и свет погас...
Но только тронул Тэм поводья,
Завыло адское отродье...

И пошла погоня за Тэмом — вот-вот настигнет его нечистая сила, хоть верная Мэг и несется во весь опор:

О Тэм! Как жирную селедку,
Тебя швырнут на сковородку.
Напрасно ждет тебя жена:
Вдовой останется она.
Несдобровать твоей кобыле, —
Ее бока в поту и в мыле.

О Мэг! Скорей беги на мост
И покажи нечистым хвост:
Боятся ведьмы, бесы, черти
Воды текучей, точно смерти!

Увы, еще перед мостом
Пришлось ей повертеть хвостом.
Как вздрогнула она, бедняжка,
Когда Короткая Рубашка,
Вдруг вынырнув из-за куста,
Вцепилась ей в репей хвоста!..

Ах, после этой страшной ночи
Во много раз он стал короче!

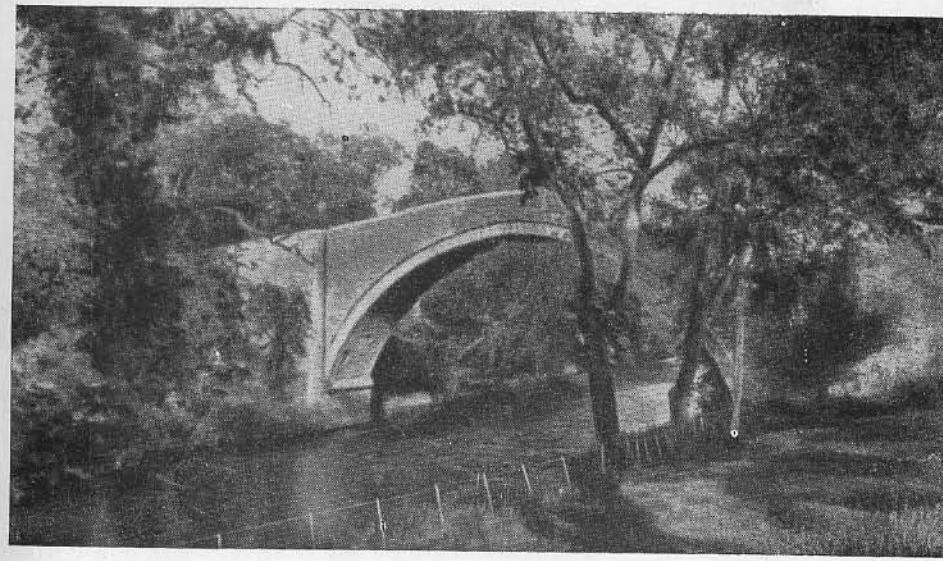
На этом кончу я рассказ.
Но если кто-нибудь из вас
Прельстится полною баклажкой
Или Короткою Рубашкой, —
Пусть вспомнит ночь, и дождь, и снег,
И старую кобылу Мэг!..

Наверно, во всей Шотландии в эти дни не было человека счастливее Роберта Бернса. Он снова ощутил свою поэтическую мощь, как в те дни, когда писал «Веселых нищих» и «Двух собак». Ему казалось, что сейчас он пишет еще лучше, и, как он говорит в письме к миссис Дэнлоп, из всех своих произведений он считает «шедеврами» — сынишку Фрэнка, ее маленького крестника, и поэму «Тэм О'Шентер».

Прежде чем «Тэм О'Шентер» вышел в книге Грауза (в виде примечания к его статье!), Бернс разослал поэму в списках своим ближайшим друзьям в Эдинбург.

И пока те восхищались непревзойденным и доныне в английской и шотландской поэзии рассказом в стихах, автор поэмы занимался совсем другим де-

Иллюстрация к поэме «Тэм О'Шентер» (посмертное издание).



Мост через реку Эйр, где проскакал Тэм О'Шентер.

Портрет Бернса с миниатюры художника Бьюго.

лом: подошла осень, убирают урожай на фермах и везде варят пиво и эль — не только для дома, но и на продажу. Акцизному дел по горло, но когда этот акцизный Роберт Бернс, он еще должен уберечь от штрафов и наказаний бедняков — например, какую-нибудь несчастную вдову, мать многочисленного семейства, которая хочет заработать на ярмарке два-три шиллинга, продавая самодельную беспошлинную брагу.

Об этом вспоминал современник поэта Джон Гилспи.

На ярмарке в Торнхилле полно народу. Кэт Уотсон на один день решила стать трактирщицей: она сняла амбар, привезла два бочонка отличной домашней браги — подходи, кто хочет!

Четырнадцатилетний Гилспи удивленно смотрит, как к амбару Кэт подъезжает верхом на старой лошадке человек, которого он давно знает. Это Роберт Бернс, о нем часто говорят в семье Гилспи, где любят его стихи. Когда Джон встречает Бернса, тот всегда ласково здоровается с ним. Однажды Джон, проходя мимо крестьянской хижины, с удивлением услышал, как там среди бела дня сильный женский голос поет старинную песню. Мальчик заглянул в окно: перед очагом в кресле сидел Бернс, внимательно слушал, как поет немолодая женщина, и что-то записывал.

А теперь Бернс соскочил с лошади и, подойдя к двери, поманил Кэт пальцем:

— Да ты, видно, с ума сошла, Кэт! — услыхал мальчик. — Разве ты не знаешь, что мы со старшим инспектором через сорок минут будем тут? Прощай покуда!

Кэт Уотсон все сообразила сразу и, быстро убрав бочонки, избавилась от штрафа в несколько фунтов стерлингов, означавшего для ее огромной семьи голодную зиму.

В письме к мировому судье Дамфриза Александру Фергюссону Бернс прямо пишет: «Что вы сделали и что можно сделать для бедного Робби Гордона?

Мне придется спустить на него гончих псов правосудия, и я должен, *должен* буду натравить всех хищных стервятников на беднягу... Знаю ваше доброе сердце, — продолжает он. — Лишь бы эта шлюха, Политика, не соблазнила и не отвлекла честного малого — ваше Внимание, чтобы вы не пропустили момент сделать доброе дело...»

Неизвестно, в чем провинился «бедный Робби Гордон» и не отвлекла ли политика, столь нелестно аттестованная Бернсом, внимание судьи Фергюссона.

Известно одно: во всей округе не было ни одного человека, который плохо отзывался бы о новом акцизном.

Впрочем, в это лето многие «добродетельные» граждане Дамфриза с неодобрением говорили, что «Бард», как называли Бернса, часто пропадает в трактире Хислопов «Глобус». Ближайшие его друзья отлично знали, почему он там бывает.

Джин с *обоими мальчишками уехала* гостить в Мохлин к своим родным. На ферме стало пусто, скучно. За день Роберт смертельно уставал. Как не воспользоваться гостеприимством доброй миссис Хислоп, как не остаться ночевать в теплой, уютной комнате наверху, куда ему охотно подавала ужин и стакан грога златокудрая Анна — молодая племянница Хислопов, явно благоволившая к красивому приветливому гостю.

Бернс сдался не сразу: он давно решил «вступить на стезю добродетели». Видит бог, он не был постником и пуританином, он влюблялся во всех хорошеньких женщин, с которыми его сталкивала судьба, он говорил, что они вдохновляют его музу.

На свою беду, он ничего не умел скрывать, о его увлечениях сразу узнавал весь свет — из стихов, из писем, из его собственных рассказов.

Другие могли быть гораздо легкомысленнее Бернса, их донжуанские списки могли быть в десять раз длиннее. Но никто так откровенно не радовался каждой встрече, никто с таким восхищением не воспевал любовь!..

В последние годы ему казалось, что все увлечения кончились.

«Когда я был далеко не таким святым, каким я стал сейчас...», — писал он в одном письме, вспоминая прошлое. Теперь он всерьез считал себя «святым».

И вдруг эта Анна, такая красивая, беспечная, веселая. Он предупреждал ее: никогда он не бросит Джин, не уйдет от семьи.

Но на все его уговоры Анна отвечала смехом, бросалась ему на шею — и не уходила из его комнаты до утра.

Снова Роберт Бернс влюбился — и снова Джонсон получил изумительную песню. В песне говорилось о «золотых кудрях Анны», о счастье и блаженстве свидания с ней. А под конец поэт посылает к чертям церковь и государство — они-то, разумеется, запрещают ему любить Анну.

Эта песня осталась памятью о дамфризской девушке, которая отдала поэту свою любовь так бескорыстно и просто, как будто понимала, кого она любит.

Когда Джин вернулась из Мохлина, злые языки не преминули сообщить ей, что Роб совсем потерял голову «из-за этой рыжей девчонки», племянницы Хислопов, и что миссис Хислоп им во всем потакает.

Но Джин ни о чем не спрашивала Роберта и попрежнему была с ним ласкова и терпелива.

Иногда это бывало нелегко. Семья огромная, работы на ферме очень много. Джин вставала на рассвете вместе с Робертом, готовила на всех завтрак, потом Роберт распределял работу между домашними.

Наемных рабочих Бернсы не держали — в доме было полно молодежи: племянница Роберта, его сестра, брат Джин. Лишь на время пахоты или уборки урожая приходили на несколько недель соседские парни или приезжие батраки.

«Во время сева, — рассказывал Вильям Кларк,

проживший у Бернсов шесть месяцев, — мистер Бернс сам выходил на рассвете в поле, но так как у него было много работы по службе, то к полудню он уже уезжал по своим делам. Человек он был добрый, справедливый, со всеми обращался запросто, но если его что расстраивало, он мог и вспылить. По-настоящему он при мне рассердился только раз на небрежность одной из девушек. Она так крупно нарезала картошку в корм корове, что та подавилась и чуть не сдохла. На мистера Бернса страшно было смотреть — и вид и голос у него были ужасные. Но гроза скоро прошла — и больше он ни слова не сказал... Носил он дома синий берет, синий или коричневый длиннополый сюртук, вельветовые брюки, темно-синие чулки с гетрами, а в холодную погоду накидывал на плечи черный в белую клетку плед...»

Вечером, отдохнув после разъездов, Роберт переодевался, и Джин с гордостью смотрела на мужа: к его смуглому лицу так шел белоснежный шейный платок, черные волосы блестели и вились, синий сюртук с песочного цвета отворотами сидел ловко и ладно. Теперь Роберт почти каждый вечер проводил в Дамфризе: на днях там начался театральный сезон. Директор труппы Сазерленд приехал к Роберту с письмами от друзей-эйрширцев и запиской от эдинбургского друга актера Вуда — того самого, с которым Роберт искал могилу Фергюссона. Вуд рекомендовал Сазерленда как одного из самых образованных и талантливых актеров. Сазерленд просил Бернса не оставлять театр без внимания и, если можно, написать пьесу: труппа открыла подписку на постройку нового театра, и было бы очень хорошо поставить там пьесу своего, шотландского, драматурга.

Для Роберта знакомство с Сазерлендом, с его женой — талантливой характерной актрисой и особенно с очаровательной примадонной мисс Луизой Фонтенель было просветом в этой невеселой зиме.

Они приехали, когда Роберт только что оправился после тяжелой простуды и приступа острого ревматизма. К середине зимы ему стало понятно, что, несмотря на все труды и старания, ферма не оправдала его надежд.

«Нервы мои в ужасающем состоянии, — писал он Гильберту 11 января 1790 года, — чувствую, как страшнейшая ипохондрия проникает в каждый атом моей души и тела. Эта ферма отняла всю радость жизни. Как ни прикидывай — она меня разорит. Ну ее к черту!.. Если бы я избавился от нее, я, наконец, вздохнул бы свободней...»

И в этом же письме Гильберту Бернс пишет об открытии театра и о новогоднем прологе, который он написал для Сазерленда, «продекламировавшего эти стихи с большим жаром под громкие аплодисменты».

Для Бернса театр стал очередным увлечением. Ему хочется написать пьесу. Он требует, чтобы Питер Хилл прислал ему все книги драматургов, как старых — Бена Джонсона, Отвэя, Драйдена, Конгрива, Уичерли, так и более современных — среди них он упоминает гениального актера и драматурга Гаррика, Шеридана, Кольмана. «Мне также очень нужен Мольер по-французски. Другие драматические авторы на их родном языке тоже мне нужны, я говорю главным образом об авторах комедий, хотя Расина, Корнеля и Вольтера мне тоже хотелось бы получить. Это не к спеху, но если вы случайно найдете очень дешевые издания, пришлите их мне...»

Тут же он жалуется Хиллу, как трудно жить, как трудно писать.

«Вокруг столько Наготы, и Голода, и Бедности, и Нужды, что проклятая необходимость заставляет нас учиться Себялюбию, чтобы мы могли существовать... И все же в каждом веке есть такие души, которые при всех Горестях и Лишениях в мире не унизятся до Эгоизма и даже не приобретут ни Осмотрительности, ни Осторожности... Если у меня и появляется желание чем-то похвалиться, то лишь тогда, когда я смотрю на эту сторону своего характера. Видит бог, я не святой, у меня уйма всяческих прегрешений, но если бы я мог, — а когда могу, то я это и делаю! — я бы

отер все слезы со всех глаз. Даже подлецам, обидевшим меня, я бы все спустил...»

Трудно писать, некогда писать — а какие темы ждут шотландского драматурга! Об этом Бернс пишет в письмах, об этом он сочинил пролог для бенефиса миссис Сазерленд 3 марта 1790 года.

Пролог мистеру Сазерленду, как и эдинбургский пролог Вуду, написан изысканным английским языком. Для разбитной, задорной миссис Сазерленд, отлично игравшей характерные роли, Бернс пишет на разговорном шотландском языке очень непринужденно и весело.

Вот этот блестящий «Шотландский пролог», как его окрестил Бернс, — нам, к сожалению, придется пересказывать его прозой:

«О чем шумит Лондон, почему столько разговоров о новых пьесах и новых песнях? Почему мы так преклоняемся перед чужеземной стряпней? Неужто всякая дребедень, словно коньяк, становится лучше, когда ее ввозят издалека? Разве нет у нас поэта, мечтающего о славе, который смело писал бы пьесы о нашей жизни? Нечего ему искать тему для комедии за рубежом: дураки и плуты растут на любой земле. Не надо уходить в дальние страны — Рим или Грецию — и там искать тему для серьезной драмы. История Каледонии может вдохновить трагическую Музу, и она предстанет нам во всей своей славе.

Неужто нет смелого Барда, который расскажет, как насмерть стоял храбрый Уоллес, как пал он от руки врага? Куда скрылись музы, которые могли бы создать драму, достойную имени Брюса? В этом городе, тут, у нас, он впервые обнажил меч против могучей Англии и преступного ее господина и после кровавых, навеки бессмертных боев вырвал любимую родину из пасти погибели...

Вот если бы, как бывало, вся страна взяла за руку служителей муз и не только выслушала бы их, но и ободрила, обласкала, а когда они заслужили похвалу — похвалила бы по справедливости...

А если уж они не выдержат испытания, закройте на это глаза и скажите: «Как могли, так и сделали!»

Возьмись за это вся страна — и, ручаюсь головой, у нас были бы свои, национальные шотландские драматурги, и Слава так громко трубила бы о них в свой рог, что он, чего доброго, треснул бы по швам!»

Публика дружно аплодировала актрисе и прологу, не подозревая, что автор, сидевший в театре, написал эти строки о себе...

Можно было сколько угодно читать лучших драматургов, можно было точно знать, о чем хочется и о чем нужно писать. Но если в это время ты должен «заставить одну гинею работать за пять», если тебя к вечеру еле держат ноги и часто нельзя писать оттого, что надо составлять отчеты по акцизу, — где уж тут думать о драмах или комедиях.

Слава богу, если есть время записать песни, которые, несмотря ни на что, звучат в твоей душе.

Во всех письмах этого года Бернс пишет о своих литературных планах. Доктору Муру, приславшему свой роман ему на отзыв, он рассказывает о задуманном очерке «Сравнительный взгляд на творчество Мура, Филдинга, Ричардсона и Смоллета и разбор их произведений».

«Сознаюсь, что эти планы выдают мою смешную самонадеянность, да, вероятно, я никогда и не выполню их», — пишет он Муру и тут же добавляет, что «исчеркал весь экземпляр книги своими пометками».

Как опытный критик — и критик большого вкуса и тонкого понимания, — разбирает Бернс чужие стихи. Как тончайший знаток народной музыки, пишет он о старинных и современных песнях. Его шутливые диалоги — мастерские произведения комедиографа, послания — настоящие монологи из ненаписанной драмы.

Ему со всех сторон посылают стихи и прозу. Часто он не успевает отвечать или отвечает коротко, надеясь на «свободную минуту», которая никогда не приходит.

«Я часто задумываюсь, особенно в грустные минуты, о характерах и судьбах рифмующей братии, — пишет он молодой поэтессе Эллен Крэйг. — Нет среди всех когда-либо написанных мортирологов печальнее повести, чем «Жизнь поэтов» доктора Джонсона!!.»

И дальше он говорит, что жизнь поэта трагична еще и потому, что он «менее приспособлен выносить удары судьбы».

И вместе с тем Бернс никогда не падал духом, не отчаивался, и если он даже начинает сетовать на всякие горести, то сразу переходит на шутку. Посылая Питеру Хиллу три гинеи в счет долга, он пишет целый монолог о Бедности — «сводной сестре Смерти и двоюродной тетке Ада» — и, понося всех богачей, «коронованных гадов» и «чад порока», добавляет:

«Пускай святоши говоряг что угодно, а по мне хороший залп ругани и проклятий — то же самое для души, что кровопускание из вены для тела: и то и другое приносит огромное облегчение...»

В истинном же горе, в истинной скорби он сдержан и целомудрен, как никто.

Этим летом неожиданно умер младший брат, Вильям. Бедный малый заразился «гнилой горячкой» и умер в Лондоне. Два месяца Роберт ничего не знал о брате, беспокоился о нем, писал ему письма. Джин сама отделала рюшами две хорошие тонкие рубашки: Вильям написал, что в столице носят «исключительно рубахи с отделкою на груди», и просил сестер переделать его праздничные рубахи «согласно этой моде».

Рубашки были посланы, и, наверно, Мэрдок, старый учитель Роберта, который хоронил Вильяма в Лондоне, позаботился, чтобы одну из них надели на покойника. Похороны он устроил «пристойные» и прислал Роберту изрядный счет.

А Роберт написал миссис Дэнлоп о смерти Вильяма коротко и грустно: «Ему было всего двадцать три года. Такой славный, красивый, достойный юноша...»

Осень и зима снова прошли в напряженной работе. Объезжать десять приходов в дождь и слякоть было невыносимо трудно. В сентябре Бернс попросил Грэйма помочь ему получить место в Дамфризе, не связанное с частыми разъездами. Ближайший его начальник дал о нем самый благоприятный отзыв.

«Бернс — весьма деятельный, исполнительный и старательный человек, относится с самым пристальным вниманием к своим обязанностям (чего, кстати, я не ожидал от столь необычного Гения)... и, несмотря на малый опыт, он, как вы отлично понимаете, способен преодолеть любые трудности, какие могут представиться в теории или практике нашей профессии... Короче говоря, он вполне достоин вашей дружеской помощи...»

И акцизный чиновник Роберт Бернс получил новое, более выгодное место: он был назначен инспектором так называемого «третьего района» города Дамфриза.

Теперь ему приходилось выезжать не так часто — и только в особых случаях.

Весной 1791 года Бернс обратился к своему хозяину мистеру Миллеру с просьбой разрешить ему передать аренду Эллисленда кому-нибудь другому: ему самому уже совершенно не хватало времени на фермерские работы, да и деньги кончались. А сделать надо было еще очень много.

Миллер категорически отказался от такого предложения: он вообще решил продать ферму. Он предложил Бернсу собрать урожай к осени этого года и затем, получив «отступное», отказаться от аренды.

«Если я на этом потеряю только сто фунтов, но зато избавлюсь от проклятой фермы, я буду счастлив», — писал Бернс миссис Дэнлоп, прося ее пока об этом никому не говорить: он знал, что не виноват в крахе всех своих планов, знал, что он и Джин и все его домочадцы работали не за страх, а за совесть. Он

знал, что, будь у него свободные деньги и кредит в банке, он вел бы хозяйство так, что семья могла бы жить безбедно.

Но откуда взять деньги, когда жизнь дорожает, а жалованье акцизного не увеличивается?

О том, чтобы зарабатывать деньги поэтическим трудом, Бернс и не помышлял... По-прежнему Джонсон печатал его песни бесплатно и безымянно, по-прежнему «никто не подал руки поэту, не поддержал и не ободрил его».

Драмы, комедии, критические статьи, большая поэма «Путь поэта» так и остались ненаписанными.

Бернс знал, что это его последняя весна в Эллисленде. И в песнях тех дней так белеет березовая кора под мартовским солнцем, так распускаются почки и поют птицы, что чувствуешь — поэт прощается с прекрасными берегами Нита.

Весной пришла печальная весть: возвращаясь из-за границы, умер лорд Гленкерн. Бернс всегда помнил о добре, которое ему сделали. Он написал «Жалобу на смерть лорда Гленкерна», где среди выспренних и риторических строк есть простые слова печали и благодарности.

Но еще больше, чем смерть Гленкерна и прощание с Эллислендом, Бернса угнетала забота о близких: Джин должна была родить в апреле — и Анна Парк уехала к своим родным, чтобы никто не знал о том, что и она ждет ребенка.

В конце апреля, когда Джин кормила новорожденного сына — его назвали Вильям Николь Бернс в честь старого друга — «упрямого сына латинской прозы», — Роберт рассказал жене, что Анна умерла от родов и у ее родных осталась девочка — такая же черноглазая, как все дети Роберта.

Джин молча посмотрела в глаза мужу, потом тихо сказала:

— Привези ее мне, я их обоих выкормлю...

(Девочку назвали Бетси. Она выросла красивой, умной, вышла замуж за хорошего человека, ткача Томсона, родила ему семерых детей.

Про Джин она сказала одному из первых биографов Бернса: «Добрей и ласковей ее не было человека на свете...»)

Осенью 1791 года Роберт Бернс, распродав весьма выгодно инвентарь, скот и урожай, навсегда распрощался с фермой Эллисленд и переехал в Дамфриз с женой и детьми.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

„ДАВНО ЛИ ЦВЕЛ ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ...“

1

Переулок, в котором Бернс нанял квартиру, официально назывался «Малым», а неофициально «Вонючим». Дом был узкий, высокий. Внизу помещалась контора, над Бернсами жил сапожник Джордж Хоу, а между двумя этажами была втиснута крошечная квартирка — две комнаты побольше и посредине не то кладовушка, не то стенной шкаф с окном. Роберт поставил к окну маленькое старинное бюро — подарок капитана Гроуза, придвинул удобное кресло, прибил полку для книг, и кладовушка стала его «кабинетом».

Джин еще кормила своих «близнецов» — Вилли и дочку Анны Парк — Бетси. Старшему — Бобби — шел шестой год, Фрэнку — третий. Надо было присматривать за ними — при доме не было ни сада, ни двора, только грязный песок на берегу реки и вонючая тесная улочка.

Не верилось, что под окнами течет тот же самый Нит. В Эллисленде река была светлой, бурливой, быстрой. А тут она разливалась широко, медленная и мутная от плававших в ней отбросов.

С фермы Джин взяла с собой «славную коровенку» — хоть молоко ребятам будет свежее. Но выясни-

лось, что пасти ее негде, и Джин со слезами дала свести ее на рынок.

Другая на ее месте, наверно, ворчала бы, сердилась... Иногда и Джин бранила Роберта — когда он не берег себя, приходил поздно или, не удержавшись, выпивал лишний стакан, хотя и знал, что ему потом будет плохо.

Но Роберт никогда не сердился на Джин, ни разу не сказал ей грубого слова, всегда был готов помочь.

Часто он писал не у себя в кабинете, а на кухне за большим столом, держа на коленях Фрэнка и присматривая за «близнецами», спавшими в одной люльке. Бобби сидел тут же, выводя первые свои каракули.

И Джин была счастлива.

А Роберт, рассказывая о том, какая у него здоровая и веселая жена, пишет миссис Дэнлоп, что в высшем кругу, разумеется, существуют женщины «с изысканным умом и очаровательной утонченностью души», и для всякого такая подруга была бы «неоценимым сокровищем», если эти ее качества «не запятнаны притворством и всяческим ломаньем и не испорчены прихотями и причудами. Но так как сии ангелоподобные существа, к сожалению, встречаются чрезвычайно редко во всех сферах и слоях общества и уж совершенно недоступны моему скромному кругу, то мы, простые смертные, радуемся другому роду совершенства в женщине. Прекрасное лицо и фигура у нас встречаются не реже, чем в любой среде. Врожденная грация, безыскусная скромность и незапятнанная чистота, природный ум с зачатками хорошего вкуса, бесхитростная душа, не ведающая и даже не подозревающая о кривых путях себялюбивого, корыстного, лукавого света, и, наконец, самая главная прелесть — покорный и ласковый характер, щедрое горячее сердце, благодарное за нашу любовь и отвечающее на нее столь же пылко, и при этом крепкое отличное здоровье, на что в вашем высшем обществе и надеяться нельзя, — вот чудесные качества милой женщины в моей смиренной жизни»...

Впрочем, жизнь в Дамфризе оказалась вовсе не такой уж «смиренной»: тут Бернс действительно почувствовал, какое место он занимает в обществе. И хотя ему нельзя было приглашать людей к себе, как приглашал он в Эллисленд, но сам он почти все вечера проводил либо у Ридделов, либо в одной из таверн, где обычно по вечерам собирались его знакомые.

По-прежнему его связывала тесная дружба с капитаном Ридделом и некоторыми его друзьями. Ридделл был горячим приверженцем всяческих реформ, убежденным вигом. Его друзья откровенно говорили о том, что пора и в Шотландии последовать примеру французов. Слова о свободе, о всеобщем избирательном праве не сходили с уст либерального капитана. Бернс написал для него шуточную поэму «О лисице, которая сорвалась с цепи и убежала от м-ра Риддела из Гленриддела»:

Свободу я избрал сюжетом —
Не ту, любезную поэтам,
Язычницу с жезлом и в шлеме,
Воспетую в любой поэме
Былых времен. Совсем иной
Встает свобода предо мной.

Она мне чудится игривой
Кобылкой юной, легкогривой.
Как яблоко, она крепка,
Как полевая мышь, гладка,
Но неумелому жокею
На всем скаку сломает шею
И, закусивши удила,
Умчится дальше, как стрела.

Теперь, перевернув страницу,
Я расскажу вам про лисицу,
Как меж родных шотландских скал
Охотник рыжую поймал
И как дала дикарка ходу
Из душной клетки на свободу.

Гленриддел, убежденный виг!
Зачем ты, изменив на миг
Своим идеям, дочь природы
Лишил священных прав свободы?..

Дальше поэт описывает, как хитрая лиса внимательно прислушивается к разговорам Риддела с друзьями:

Гленриддел, честный гражданин,
Своей отчизны верный сын,
Прогуливаясь у темницы
Сидящей на цепи лисицы,
Ты день за днем, за часом час
С друзьями обсуждал не раз
Великие идеи века —
Права на вольность человека
И право женщины любой
Свободной быть, а не рабой...

Казалось бы, стихи вполне безобидные. Но после шутливых «экскурсов» в историю, где римляне изображаются в виде тори, а спартанцы — в виде вигов, идут строки о современности, и тут Бернс пишет:

Однако надо знать и честь,
Примеров всех не перечесть,
Но из плеяды знаменитой
Мы упомянем Билли Питта,
Что, как мясник, связав страну,
Распотрошил ее казну.

Для человека, находящегося на службе у «Билли Питта», это были, мягко говоря, не совсем осторожные слова. Но Бернс доверял Ридделу — и не зря: несмотря на то, что перед самой смертью Риддела их разлучила глупейшая ссора, о которой мы расскажем дальше, Риддел был верным другом поэту. Если бы не он, до нас не дошли бы не только многие стихи Бернса, но и многие его юношеские письма и дневники. Бернс переписывал для Риддела все, что ему казалось интересным, и эта рукопись дошла до нас в отличной сохранности.

Бернс знал, что Риддел ее сбережет. На заглавном листе он написал:

«Рукопись хранится так, что она, быть может, останется и предисловие будет прочитано, когда рука, писавшая эти строки, и сердце, диктовавшее их, рассыплются прахом.

Пусть же знают, что на этих страницах выражены истинные чувства человека, который вообще льстил людям редко, а тем, кого он любил, никогда».

В ноябре 1791 года, вскоре после переезда в Дамфриз, Бернс поехал в Эдинбург. Эта поездка оказалась очень грустной. В эти декабрьские дни Бернс снова встретился со своей старой любовью и понял, что Кларинда его любит и будет любить до самой смерти...

Оба знали, что расстаются навеки: Кларинда уже заказала место на корабле — она уезжала на Ямайку к «раскаявшемуся» мужу, а Роберт надолго возвращался домой, в Дамфриз.

Эти две недели были для Бернса прощанием с прошлым, с самой нелепой и самой мучительной любовью его жизни.

Уезжая, он снова с каждой станции писал, но уже не «Кларинде», а «милой, вечно мне дорогой Нэнси», шесть отчаянных, влюбленных — и безнадежных писем.

В последнее письмо он вложил три песни.

Одна — о мрачном декабрьском вечере, когда он простился с милой Нэнси навеки. Вторая — о чувствительных сердцах, которым суждено жить розно.

И третья — самая лучшая — об их любви:

Поцелуй — и до могилы
Мы простимся, друг мой милый.
Ропот сердца отовсюду
Посылать к тебе я буду...

Не любить бы нам так нежно,
Безрассудно, безнадежно,
Не сходиться, не прощаться,
Нам бы с горем не встречаться! *

Будь же ты благословенна,
Друг мой первый, друг бесценный,
Да сияет над тобою
Солнце счастья и покоя...

Из Эдинбурга Бернс уехал, еще больше закрепив свою дружбу с Александром Каннингемом, Вильямом Смелли и Питером Хиллом.

* Эти строки перевел Лермонтов как эпиграф к поэме Байрона.

В долгих ночных бдениях Вильям Смелли обсуждал с Бернсом политическое положение во Франции и в Великобритании, и всякий раз его поражали глубокие знания и блестящий ум Бернса. Перед отъездом Питер обещал ему посылать с оказией любые книги. А славный добродушный Каннингем, который так изумительно пел все песни Бернса, познакомил его со своим другом Джоном Саймом, тот собирался переезжать в Дамфриз, где ему дали место инспектора гербового сбора.

Сайм решил купить под Дамфризом небольшой дом и перевезти туда свои книги, коллекции и гербарии. Он заранее просил Бернса приезжать к нему в любое время, добавив, что будет беречь и хранить каждую строку песен и стихов, написанных рукою Бернса.

Этих стихов накопилось уже очень много.

Часть из них вошла в три тома «Музыкального музея» Джонсона.

Остальные лежали в списках у друзей и у самого автора.

А что делает все эти годы мистер Вильям Крич, так дешево купивший у Бернса драгоценное авторское право?

Отношения с Кричем у поэта были более чем холодные. Еще в октябре, перед самым переездом в Дамфриз, Бернс писал Питеру Хиллу, сообщая, что не ответил — и не желает отвечать! — на письмо Крича:

«Кстати, я дьявольски здорово отомстил Кричу. Он написал мне изящное, тонкое письмо с сообщением, что собирается печатать третье издание, и так как он «по-братски» заботится о моей славе, то желает добавить все новые стихи, которые я с тех пор написал, за что я буду щедро вознагражден двумя-тремя экземплярами для подарка моим друзьям!!!»

Прошло почти полгода — и Крич снова написал Бернсу, упрекая за молчание и прося его прислать

новые вещи. Теперь он обещал уже не два-три, а «сколько понадобится» экземпляров нового издания стихов, а также какие-нибудь нужные Бернсу книги.

О том, чтобы оплатить новые стихи, Крич и не заикался.

Перспектива увидеть свои стихи в новом, двухтомном и «элегантном» издании, как обещал Крич, была весьма соблазнительна. 16 февраля 1792 года Бернс написал Кричу так:

«Сэр,

Только что получил ваше письмо, и если бы привычка, как всегда, не притупляла совесть, моя преступная беззаботность испортила бы мне жизнь: я давно должен был написать вам по этому самому делу.

Теперь попробую говорить на языке, которым я не очень владею. Стану, насколько могу, деловым человеком.

Думаю, что при самом грубом подсчете я смогу добавить к вашим двум томам примерно около пятидесяти страниц нового материала. Притом я должен очень многое исправить и переделать. Вы сами понимаете, что эти новые пятьдесят страниц принадлежат мне столь же безоговорочно, как резиновый наконечник, который я сейчас надел на палец, порезавшись при чинке пера. Несколько весьма мне нужных книг — вот вся компенсация, которую я прошу от вас, не считая экземпляров нового издания, — они мне понадобятся, чтобы дарить мою книгу в знак дружбы или благодарности».

Далее Бернс указывает, кого из друзей привлечь к работе над переизданием:

«Я представлю им свою рукопись на просмотр, а также сообщу, какие авторы мне нужны, — пусть скажут, на какую сумму я могу заказать вам книги. Если мне присудят хотя бы сказку про Мальчика с Пальчика — я и то буду доволен.

Если возможно, я хотел бы получить корректуры через нашу дамфризскую почту, которая прибывает три раза в неделю, так как я непременно хочу все править сам».

Этот год — 1792 — вообще начался удачно: в феврале Бернс получил повышение по службе. Его назначили одним из инспекторов дамфризского порта, где шла ожесточенная борьба с контрабандистами и где можно было рассчитывать на премиальные. На обеде, устроенном сослуживцами в честь нового инспектора, Бернс был очень весел и на просьбу друзей сочинить что-нибудь про них, про акцизных, спел придуманную тут же песенку:

Со скрипкой черт пустился в пляс
И в ад умчал акцизного,
И все кричали: — В добрый час!
Он не вернется сызнова!

Мы варим пива лучший сорт
И пьем, справляя тризну.
Спасибо, черт, любезный черт, —
К нам не придет акцизный!

Есть пляски разные у нас
В горах моей отчизны,
Но лучший пляс, чертовский пляс
Сплясал в аду акцизный!

Вскоре Бернс отличился в новой своей роли. 29 февраля в заливе была замечена подозрительная шхуна. С берега таможенники следили за судном, которое не отвечало на их сигналы. Торопясь уйти, судно село на мель. Команда у контрабандистов была, очевидно, многочисленная и хорошо вооруженная, поэтому из Дамфриза вызвали отряд драгун. Когда они прибыли, Бернс во главе отряда, с саблей наголо первым пошел вброд и первым взобрался на палубу. Пуля просвистела мимо его уха, но контрабандисты, очевидно испугавшись большого отряда, перестали стрелять и сдались. Судно было захвачено, и весь контрабандный товар — оружие и боеприпасы — отвезен в дамфризскую таможню и продан с аукциона.

На аукционе Бернс купил в качестве трофея четыре мортиры. Об этих мортирах со шхуны «Розамонда» сохранилось предание, будто Бернс отослал их в подарок французскому народу, в помощь революции. О том, что он их действительно купил за четыре фунта стерлингов, есть документы. О том, что он их хотел отослать и написал письмо французскому конвенту, есть подтверждение в устных рассказах его сослуживцев. Говорят, что эти мортиры были захвачены в Дувре и во Францию не попали.

Во всяком случае, этот поступок Бернсу припомнили очень скоро — в декабре того же 1792 года.

А сейчас цвела весна, и в природе и душах людей: Франция стойко боролась за свободу, и лучшие люди Шотландии говорили о том, что назрела необходимость реформ и у них в стране. Один из представителей Шотландии в парламенте, Демпстер, человек независимого ума и блестящего красноречия, требовал всеобщего избирательного права «для трудолюбивого фермера, для рабочих и ремесленников, заслуживших эту привилегию больше, чем знатный лорд, пьяный лэрд и еще более пьяный чиновник».

На стороне знати и крупных собственников выступил заядлый консерватор, публицист Эдмунд Берк. Для него народ был «свинской толпой», для него французы были «бунтовщиками», «преступниками, восставшими против законного монарха». Он требовал, чтобы со всей суровостью пресекалась любая попытка перенести «французскую заразу» на Британские острова.

И в ответ ему прогремел на всю Великобританию ответ Томаса Пэйна — его книга «Права человека».

Томас Пэйн родился в Англии в 1737 году. Он жил в страшной бедности, работал в мастерской, где делали фижмы и корсеты, потом служил мелким акцизным чиновником. Он был нелюдим, молчалив, скрытен. Но его сжигала одна страсть — он хотел писать на пользу человечеству.

«Моя родина там, где борются за свободу!» — сказал он, когда американские колонисты восстали

против английского короля. Он пришел к американскому ученому Веньямину Франклину, когда тот приехал в Лондон. Пэйн сказал, что хочет «служить своим пером делу Свободы», и Франклин рекомендовал его своему зятю — редактору газеты: он не знал, на что способен этот странный англичанин, но не мог устоять перед его упрямством, перед страстным его желанием отдать свои силы тому же делу, за которое боролся и сам Франклин.

И Томас Пэйн уехал в Америку.

...В войсках Вашингтона начиналось разложение. Трудно было поднять необученную, неподготовленную, созданную наспех армию против регулярных войск короля Георга. Но ее сумели поднять, и этому не в малой мере помогли прокламации и памфлеты, написанные Томом Пэйном.

«Се времена, испытующие души людские!» — писал он.

Потом в Америке наступил мир. А там, где не было борьбы, не было и места для Тома Пэйна. Он вернулся в Европу, где уже все бурлило и кипело, вернулся таким же нищим и неукротимым, как в те дни, когда он жил в дырявой палатке и писал свои памфлеты на барабане под грохот сражения.

В Лондоне он нашел добрых друзей. Он работал у типографа Джозефа Джонсона, где собирались многие прогрессивные люди Лондона. Пэйн встретился там с писателем Вильямом Годвином и его женой, Мэри Уолстонкрафт.

Мэри и Вильям были настроены чрезвычайно революционно. Они писали книги, переводили труды французских просветителей, собирали вокруг себя передовых людей. Мэри познакомила Пэйна с гравером, иллюстрировавшим ее книги. Это был очень странный человек, с огромным лбом и выпуклыми светлыми глазами. Он говорил быстро, отрывисто и не всегда понятно. Пэйну он очень понравился. Его стихи, то простые, как детская песенка, то сложные и непонятные, как пророчества Апокалипсиса, свидетельствовали об огромном поэтическом даре. Они печатались редко и мало. Впрочем, в типографии

Джозефа Джонсона начали было набирать его большую поэму «Французская революция», но дальше гранок дело не пошло. Набор был рассыпан, когда усилились репрессии за «крамольные писания».

Звали этого человека Вильям Блэйк.

Блэйк и Пэйн стали друзьями. Блэйк помог Тому Пэйну напечатать его книгу «Права человека». Это был ответ на выступления Эдмунда Берка. Берку ответил представитель той самой «свинской толпы», которую Берк так поносил, требуя держать ее в вечном страхе и повиновении.

Небольшая книга Пэйна разошлась молниеносно и тут же была запрещена правительством. Но уже нельзя было конфисковать все экземпляры: везде появились оттиски на папиросной бумаге, рукописные списки.

Как эта книга попала в руки Бернса?

Кто и как переслал ее в Дамфриз? На это нет ответа: сожжены вместе со многими другими «крамольными» письмами и те письма, которые писала Бернсу Мэри Уолстонкрафт, может быть пересылая ему книгу Пэйна.

В один из майских дней 1792 года Блэйк, зная, какая опасность грозит Пэйну за его антиправительственные речи, уговорил его бежать за границу. Блэйк сам проводил Пэйна в порт, где успел посадить на уходивший корабль. Через двадцать минут после их отъезда за Пэйном в типографию пришла королевская полиция: он обвинялся в государственной измене и подрывной деятельности против короля. Но Пэйн уже плыл во Францию, где его встретили как лучшего друга.

После этого чтение книги Пэйна стало государственным преступлением.

Держать экземпляр этой тоненькой книжки у себя дома Бернс не хотел: кто-нибудь мог случайно увидеть и донести.

А уничтожить ее рука не подымалась.

Он отнес брошюру наверх к своему соседу, сапож-

нику Джорджу Хоу. Джордж посмотрел на него с улыбкой и показал целую пачку таких же книжек: на днях он получил их из «одного надежного места» и, конечно, постарается, чтобы их прочло побольше людей.

Бернсу, наверно, было неловко и стыдно, что он прячет эту книжку. Но он унес в себе мысли Пэйна, так совпадавшие с его собственными, — мысли о равенстве людей, о великом звании Человек, которое никто не может ни подарить, ни отнять, о том, что каждый имеет право на труд, на мир, на свободу.

И, может быть, именно оттого, что уже вышел в свет приказ короля «О различных подрывных и бунтарских писаниях», где людям свободного слова грозили всяческими карами, Бернс написал песню, ставшую «Марсельезой» простого люда.

«Это две-три весьма неплохие прозаические мысли, переложенные в стихи», — писал он эдинбургским друзьям, посылая им рукопись с оказией.

И тот, кто читал книгу Пэйна, сразу узнавал, чьи «весьма неплохие мысли» пересказал Бернс такими простыми, поистине народными словами:

Кто честной бедности своей
Стыдится и все прочее,
Тот самый жалкий из людей,
Трусливый раб и прочее.

При всем при том,
При всем при том
Пускай бедны мы с вами,
Богатство —
Штамп на золотом,
А золотой —
Мы сами!

Мы хлеб едим и воду пьем,
Мы укрываемся тряпьем
И все такое прочее,
А между тем дурак и плут
Одеты в шелк и вина пьют
И все такое прочее!

При всем при том,
При всем при том

Судите не по платью.
Кто честным кормится
трудом, —
Таких зову я знатью.

Вот этот шут — природный лорд,
Ему должны мы кланяться.
Но пусть он чопорен и горд,
Бревно бревном останется!

При всем при том,
При всем при том,
Хоть весь он в позументах, —
Бревно останется бревном
И в орденах и в лентах!

Король лакея своего
Назначит генералом,
Но он не может никого
Назначить честным малым.

При всем при том,
При всем при том
Награды, лесть
И прочее
Не заменяют
Ум и честь
И все такое прочее!

Настанет день, и час пробьет,
Когда уму и чести
На всей земле придет черед
Стоять на первом месте.

При всем при том,
При всем при том
Могу вам предсказать я,
Что будет день,
Когда кругом
Все люди станут братья!

Конечно, не могло быть и речи о том, чтобы дать эти стихи в новое издание Крича. Нельзя было напечатать и другие стихи — те, в которых поэт откровенно призывал к бунту:

Зачем в расцвете сил нести
Нужды и рабства бремя?
К оружью, братья! Счет свести
Давно приспело время.

Пусть нам твердят, что короли
По правде правят нами, —
Мы сами троны возвели
И разнесем их сами.

Смерть иль свободу обрести —
Для нас иного нет пути!

Но если нельзя было это напечатать, то можно было читать друзьям в «Глобусе», за стаканом эля, у себя дома или на квартире у сапожника Джорджа Хоу.

Наконец — и это было самое приятное — стихи с восхищением слушала Мария Бэнкс Риддел — восемнадцатилетняя англичанка, дочь губернатора одной из колоний, талантливая, остроумная и живая женщина и при этом ярая республиканка.

Муж Марии, туповатый, избалованный красавец Вальтер Риддел, брат капитана Риддела, вечно разъезжал в связи с какими-то сложными финансовыми делами: он уже промотал одно огромное наследство и теперь, купив имение около поместья брата и отвезя туда молоденькую жену и новорожденную дочку, занимался какими-то темными спекуляциями, проматывая и приданое Марии.

Мария совершенно не интересовалась делами и деньгами. Она была поглощена литературой, политикой, встречалась в Лондоне «с очень приятной компанией санкюлотов *», читала все французские газеты и запрещенные книги, которые ей посылали друзья под видом предметов туалета. Мария была поражена, встретив в глухой шотландской провинции «настоящего» поэта — и какого поэта! К тому же он оказался превосходным, остроумным собеседником и одним из образованнейших людей в округе.

«В нем было какое-то необъяснимое колдовство», — писала она впоследствии, и, вероятно, ни с кем из своих друзей Бернс не был так откровенен, так задушевно прост, как с Марией. Он впервые встретил женщину другого круга, которая была совершенно

* Так называли французских патриотов и революционеров (буквально: «голоштанники»).

лишена «кривлянья и притворства». С Марией можно было откровенно говорить о политике, давать ей читать свои старые дневники, переписанные для Риддела, показывать стихи, хотя она, как англичанка, и не всегда понимала прелесть шотландской песни.

Бернс посылает Марии стихи. «Что скажешь о них Ты — мой первый и прелестнейший критик?» — пишет он и подписывается: «Твой навеки». Он достает ей французские перчатки — и в сопроводительном письме пишет о «храбром народе», изготовившем их.

Романа между ними нет — Роберт понимает, что тут отношения должны быть иными, — но они «собратья по духу», и поэтому Роберт обращается к Марии на «ты» — как, по ее рассказам, в Париже обращаются друг к другу все «друзья свободы».

По требованию Марии Роберт пишет ей рекомендательное письмо к Смелли. Он боится, что «старый грешник» не очень-то ласково встретит взбалмошную и своевольную молодую особу, на которую нашла блажь стать писательницей. Но Бернс и сам считает Марию талантливой да и не может ей отказать ни в чем.

«Сажусь за письмо, мой дорогой сэр, чтобы рекомендовать вам молодую даму, и притом даму, принадлежащую к самому высшему кругу», — пишет Бернс и начинает умасливать своего сердитого друга:

«Что за комиссия! Рекомендовать ее вам, человеку не более благосклонному к породе животных, именуемых «молодые леди», чем к породе животных, называемых «молодые джентльмены». Знаю, что вы презираете Модный Свет за то, что он, как безмозглый художник, старается так расставить и распределить людей, чтобы явные дураки и бессовестные мерзавцы стояли на первом плане его картины, а умные люди, люди скромные, таились в самой глубокой тени. Но миссис Риддел настолько интересная личность, что даже для вас, натуралиста и философа, знакомство с ней будет большим приобретением.

Постараюсь рассеять все предубеждения, с какими обычно подходят к веселым, живым восемнадцатилетним девочкам, слишком часто того заслу-

живающим. Впрочем, буду беспристрастен: у этой леди есть одна злосчастная черта—вы это сразу заметите, так как она чрезвычайно любит выставлять этот недостаток напоказ, но вы ее легко простите, ибо и за вами водится тот же грех: она совершенно не умеет скрывать свои чувства и сразу показывает, кого она не любит или презирает и кого уважает и ценит».

Бернс напрасно беспокоился, что Смелли рассердится на него за навязанное ему знакомство с Марией. Смелли был достаточно проницателен, чтобы разгадать за светскими манерами и беспечной откровенностью Марии Риддел ясный ум и широкую душу.

Он не только взялся издавать и редактировать ее книгу о путешествии в Англию с Антильских островов, но и стал ее верным другом и поклонником.

Мария с торжеством сообщила Роберту, что Смелли скоро приедет к ней в гости и что они проводили целые вечера в задушевных беседах.

Бернс был этому очень рад: для него общество Марии стало необходимым, хотя он почти не писал ей стихов, кроме довольно банального поздравления с днем рождения и двух-трех малоинтересных песен. Его гораздо больше вдохновляла дочь одного из окрестных фермеров, семнадцатилетняя девушка с льняными локонами, синими глазами и тонкими темными бровями. Он обращался с ней по-отечески нежно и прозвал ее «Хлорис», как бы подчеркивая их идиллические отношения. Ей посвящены знаменитые песни «Малютка в локонах льняных», «Крэгбернский лес» и другие.

Эти песни Бернс писал уже для нового собрания песен, в котором он стал принимать участие с осени этого года.

Джордж Томсон, затеявший это издание, был совершенно не похож на малограмотного, добродушного гравера Джеймса Джонсона, который к тому времени, как мы видели, очень охладел к изданию своего «Музыкального музея» и, несмотря на «бессмертие», обещанное ему Бернсом, с трудом дотягивал шестой том. Но Джонсон был человек простой, он

любил простую песню и отлично понимал, чем он обязан Бернсу, который фактически стал составителем, автором и редактором сборников, выходивших под именем Джонсона—и без имени Бернса.

Томсон же был человек образованный, с весьма утонченным вкусом. Он задумал свой сборник «Избранные шотландские мелодии» как «образцовое издание изящных песен, с аккомпанементом, аранжированным Джозефом Плейелем, одним из наиприятнейших из ныне здравствующих композиторов», писал он Бернсу. Томсон считал, что «прелесть наших родных мелодий» тускнеет от «бессмысленного набора слов» или текста «столь вольного и неделикатного, что в пристойном обществе его петь невозможно». Он просил мистера Бернса дать согласие «написать двадцать или двадцать пять песен на те мелодии, кои я вам не замедлю переслать», добавив, что «снять упрек в непристойности наших песен будет легкой задачей для автора «Субботнего вечера поселянина».

За это он готов был заплатить «любую умеренную цену, какую вам угодно будет спросить».

Бернс ответил ему немедленно огромным и подробным письмом. Он обещает «напрячь свои способности до предела, внести в работу весь свой энтузиазм». Конечно, он заранее оговаривает, что если Томсон хочет получить английские стихи, то тут Бернс участвовать не будет: «В простоте баллады, в трогательности песни я могу находить удовольствие только, если мне позволят хотя бы примешивать наш родной язык».

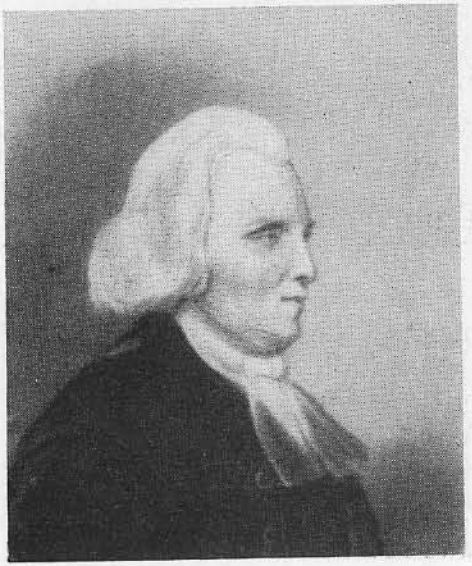
«Что же касается до вознаграждения,—пишет он далее,—вы можете считать, что моим песням либо цены нет, либо они вовсе ничего не стоят, так как они наверняка подойдут под одно из этих определений. Я соглашаюсь участвовать в ваших начинаниях с таким искренним энтузиазмом, что говорить о деньгах, жалованье, оплате и расчетах было бы истинной проституцией души! Оттиск всех тех песен, которые я сочиню или отредактирую, я приму как большое одолжение. Ну, «бог в помощь!», как говорят в деревне во время полевых работ!»

С этого письма начинается обширнейшая переписка Бернса с Томсоном. Если бы привести все эти письма, то вышел бы настоящий научный труд по фольклору, полный удивительного проникновения в характер народной музыки, в ее национальные особенности, в то, что Бернс называет «букетом песни», как говорят про «букет» вина. Он непрестанно борется с Томсоном, которому хочется пригладить, причесать, приукрасить природную красоту, грубоватую непосредственность и непритворную искренность шотландской песни. Томсон настолько туг на ухо, что ему все время приходится втолковывать, какие слова к какой музыке подходят, и доказывать, что нельзя портить свободный, своеобразный ритм старинной мелодии, .вгоняя ее в установленные рамки. Бернс приводит примеры с вариантами слов, объясняет, как и почему «в шестом такте второй части, там, где всегда повторяются три слога, можно на четыре шестнадцатых, которые обычно поются как один слог, с успехом спеть два, вот так», и дальше идет нотная строка, написанная изящным, четким почерком Бернса.

Переписка с Томсоном разрастается, корректуры Кричу только что отосланы, хозяин квартиры в Малом переулке обещает предоставить семье Бернса другое, более удобное жилье в лучшем районе — словом, жизнь наполнена. Можно заниматься любимым делом, вокруг — добрые друзья. Недавно Вилли Николь стал владельцем небольшого поместья, и Бернс с одним из сослуживцев Николя приехал к нему на новоселье. И снова песня рассказывает о радости встречи с товарищами:

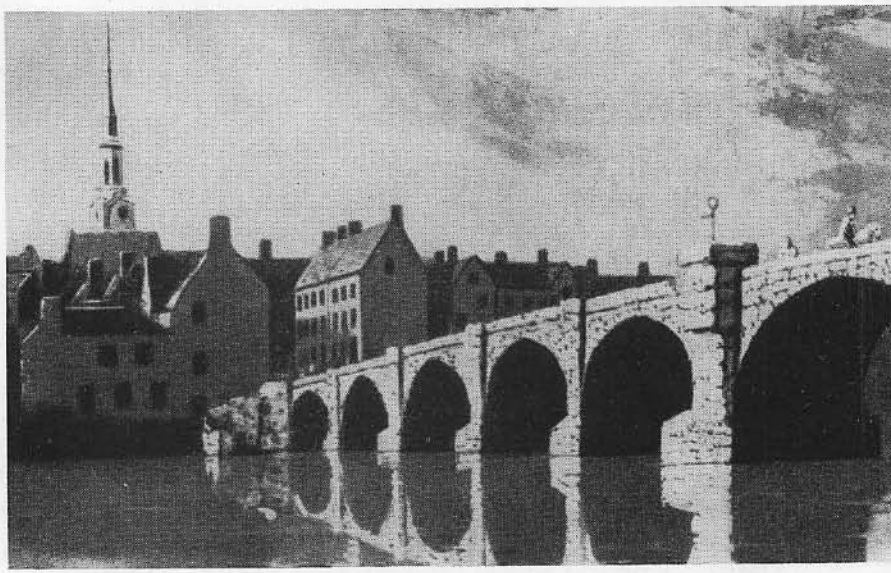
Наш Вилли пива наварил
И нас двоих позвал на пир.
Таких счастливых молодцов
Еще не знал крещеный мир!

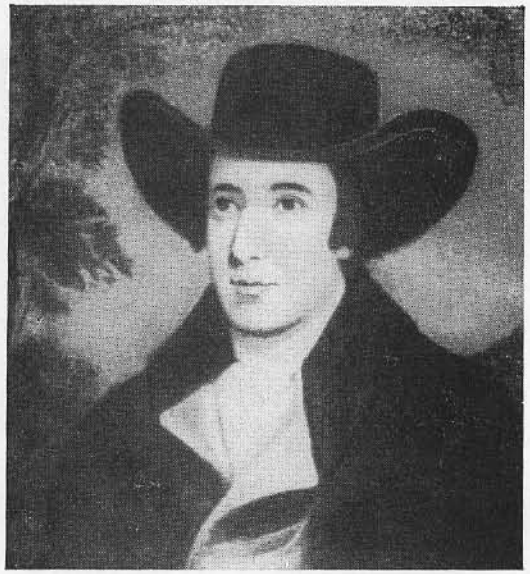
Никто не пьян, никто не пьян,
А так, под мухою чуть-чуть.
Пусть день встает, петух поет,
А мы не прочь еще хлебнуть!..



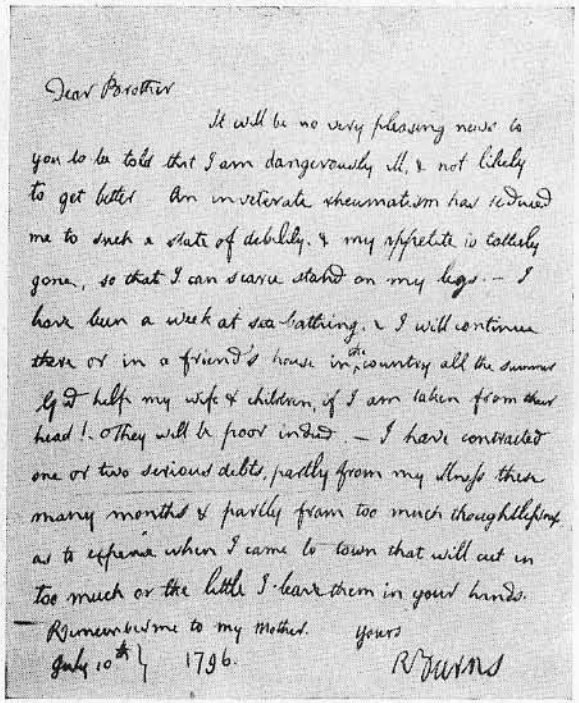
Доктор Блэклок, слепой поэт.

Места, где путешествовал Бернс (Северная Шотландия).





Гильберт Бернс, брат поэта.



Dear Brother

It will be no very pleasing news to you to be told that I am dangerously ill, & not likely to get better. An inveterate rheumatism has reduced me to such a state of debility, & my appetite is totally gone, so that I can scarce stand on my legs. — I have been a week at sea bathing, & I will continue there or in a friend's house in the country all the summer if it help my wife & children, if I am taken from their head! — They will be poor indeed. — I have contracted one or two serious debts, partly from my illness these many months & partly from too much thoughtlessness as to expence when I came to town that will cut in too much on the little I leave them in your hands. — Remember me to my Mother. Yours

July 10th 1796. R Burns

Последнее письмо Бернса брату.

Что это — старая луна
Мигает нам из-за ветвей?
Она плывет, домой зовет...
Нет, подождать придется ей!..

В сентябре в гости приезжает Вильям Смелли. Ему понравилась Джин, хотя он и говорит Марии Риддел, что поэты в описаниях своих жен «допускают некоторые поэтические вольности». Правда, Джин растолстела — она опять ждет в ноябре ребенка. Но Смелли покорил ее приветливый, ровный нрав и восторженная любовь к мужу. Джин считает вполне естественным, что Роберт всегда окружен умными людьми, что к нему обращаются десятки знакомых с просьбой прочесть их стихи, помочь устроиться на работу, а то и просто дать в долг деньги. Роберт никогда никому не отказывает, он пишет рекомендательные письма, он дает поручительство за одного из соседей, запутавшегося в долгах, он всегда готов прийти на помощь советом, деньгами, работой. Он с упоением пишет песни для последнего тома Джонсона и для первого выпуска томсоновского «Собрания», он хорошо и добросовестно выполняет свои служебные обязанности.

А по вечерам он пропадает в театре. Труппа Сазерленда теперь играет в новом помещении Королевского театра. Бернс старается не пропускать ни одного спектакля с участием прелестной Луизы Фонтенель. Он посылает ей стихи с комплиментами, а если не может попасть в театр из-за неотложных дел, пишет: «О, как завидна ваша участь! Вы сейчас будете играть... Но, радуясь с теми, кто радуется, не забудьте поплакать с теми, кто плачет, и пожалейте вашего печального друга Роберта Бернса».

Но в эту осень Роберт редко печалится: в общем он очень доволен жизнью. Больше всего радости доставляют ему его песни и его дети: он пишет миссис Дэнлоп, что ее крестник Фрэнк «великолепно растет и развивается, он настоящий дьяволенок. Хотя он на два года моложе своего брата, но одолел его совсем. Правда, Роберт самое кроткое и ласковое суще-

ство на свете. У него изумительная память, и его школьный учитель им поистине гордится...»

Между тем в стране идет ожесточенная борьба за реформы. В Эдинбурге начинает выходить новая, чрезвычайно свободомыслящая газета, и Бернс не только подписывается на газету — он посылает ее издателю пламенное письмо, где поздравляет его с выходом нового органа печати и просит «бесстрашно разоблачать чудовищную коррупцию того, что зовется Политикой и Государственной властью».

Он чувствует себя свободным гражданином своей страны, растит отличных сыновей, дружит с лучшими людьми.

Но он забывает, что он служащий правительства Питта, что он не знатный джентльмен, а крестьянин и что независимость его только кажущаяся.

Об этом ему резко и грубо напомнили в последний день 1792 года — в канун тех январских дней, когда с плахи покатилась голова французского короля.

2

Генеральный инспектор и член Совета акцизного управления мистер Вильям Корбет, человек немолодой и суховатый, был далек от политики, ревностно относился к служебным делам и совсем не читал стихов.

Когда по просьбе своего сослуживца Роберта Грэйма Корбет принял на службу в акциз поэта Бернса, «не имеющего никакого опыта», он сначала отнесся к новому чиновнику с некоторым недоверием. Но непосредственные начальники Бернса отзывались о нем отлично, и в книге характеристик служащих акцизного управления появилась новая запись: «Бернс. Поэт. Справляется неплохо».

Корбет одобрил перевод Бернса в Дамфриз и внес его имя в список тех, кто подлежал повышению. Роберт Грэйм очень уговаривал Корбета назначить Бернса на должность инспектора таможни в Лейт с окладом в двести фунтов (сейчас Бернс получал семьдесят фунтов в год и кое-какие премиальные), но Корбет считал, что это преждевременно, хотя и вполне возможно в будущем.

По совету Грэйма он прочел стихи Бернса, и они ему очень понравились.

Он даже подумал, не ускорить ли перевод Бернса на более высокооплачиваемую должность.

Но со следующей почтой мистер Корбет получил из Дамфриза длинный донос на своего подчиненного.

В доносе говорилось, что Бернс — вольнодумец, что он отправил во Францию четыре мортиры в помощь бунтовщикам и убийцам, что в театре, когда офицеры его величества потребовали, чтобы музыканты сыграли гимн, из партера, где сидел Бернс, раздались крики: «Играйте лучше «Ça ira» *. Потом между зрителями началась драка, и, наконец, когда музыканты действительно заиграли национальный гимн, Бернс сидел, «не снимая шляпы и скрестив руки». Кроме того, добросовестный доносчик сообщал, что Бернс позволяет себе всякие вольные речи и вольные тосты. Так, например, недавно в присутствии многих джентльменов «в ответ на предложение одного из них выпить за здоровье нашего премьера мистера Вильяма Питта Бернс сказал, что лучше пить за более достойного человека — Джорджа Вашингтона» (причем доносчик подчеркивал, что мистер Бернс в данном случае был совершенно трезв).

В доносе писалось и о «запрещенных крамольных книгах», содержание которых Бернс пересказывает в обществе, о его письме издателю «Эдинбургской газеты» и о том, что он стал подписчиком этого «подрывного листка». В общем, по словам старательного автора бумаги, в Дамфризе жил опаснейший крамольник, позорящий звание слуги его величества, сочувствующий французским бунтарям и, очевидно, замышляющий в Великобритании такой же переворот, какой устроили у себя французы.

Корбет взял это письмо и поехал к Грэйму. Надо было срочно решить, что же делать с этим невозможным человеком Робертом Бернсом.

Бернс узнал о доносе, вернувшись из Дэнлоп-хауза, где он прожил четыре дня.

Миссис Дэнлоп искренне обрадовалась приезду

* Революционная французская песня.

Бернса. Давно они так хорошо не беседовали, давно Бернс не чувствовал такого настоящего интереса к своим новым стихам, к своей жизни. Снова он слушал, как милые девушки поют его песни, снова серьезно толковал с майором Дэнлопом о судьбах страны, снова исповедовался хозяйке дома во всех своих «прегрешениях».

У миссис Дэнлоп на шестьдесят втором году жизни появилось какое-то старческое упрямство и убежденность в своей неизменной правоте. В одном она никак не хотела согласиться с Бернсом, и разубедить ее он не мог.

Дело в том, что две старшие дочери миссис Дэнлоп были замужем за французскими аристократами и оба зятя сейчас жили в Англии, вовремя сбежав от своих соотечественников, не очень жаловавших знать. И сколько Бернс ни доказывал, что французский народ прав, возмутившись против продажной и преступной аристократии, миссис Дэнлоп, несмотря на свои весьма либеральные убеждения, все же возражала Бернсу. Впрочем, в этот раз они меньше говорили о Франции: в этом месяце — декабре 1792 года — в Эдинбурге впервые заседал Первый Генеральный конвент «Друзей народа».

Миссис Дэнлоп читала и «Права человека» Тома Пэйна и «Защиту прав женщины» Мэри Уолстонкрафт. Она всецело соглашалась с тем, что человеку нужно защищать свои права, что женщины должны пользоваться наравне с мужчинами всеми гражданскими привилегиями. Более того, она втайне была привержена к династии Стюартов больше, чем к ганноверской династии. Но она не менее убежденно считала, что все реформы должны идти сверху, от правительства, и что ни в коем случае нельзя допускать народ к решению таких сложных дел.

А народ не хотел молчать. В Эдинбурге разбили все стекла в доме Генри Дандаса за то, что он выступил с речью против парламентской реформы. Мало того: толпа сожгла перед домом Дандаса соломенное чучело, изображавшее ненавистного диктатора, и отряд драгун с трудом разогнал бунтарей.

От майора Дэнлопа, недавно вернувшегося из столицы, Бернс узнал, что Александр Локки, мальчишка мастеровой, швырнул камнем в этих драгун, и, хотя камень никого не задел, Локки арестовали и приговорили к ссылке на четырнадцать лет в Австралию на побережье залива Ботани-Бэй, откуда никто не возвращался.

Четырнадцать лет каторги... Эдинбургский суд еще не раз вынесет такой приговор «Друзьям народа».

За столом у Дэнлопов Бернс был откровенен: если французы могли добиться перемен, почему бы и Великобритании не последовать этому примеру? Майор Дэнлоп тактично молчал, но Бернсу казалось, что он ему сочувствует. Видно, он тоже был склонен верить «Друзьям народа», которые стояли за мирную реформу, без кровопролития.

Бернс с сожалением уехал из дома Дэнлопов — так интересно было разговаривать с этими умными, образованными людьми. По дороге он перебирал в памяти все, что слышал.

Надо было бы съездить в Эдинбург — он уже отправил гранки нового двухтомного издания Кричу и ждал, что скажут издатель и редактор. Если удастся получить отпуск, он непременно встретится в столице с людьми, которые входят в общество «Друзья народа». Редактору газеты — капитану Джонстону — он уже писал: своего ровесника лорда Бэзила Дэйра он помнит по встрече у профессора Стюарта после выхода кильмарнокского томика. Тогда молодой лорд показался ему очень славным и простым человеком, теперь он стал одним из самых радикальных членов союза «Друзей народа». Интересно будет познакомиться с вице-председателем общества — Томасом Мьюром, молодым адвокатом из Глазго, великолепным оратором, ярым сторонником Франции.

Бернс был твердо уверен, что недалек день свободы и для Великобритании.

В таком приподнятом настроении он готовился к встрече Нового года.

И тут его оглушило неожиданное известие: Совету акцизного управления поручено «проверить лояльность Роберта Бернса».

Утром 31 декабря к Бернсу прибежал его начальник Джон Митчелл, перепуганный насмерть. Ему грозили неприятности, да и Бернса он жалел. Он ждал генерального инспектора Корбета — тот сам взялся приехать в Дамфриз и «расследовать дело».

Впервые в жизни Роберт испытал настоящий страх: если узнают о его крамольных песнях, если найдутся люди, которые подслушали его разговоры с сапожником Хоу, то ему несдобровать. То, что простительно сыну герцога, не простят сыну фермера. В лучшем случае его просто выгонят со службы, и он останется на улице без денег, без крова, с пятью детьми и с женой, только что вставшей после родов... А в худшем случае его сошлют, и его мальчики, его славные мальчишки будут сыновьями каторжника.

Проклятая жизнь, когда человеку нельзя говорить вслух все, что он думает...

Генеральный инспектор Корбет приехал в Дамфриз ненадолго, и разговор его с Бернсом был короток: Корбет попросил Сайма и Митчелла прийти к нему вместе с поэтом и за обедом так отчитал Бернса, что тот, бледный и растерянный, почувствовал себя школьником, мальчишкой, которого публично высекли. Такого унижения он не испытывал никогда в жизни: Корбет прямо сказал ему, что его дело — служить, а не думать и что неизвестно, как отнесется Совет акцизного управления ко всей этой истории.

Он подробно расспросил самого Бернса, а потом и Сайма с Митчеллом, как и что говорил Бернс, все записал и на прощанье сказал, что если еще раз услышит о неподобающем поведении Бернса, то уже сам не приедет, а прямо передаст дело «в другие инстанции».

На этом Корбет распрощался с Бернсом и, глядя на его побелевшее лицо, на желваки скул и стиснутые кулаки, подумал, что, кажется, удалось запугать беднягу и теперь он будет молчать как убитый.

В своем заключении Корбет написал, что ничего предосудительного в поведении акцизного чиновника Бернса не обнаружено, кроме некоторых «неосторожных высказываний», не носящих, однако, крамольного характера.

Об этом он сообщил Грэйму, прося его неофициально успокоить Бернса.

Умный Грэйм понимал, в каком состоянии сейчас Бернс: на столе лежало его первое письмо, написанное в канун Нового года, сразу после того, как Мигчелл сообщил о назначенном расследовании. С горечью и негодованием Грэйм думал о том, до чего довели этого гордого, страстного, прямодушного человека, великолепного поэта Не верилось, что его рука писала эти бессвязные, торопливые слова:

«Вы, сэр, были мне большим и благородным другом. Небу известно, как горячо я чувствовал, чем я вам обязан, с какой признательностью благодарил вас. Судьба, сэр, сделала вас могущественным, а меня бессильным, ваш удел — покровительство, а мой — зависимость. Для одного себя я ни за что не воззвал бы к вашему человеколюбию, и, будь я одинок и ничем не связан, я презирал бы слезы, набегающие на мои глаза, — я мог бы бросить вызов несчастьям, взглянуть в лицо разоренью, ибо в худшем случае «откроет смерть бесчисленны врата...» Но боже милосердный! Те милые существа, о которых я упоминал, та ответственность, те узы, которые я вижу и ощущаю, — о, как подтачивают они мужество, как испепеляют волю! Мне, как человеку некоторых способностей, вы обещали свое покровительство; верю, что, как человек честный, я достоин вашего уважения. Позвольте же мне обратиться к вашим чувствам и заклинать вас — спасите меня от напасти, которая грозит мне гибелью; до последнего дыхания я буду твердить, что я этого не заслужил!

Простите эту бессвязную мазню. Право, я сам не знаю, что пишу...»

Грэйм ответил Бернсу немедленно, успокоил его, сказал, что и миссис Грэйм тоже приняла близко к сердцу его дела и просит передать самые лучшие пожелания. Грэйм высказал надежду, что впредь Бернс может быть спокоен. Однако он должен остерегаться.

Бернс ответил длинным и подробным письмом. Да, его обвинили зря. Говорили, что он не только принадлежит к бунтарской партии в этом городе, но и возглавляет ее. Это неправда, он ни о какой партии ничего не знает. В театре при нем действительно требовали сыграть «Ça ira!», но он молчал. Против короля он тоже открыто не выступал: он не берет на себя смелости оценивать его как человека.

Что же касается принципов реформы...

Нет, тут Бернс не может просто сказать: «Никаких реформ я не желаю!» Наоборот: он пишет так, что Грэйм, наверно, подумал: этот человек неисправим.

Грэйму, должно быть, известно, пишет Бернс, что самые высокие умы, самые выдающиеся личности считают, что «мы значительно отклонились от основных принципов нашей конституции, особенно в том, что угрожающая система коррупции нарушила связь между исполнительной властью и палатой общин. Вот правда, истинная правда о моих взглядах на реформу, о взглядах, которые я высказывал так неосторожно (теперь я это понял!). Впредь я кладу печать на свои уста...».

К письму Бернс приложил «Пролог», написанный для Луизы Фонтенель, и нигде не напечатанную балладу.

Накануне того дня, когда Грэйм получил письмо, вице-председатель общества «Друзья народа» Томас Мьюр был арестован по обвинению в подрывной деятельности. Но террор и репрессии еще не разыгрались в полную силу (дело было до казни французского короля), и Мьюра отпустили на поруки.

Читая письмо Бернса и приложенные к нему стихи, Грэйм разводил руками: если Мьюра, почтенного адвоката, одного из старост шотландской церкви, имеющего большие связи в высшем свете, могли посадить в тюрьму и, отпуская на поруки, пригрозить строжайшим судом, то что сделали бы с акцизным чиновником Бернсом, если бы внимательно прочли его стихи? В «Прологе», например, говорилось, что даже дети лепечут «Права человека». Разве можно так упоминать о книге Пэйна, которую официально объявили крамольной!

Нечего и говорить о балладе про Брауншвейгского герцога! Грэйм до колик смеялся над великолепной, озорной, совершенно нецензурной песней, где говорилось не только о герцоге Брауншвейгском («лучше бы, мол, он сидел дома и любил свою герцогиню, чем выступать против французов»), но и в весьма непочтительных словах упоминались «старуха Кэт» — великая императрица всея Руси Екатерина Вторая и ее «жертва» — бедный король польский Станислав, в которого она «запустила когти». Автор требовал, чтобы сам дьявол сопровождал ее за это в ад, причем манера «сопровождения» была описана чрезвычайно кратко, но выразительно. И заканчивалась баллада пожеланием такого «семейного счастья» королю Георгу и его супруге, какого вряд ли с сотворения мира желали поэты королям.

Хорошо, что об этой балладе мало кто знал.

Очевидно, «печать» не так уж крепко замкнула уста Роберта Бернса, подумал Грэйм, лучше бы он помалкивал, особенно в присутствии тех неизвестных мерзавцев, которые, сидя с ним за одним столом и, может быть, улыбаясь его песням, втайне писали на него доносы.

Самое страшное унижение для гордого и независимого человека — это самоунижение. Другие пусть болтают что угодно: как говорит старая шотландская пословица, «камни и палки могут переломать мне кости, а слова меня не ушибут».

Но если человек сам должен согнуть спину, заткнуть себе кляпом рот, писать оправдательные письма, выпрашивать и вымаливать снисхождения, то нет для него горшей муки, большего стыда.

Так думал Бернс, так писал он во многих своих письмах.

Есть одно письмо его к миссис Дэнлоп, написанное в те же дни, в начале января 1793 года. Письмо все изрезано — можно себе представить, что там было написано!

«Я наложил, отныне и впредь, печать на свои уста во всем, что касается этой несчастной политики, — повторяет он. — Но вам я должен хоть шепнуть об истинных моих чувствах. В них, как и во всем, я покажу вам непритворные волнения моей души. Войну я ненавижу: горе и разорение тысячам людей несет дыхание этого демона разрушения...»

Тут вырезаны три четверти страницы: очевидно, их нельзя было даже держать в доме!

«...Глубину их мерзости, испепелили силу их подлости! Наложи клеймо на их неправедные суждения. Ты уже...»

И снова три четверти этой страницы вырваны, и только на следующем листке Бернс сообщает, что «политическая буря, угрожавшая моему благополучию, пронеслась».

Он проклинает «проституированную душу того жалкого подлеца, который нарочито и низко замышляет погибель честного человека, ничем его не обидевшего, и с ухмылкой удовлетворения смотрит, как несчастный вместе с верной женой и малыми детьми брошен в пасть нищете и разорению. «Oui! Telles choses se font: je viens d'en faire une épreuve maudite! * — пишет он. — Кстати, не знаю, правильно ли это по-французски, а мне было бы очень не по душе портить то, что принадлежит этому храброму народу, хотя выражение истинных моих чувств по отношению к нему я ограничу нашей с вами перепиской».

---

* Да! Такие вещи делаются: я сам только что перенес это проклятое испытание! (*фр.*).

Увы! Через два года Бернс настолько резко написал миссис Дэнлоп о казни королевской четы Франции, что миссис Дэнлоп не на шутку обиделась.

В длинном письме от 20 декабря 1794 года он говорил о путевых записках их общего друга доктора Мура:

«Он очень польстил мне, процитировав мои стихи в своей последней работе («Записки о пребывании во Франции»), хотя осмелюсь высказать мнение, что эта вещь написана далеко не в лучшем его стиле. Entre nous *, вы знаете мои политические убеждения, и я никак не могу одобрить нытье доброго доктора по поводу заслуженной судьбы двух известных вам личностей. Стоит ли хоть на миг останавливать внимание на том, что болвана-клятвопреступника и бессовестную проститутку народ отдал в руки палача, особенно в столь знаменательный час, когда, как прекрасно сказал мой друг Роско из Ливерпуля, —

На чаше весов — благоденствие миллионов,
И колеблются эти весы под рукою судьбы!

* Между нами (*фр.*).

3

В январе 1793 года был казнен французский король Людовик Шестнадцатый, который чуть было не отдал свою страну на поток и разграбление чужеземным войскам.

В начале февраля разразилась война: теперь Великобритания открыто воевала с Францией, и всякие симпатии к французскому народу стали считаться особой крамолой.

Общество «Друзья народа», из которого ушли все наиболее «благомыслящие» люди, собиралось теперь тайно.

Шпионы Питта и Дандаса подслушивали каждое слово, каждый вздох.

Вечерами Бернс старался сидеть дома — встречаться с людьми в общественных местах ему не хотелось. Он не умел притворяться, особенно выпив хоть кружку. Недавно в «Глобусе» собралось большое общество, его уговорили поужинать в компании, и он после всех «верноподданнических» тостов, которые провозглашали офицеры, не выдержал и язвительно сказал: «Пусть наш успех в этой войне соответствует справедливости наших целей».

Так как все знали, что для правительства Питта цель войны — уничтожить крамолу не только во

Франции, но и у себя дома, тост был принят холодно.

На следующий день пришлось снова писать письма, оправдываться.

Но сколько ни связывай себе руки, сколько ни запирай рот на замок, твоя поэтическая сила разорвет все путы, твой поэтический голос проникнет сквозь «печать на устах».

Бернс пишет песню за песней, стараясь уйти в простые человеческие чувства.

Песни посылаются Томсону. Томсон иногда возвращает текст «для придания ему менее простонародной формы». Но тут Бернс непоколебим: он наотрез отказывается переделывать стихи «в угоду салонным требованиям моды». Иногда у Томсона возникают и другие сомнения, о чем, например, говорится в очень милой песенке про статного горского парня, которого, очевидно, кто-то преследует:

Мой горец — парень удалой,
Широкоплеч, высок, силен.
Но не вернется он домой —
Он на изгнанье осужден...

Начало как будто вполне безобидное: девушка тоскует по милому, плачет по ночам, бродит одна в тиши ночной. Но почему в конце вдруг звучит угроза?

Ах, знаю, знаю я, кого
Повесить надо на сосне,
Чтоб горца — друга моего —
Вернуть горам, лесам и мне!

Томсон решительно против последних строк. Бернс согласен снять песню, но переделывать ее он не станет.

Томсон и не подозревает, что в столе у Бернса, в бюро у Джона Сайма, в старинном шкафчике у капитана Риддела лежат совсем другие стихи.

И не только близкие друзья знают эти ненапечатанные строки. Сапожник Хоу переписывает их для других ремесленников, старый Хислоп потихоньку читает их в «Глобусе» надежным людям. И часто приезжий увозит из Дамфриза не только городские покупки для какого-нибудь глухого поселка, но и листок со стихами. Он покажет эти стихи двум-трем приятелям, и списки пойдут путешествовать дальше, на север, к Инвернессу, на восток — до Глазго и на родной запад — в Эйршир.

И если при жизни поэта стихи не будут напечатаны, то сам Бернс в глубине души твердо верит, что когда-нибудь их прочтет весь мир.

Стихи называются «Дерево Свободы».

Они написаны в те дни, когда начальство Бернса считало, что он угомонился и впредь будет «служить и не думать».

Он как будто присмирел, хотя на окне таверны «Глобус» написал алмазным карандашом — подарком покойного лорда Гленкерна:

К политике будь слеп и глух,
Коль ходишь ты в заплатах.
Запомни: зрение и слух —
Удел одних богатых!

Впрочем, даже эти стихи особенно не ставились ему в вину — лишь бы он не «крамольничал».

Местные власти с удовлетворением читали его полное достоинства письмо, в котором он напоминал о своем избрании почетным гражданином Дамфриза и просил предоставить ему привилегию бесплатного обучения сыновей в лучшей школе.

Привилегия была ему предоставлена. Он считал, что заслужил ее, выгадав для городского муниципалитета какие-то суммы по таможенным сборам.

Но друзья, читавшие его новое произведение «Дерево Свободы», понимали, что не медными грошами акциза, а чистым золотом стиха заработал он право считаться в веках лучшим гражданином не только Дамфриза, но и всей Шотландии.

Вот эти строки о свободе, которые даже в нашем XX веке редактор оксфордского, то есть академического, издания Бернса не пожелал включить в свой толстый том:

Есть дерево в Париже, брат.
Под сень его густую
Друзья отечества спешат,
Победу торжествуя.

Где нынче у его ствола
Свободный люд толпится,
Вчера Бастилия была,
Всей Франции темница.

Из года в год чудесный плод
На дереве растет, брат.
Кто съел его, тот сознает,
Что человек — не скот, брат.

Его вкусить холопу дай —
Он станет благородным
И свой разделит каравай
С товарищем голодным...

Благословение тому,
Кто, пожалев народы,
Впервые в галльскую тюрьму
Принес росток свободы.

Поила доблесть в жаркий день
Заветный тот росток, брат,
И он свою раскинул сень
На запад и восток, брат.

Но юной жизни торжеству
Грозил порок тлетворный:
Губил весеннюю листву
Червяк в парче придворной.

У деревца хотел Бурбон
Подрезать корешки, брат.
За это сам лишился он
Короны и башки, брат!

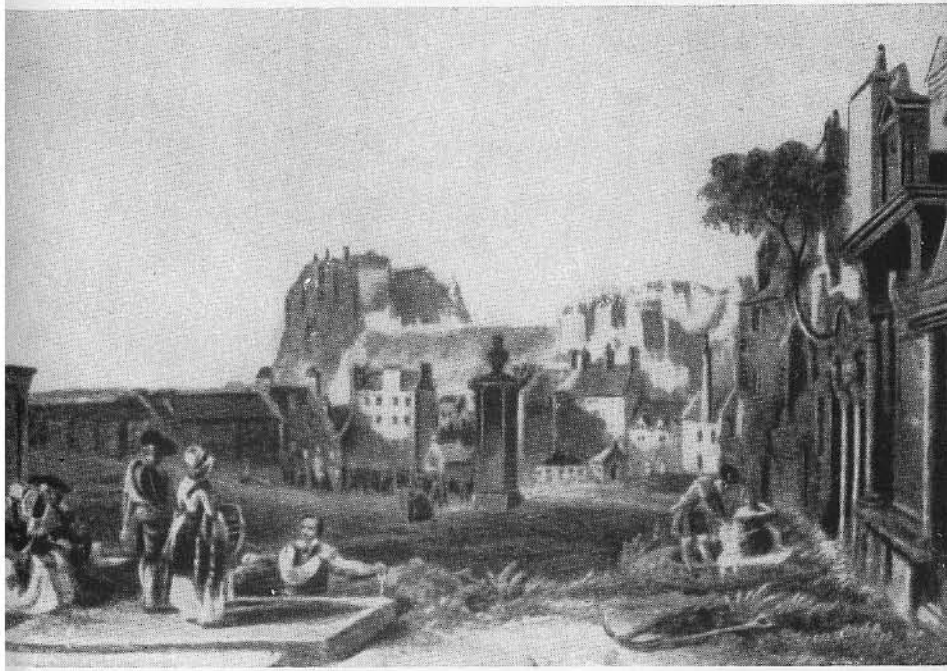
Народ подымается на борьбу, идут на зов свободы ее сыны, Франция будет свободной!

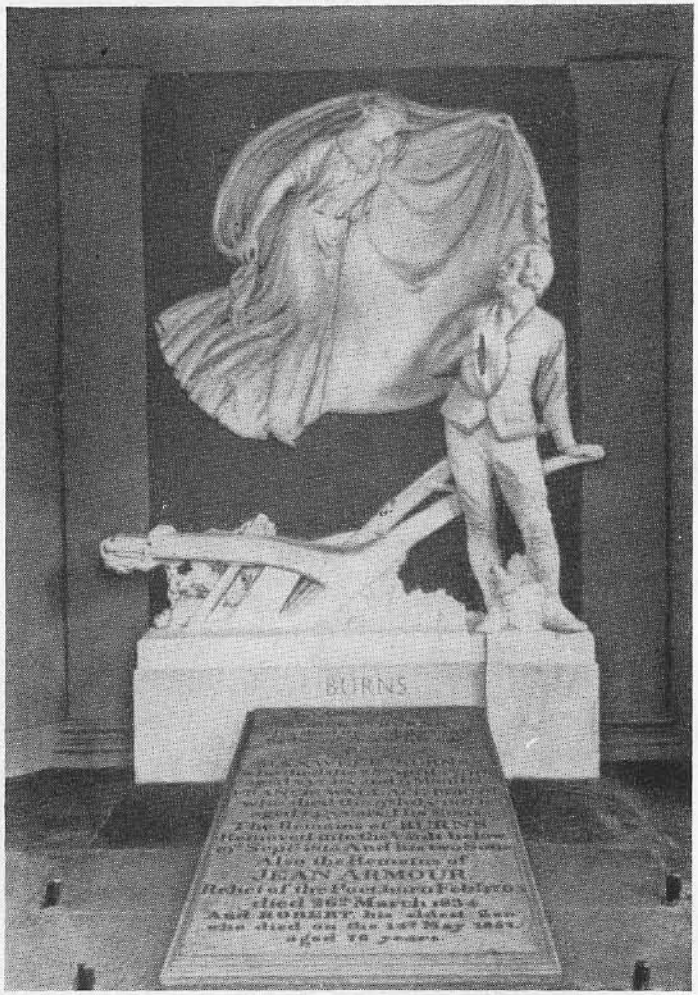
А что же родина поэта, что же Великобритания?

Британский край! Хорош твой дуб,
Твой стройный тополь — тоже.
И ты на шутки был не скуп,
Когда ты был моложе.

Последний портрет Бернса (работы художника Скирвинга).

Брау-Веллз, где лечился Бернс (с картины XIX века).





Памятник на могиле поэта (Дамфриз).

Богатым лесом ты одет —
И дубом и сосной, брат.
Но дерева свободы нет
В твоей семье лесной, брат!

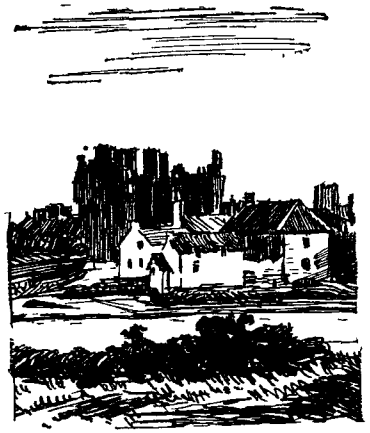
А без него нам свет не мил
И горек хлеб голодный.
Мы выбиваемся из сил
На борозде бесплодной.

Питаем мы своим горбом
Потомственных воров, брат.
И лишь за гробом отдохнем
От всех своих трудов, брат.

Но верю я: настанет день, —
И он не за горами, —
Когда листвы волшебной сень
Раскинется над нами.

Забудут рабство и нужду
Народы и края, брат,
И будут люди жить в ладу,
Как дружная семья, брат!

Так Великая Эстафета Вольности — слово поэта — всегда передается и будет передаваться из уст в уста по всему земному шару.



4

Этой весной не только от солнца стало теплее на душе у Бернса. Хозяин квартиры предложил ему другое жилье, и Бернсы переехали в Мельничный переулок, в отдельный двухэтажный дом из красноватого камня. В первом этаже — две отличные комнаты и кухня, во втором — две большие спальни, темная комнатка с альковом, просторные кладовые, чердак.

Но самое главное, чему радовалась Джин, был садик при доме, где сейчас, в мае, уже густо росла трава и зеленели деревья. Теперь можно будет выпускать ребят спокойно, тем более что рядом жил один из самых славных сослуживцев Роберта — Джон Льюарс. Его сестра, пятнадцатилетняя Джесси, предложила Джин помогать по дому.

В новый дом можно было, не стесняясь, позвать гостей: остатки эллислендской мебели — круглый стол красного дерева, кресла, шкаф с посудой, — кое как составленные в тесноте Вонючего переулка, теперь встали просторно и красиво. На пол лег ковер, который и не разворачивали на старой квартире, камин хорошо тянул, а на полках свободно разместились книги и подарки друзей: резной ящичек от жены доктора Максвелла, затейливая чаша из кокосового

ореха для пунша — миссис Дэнлоп, даря ее Бернсу, сказала, что эту вещь еще в прошлом веке привезли из путешествий ее предки Уоллесы. Над камином висели силуэты лорда Гленкерна, Боба Эйнсли и Джона Сайма. Вообще жить стало спокойнее и легче.

Роберт чувствовал, что в Дамфризе к нему относятся хорошо. Его выбрали членом правления библиотеки и освободили от всяких взносов. Он подарил библиотеке несколько книг, в том числе и свой двухтомник, который недавно вышел в Эдинбурге.

Крич не прислал ни одного экземпляра, пока Бернс не написал ему коротко и сердито: «Сэр, я узнал, что моя книга вышла. Прошу вас *как можно скорее* прислать мне двадцать экземпляров. Так как я собираюсь их преподнести нескольким Великим Людям, которых я уважаю, и нескольким Маленьким Людям, которых я люблю, то эти двадцать экземпляров вашей торговле не помешают. Если нет двадцати экземпляров, пришлите сколько можно. Буду особенно благодарен, если пошлете их с первой же оказией».

Капитан Риддел по-прежнему часто приезжал в Дамфриз и вызывал Роберта в «Глобус». В эти вечера Роберт возвращался домой поздно. Риддел был рад, что Бернс избежал «кары». Он показал Бернсу письмо из Эдинбурга, в котором один из его друзей, Фрэнсис Эрскин, человек богатый и влиятельный, расспрашивал его о Бернсе и предлагал собрать деньги между «друзьями свободы», чтобы Бернс не остался без материальной поддержки, если его выгонят с работы. Бернс написал Эрскину длинное письмо — одно из тех замечательных своих писем, в которых он встает, как живой.

Он просит адресата сжечь письмо: «Бернса, о чьих интересах вы так благородно заботитесь, я тут нарисовал живыми красками, таким, каков он есть. Но если люди, в чьих руках находится его хлеб насущный, хотя бы прослышат об этом портрете, бедный Бард пропал навеки».

Каков же Бернс в своем собственном представлении?

Прежде всего он боится, что какой-нибудь «наемный писака» в будущем станет глупо и злобно утверждать, будто, «несмотря на то, что в своих произведениях Бернс хвастал своей независимостью и претендовал на общественное признание и уважение в качестве человека определенного таланта, он все же был настолько лишен каких бы то ни было данных, чтобы поддерживать это напускное достоинство, что в конце концов стал мелким акцизным чинушей и весь остаток своего жалкого существования провел в самых низких занятиях и среди самых подлых людишек».

Бедный Бернс! Он даже не знал, насколько точно он предвосхитил слова некоторых своих будущих биографов... Но, к счастью, черновик письма Эрскину был найден в тетради Риддела — видно, поэт боялся, что Эрскин и впрямь сожжет письмо, а ему хотелось оправдаться и перед собой и перед потомством:

«Разрешите отдать в ваши руки мой решительный протест против этой лжи и клеветы. Бернс был бедняком от рождения и акцизным по необходимости. Но — я должен это сказать! — никакая бедность не могла унизить его истинную, неподдельную честность, а угнетение может лишь согнуть, но не сломить его независимый британский дух...

Разве мой вклад в благополучие отечества не дороже самого богатого герцогства? У меня много детей — и семья моя, наверно, будет расти. У меня три сына, и я уже вижу, что они родились на свет с душами, которые не пригодны для того, чтобы жить в телах рабов. Как же я буду покорно взирать на всякие махинации, которые могут отнять право первородства у моих мальчиков, свободных британцев, в чьих жилах течет моя кровь? Нет! Это недопустимо! Я буду защищать их до последнего дыхания. И кто осмелится сказать мне, что мои слабые потуги никому не нужны, что не мне, в смиренном моем качестве, вмешиваться в дела Народа? Я отвечу, что именно от таких, как я, страна должна ждать поддержки и понимания. Невежественная толпа может составлять основную массу населения страны, титулованная мишура — придворная знать — может служить пышным оперением, но люди, которые поднялись настолько, чтобы научиться думать и рассуждать, а вместе с тем принадлежат к низшим слоям народа, почему их и не коснулась тлетворная зараза придворной жизни, — вот кто составляет силу нации!!»

Понятно, с каким чувством Бернс писал это письмо, насколько отчетливо он представлял себе свое значение, насколько твердо знал, что именно в нем и в таких, как он, — сила нации, слава нации, гордость нации.

Но понятно ли, как трудно, как невыносимо тяжело и унизительно ему было молчать и скрывать свои убеждения?

Лето прошло сравнительно спокойно. В июне вышел первый выпуск Томсоновых «Избранных шотландских мелодий». Бернс был очень доволен, хотя всего пять песен, написанных им, попало в этот том. К следующему выпуску он уже отослал добрых два десятка стихов и с десяток длиннейших писем Томсону, с самыми подробными, самыми скрупулезными объяснениями, с самым тщательным разбором характерных особенностей народной шотландской музыки и песенных традиций народа. Недаром он писал Томсону, что нет такой песни, которой он, Бернс, не знал бы, и достаточно показать ему первую строку, как он найдет в своем собрании и музыку и слова.

В последнее время он особенно близко сошелся с Джоном Саймом. Сайм был человек очень добрый, очень мягкий, немного рассеянный и безалаберный. Но у него был отличный вкус, он тонко понимал стихи и музыку, очень много читал и вполне сходился с Бернсом в политических взглядах. Они понимали друг друга с полуслова, и для Бернса не было лучшего отдыха, чем просидеть весь вечер в загородном доме Сайма, читать стихи, обсуждать все, что происходило вокруг, поверять другу самые сокровенные мысли.

Сайм любил Бернса искренне и глубоко. Он видел, как его пришибли история с доносом и выговор Корбета, как он то становился угрюмым, то вспыхивал от пустяков, то целыми вечерами декламировал свои и чужие стихи и пел песни настолько дерзкие и вызывающие, что Сайм удивлялся, как в одном человеке могут ужиться такие противоречия. Только что он заехал за ним, чтобы везти его к себе в Рэйдэйл, и застал у очага на кухне, окруженного ребятами, которые не дыша слушали, как он читает им... библию! Он читал медленно, проникновенно, и библейские слова звучали старой сказкой.

А вечером он спел такую невозможно смешную песню про патриарха Иакова и двух его жен, что Сайм только удивлялся: трудно было поверить, что отец семейства, так вдумчиво и серьезно читавший библию, может сочинять столь вольные стихи.

В начале августа Сайм уговорил Бернса поехать с ним в путешествие по живописным местам юго-запада — графства Галлоуэй.

Об этом путешествии Джон Сайм рассказал в письме к Александру Каннингему, и, если бы сохранилось только это письмо, мы и тогда поняли бы, каким терпеливым, добрым и по-настоящему любящим другом был Сайм по отношению к Бернсу. Но это не единственное письмо: часто и подробно пишет Сайм Каннингему, и три четверти этих писем посвящены Бернсу:

«Я достал для Бернса выносливого серого конька, и мы поехали верхами. В первый день обедали в приятном городке на берегу реки Ди. Вечером поднялись на красивый холм, и перед нами открылся живописный вид на горы. Чудесный мягкий вечер придавал пленительную прелесть этой картине. Напротив, примерно в миле от нас, виднелся Эйрдс, красивый романтический городок, где жил Лоу, автор песни «Не плачь, о Мэри, обо мне»... Для Бернса это было памятное место; не отрывая глаз, смотрел он на «высокий холм, откуда Ди берет свое начало». Наверно, он

стоял бы там, покуда не появился бы «дух неземной моей красы», но мы решили до ночи попасть в Кенмор».

В замке Кенмор Бернс и Сайм гостили четыре дня. Хозяин и хозяйка оказали им «самое изысканное гостеприимство». Замок расположен на берегу озера Лох-Кен. «Я не знаю места романтичнее замка Кенмор, — пишет Сайм. — Бернс был так восхищен, что впал в длительное раздумье — видно, хочет воплотить свои мысли в стихи с описанием замка. Мне кажется, что он начал эту работу. Очень любопытно услышать, как претворится в его воображении эта картина».

Но «изысканное гостеприимство» и проливной дождь на время помешали поэтическому творчеству. Сайм очень смешно описывает, как Бернс, промокнув до костей, поставил сушить свои высокие сапоги — красивые новые сапоги с белыми отворотами — слишком близко к огню. Так как «в отместку дождю» они напились, то Бернс наутро встал злой, с головной болью.

«Натягивая сапоги, наш могучий поэт применил такую силу, что разорвал их в клочки. Такие пустячные неприятности иногда хуже серьезного несчастья. Боже праведный! Как он шумел и бушевал! Ничем нельзя было его успокоить. Я уже пробовал все, что мог, и, наконец, у меня мелькнула счастливая мысль. На той стороне залива Вигтон я ему показал замок лорда Галлоуэй. Он выплюнул свою хандру на аристократического бездельника и пришел в благодушнейшее настроение. У меня есть несколько его эпиграмм, которые я не смею написать. Но я их тебе непременно прочту...»

Толстый лорд Галлоуэй с его глупостью и чванством как живой стоит в этих эпиграммах:

В его роду известных много,
Но сам он не в почете.

Так древнеримская дорога
Теряется в болоте...

Тебе дворец не ко двору.
Попробуй отыскать
Глухую грязную нору —
Душе твоей под стать!

В году семьсот сорок девятом
(Точнее я не помню даты)
Лепить свинью задумал черт.
Но вдруг в последнее мгновенье
Он изменил свое решенье,
И вас он вылепил, милорд!

Бернсу дали другие сапоги, а рваные в своем экипаже захватил лорд Селькерк — отец того самого лорда Дэйра, который был членом общества «Друзья народа». К восьми вечера Бернс и Сайм были приглашены в Сен-Мэри-Айл — замок лорда Селькерка, где собрались друзья его сына и дочерей.

Сайм описывает «очаровательное общество» — у лорда Селькерка были две красавицы дочки, которые отлично пели, и в этот день у него гостил певец и композитор Урбани.

«Урбани спел под музыку много шотландских песен. Обе молодые леди тоже пели. Когда заиграли «Лорд Грегори», я воспользовался случаем и попросил Бернса *прочесть* свои слова на эту музыку. Он их прочитал столь блистательно, что наступила мертвая тишина. Чувствительные души всегда хранят молчание, когда испытывают священный восторг, вытесняющий все остальные мысли...»

Большой зал. Горят свечи, играет Урбани. Голос Бернса звучит в полной тишине:

Полночный час угрюм и тих.
Лишь гром гремит порой.
Я у дверей стою твоих.
Лорд Грегори, открой.

Я не могу вернуться вновь
Домой, к семье своей,
И если спит в тебе любовь,
Меня хоть пожалей...

Ты небом клялся мне не раз,
Что будешь ты моим,
Что договор, связавший нас,
Навеки нерушим.

Но тот не помнит прежних дней,
Чье сердце из кремня.
Так пусть же у твоих дверей
Гроза убьет меня!..

«Мы провели поистине счастливый вечер, и нас угостили на славу пищей духовной и телесной — последняя состояла из чудеснейших фруктов и так далее, а о первой можешь судить по составу нашего общества — пятнадцать или шестнадцать человек отменно приятной молодежи, — продолжает Сайм.—На следующий день мы приехали в Дамфриз. Так окончилось наше путешествие. Не буду дольше на нем останавливаться, хотя мог бы привести тебе множество всяких подробностей. Но, вспоминая, как Бозвелл написал о своем путешествии с Джонсоном и как он рассказывает о его... и так далее, и так далее, и так далее, боюсь, что и я навлеку на себя презрение...»

Сайм, безусловно, знал об отношении Бернса к книге Бозвелла, которую они читали вместе. В ней подробно описана поездка знаменитого ученого, доктора Сэмюэля Джонсона по Шотландии, дословно приведены его высказывания по самым разнообразным вопросам.

Теперь мы читаем эту книгу с удовольствием: нас интересуют не консервативные рассуждения Бозвелла и Джонсона, а великолепный стиль, остроумные описания, а главное — картины быта, нарисованные рукой настоящего художника.

Но Бернс, читая эту книгу, был возмущен тем, что Джонсон пренебрежительно отозвался о друге свободы — Джоне Гемпдене, который погиб в бою с королевскими войсками в 1643 году.

О Гемпдене так хорошо было написано в любимой элегии Бернса — «Сельское кладбище»:

Быть может, пылью сей покрыт Гемпден надменный,
Защитник сограждан, тиранства смелый враг...

Только недавно нашли одну из эпиграмм Бернса. Она так и называется: «На отзыв Джонсона о Гемпдене».

Мошенники, ханжи и сумасброды,
Свободу невзлюбив, шипят со всех сторон.
Но если гений стал врагом свободы, —
Самоубийца он!

Бернс и Сайм приехали домой повеселевшие отдохнувшие. Но в Дамфризе их ждало известие о том, что вице-президент общества «Друзья народа» Томас Мьюр, выпущенный из тюрьмы на поруки, возвращаясь из Франции, был в порту снова арестован, закован в цепи и отвезен в Эдинбург дожидаться суда.

Сайм умолял Бернса быть сдержаннее, не навлекать на себя подозрений. Бернс сказал, что он напоминает ему Николя: когда началось «дознание» акцизного управления, Николь тоже прислал ему письмо, где просил «милого безбожника Бобби» наплевать на то, что́ именно играют дрянные дамфризские музыканты — гимн королю или «Ça ira!». Может быть, Бернс и не рассказал Сайму, что в ответ он написал Николю издевательское письмо. Теперь Николь ему почти не пишет: видно, обиделся!

(В письме Николь назывался «Мудрейшим среди Мудрых, ярчайшим Светилом Осторожности, Полнолунием Скромности и Главнейшим в сонме Наставников!», и Роберт — его «безголовый, пустоголовый, тупоголовый, круглоголовый раб» — был бесконечно обязан «сверхвозвышенной доброте» Николя и тому, что он «с пресветлого пути неукоснительной праведности благосклонно снисходит к жалкому грешнику».

О себе Бернс писал: «Конечно, я скот, я червь, я ничего не понимаю! Из пещеры моего невежества, из тумана моей глупости, из-за зловонных испарений моих политических ересей я взираю на тебя, как жаба из-под решетки зачумленной клоаки взирает на безоблачное сияние полуденного солнца... О, если бы я мог уподобиться тебе своей жизнью! Тогда я про-

сыпался бы без страха и никто не мог бы запугать меня!»

Письмо кончалось смиренной просьбой: «Помяни в молитвах своих и сподоби жалости своей, о Светоч премудрости и Зерцало благонравия,

преданного раба твоего

Р. Б.».)

Но сейчас Бернсу было не до шуток: умом он понимал, что надо молчать, что нельзя возмущаться, защищать свои убеждения, нельзя говорить о свободе — о «сокровище поистине бесценном, ибо за нее не жаль отдать все самое дорогое...».

Но только не жизнь Джин и детей...

Надо молчать.

Но кто запретит воспоминания о былых битвах, о былых подвигах?

О них можно и вспоминать и писать стихи.

По вечерам Бернс часто уходит на окраину города. Он долго гуляет вдоль реки — здесь тихо, желтеют деревья, низкое августовское солнце греет робко и ласково. В такой вечер сложилась одна из самых популярных песен Бернса — «Брюс — шотландцам».

Бернс отослал ее Томсону с письмом:

«Мой дорогой сэр!

Вы знаете, что притязать на музыкальный вкус я могу только благодаря врожденному чутью, необработанному и неотточенному. Поэтому многие музыкальные произведения, особенно те, где большое значение имеет сложный контрапункт—предмет восхищения и услады для вас, знатоков музыки, — мое простое ухо воспринимает только как мелодичный набор звуков и более ничего. В свое оправдание могу сказать, что я зато понимаю прелесть многих простых напевов, которые ученый музыкант назовет пустыми и бесцветными. Не знаю, относится ли к таковым старинный марш «Гей тутти тайти!», но хорошо знаю,

что у меня часто выступали слезы на глазах, когда Фрэзер играл его на гобое. Во многих краях Шотландии сохранилось предание, будто это марш Брюса, с которым он шел в битву при Баннокберне. Вчера, во время вечерней прогулки, эта мысль зажгла во мне такие восторженные думы о Свободе и Независимости, что я сочинил на эту мелодию «Шотландскую оду» — как бы обращение доблестного вождя Шотландии к своим соратникам в то знаменательное утро:

Марш Роберта Брюса при Баннокберне

Вы, кого водили в бой
Брюс, Уоллес за собой, —
Вы врага ценой любой
Отразить готовы.

Близок день, и час грядет.
Враг надменный у ворот.
Эдвард армию ведет —
Цепи и оковы.

Тех, кто может бросить меч
И рабом в могилу лечь,
Лучше вовремя отсечь.
Пусть уйдут из строя.

Пусть останется в строю,
Кто за родину свою
Хочет жить и пасть в бою
С мужеством героя!

Бой идет у наших стен.
Ждет ли нас позорный плен?
Лучше кровь из наших вен
Отдадим народу.

Наша честь велит смести
Угнетателей с пути
И в сраженье обрести
Смерть или свободу!

Пусть бог всегда защищает дело Истины и Свободы, как защитил он его в тот день! Аминь! Р. Б.

P. S.: Я показывал когда-то эту мелодию Урбани, ему она очень понравилась, и он просил меня сочинить на нее приятные слова. Но я и не мыслил об этом, пока случайное воспоминание *о той* доблестной борьбе за свободу не совпало с пылкими мыслями *о другой борьбе,* — но уже *не столь древней!* — за то же самое... Я так доволен моими стихами, вернее — темой стихов, что, хотя у Джонсона в собрании и есть эта мелодия, я дам ее, с новыми словами, для последнего его тома».

Томсон немедленно вернул Бернсу «Оду», испуганно уговаривая поэта переделать ее.

«Моя Ода так мне нравится, что я ее править не стану. Исправления, которые вы предлагаете, по-моему, сделают ее беззубой», — сердито отвечает Бернс.

И «Ода» разделила судьбу многих других стихов: она пошла в списках по рукам и не сразу увидела свет.

Да и как можно было говорить о борьбе за свободу, когда в Эдинбурге перед судом стоял Томас Мьюр — один из самых благомыслящих и верующих людей Шотландии — и прокурор требовал для него смертной казни!

Мьюр говорил три часа. Он доказывал, что не преступление — распространять прекрасную книгу Томаса Пэйна, не преступление — требовать равного представительства для народа в палате общин. Он говорил, что и Христос был реформатором и что он, Мьюр, ни на шаг не отступил от учения Христова.

Но тут вечно пьяный председатель суда, знаменитый сквернослов и распутник лорд Браксфильд заорал на подсудимого: «А чего он этим добился? Повесили его на кресте — и все!»

И «Славный Тэмми», как называли Томаса Мьюра, был приговорен к четырнадцати годам каторги.

Волна арестов прошла по Шотландии и Англии. За малейшую провинность людей сажали в тюрьму,

пытали, вешали. Начинался голод: война высасывала все силы страны. Упала торговля, прекратился ввоз, цены непомерно росли.

Где уж тут печатать стихи, в которых прославляется свобода... Даже «защита библии в наше время может стоить человеку жизни», — сказал друг Пэйна, поэт Вильям Блэйк.

5

Зимой Бернс всегда чувствовал себя хуже: в сыром Дамфризе еще больше разыгрался ревматизм, болело сердце — и в переносном и в самом буквальном смысле. Было очень трудно материально. Правда, семья не голодала, хотя и жила более чем скромно. Капитан Риддел часто отправлял в Мельничный переулок то дичь, то рыбу, а миссис Дэнлоп просто посылала ко дню рождения кого-нибудь из ребят пять фунтов стерлингов. Эти подарки не обижали Бернса, он сам, когда мог, был щедр к друзьям — сколько вкусных деревенских посылок получали когда-то из Эллисленда и Питер Хилл, и Смелли, и органист Кларк! Не обиделся он и когда Томсон после выхода первого тома своего «Собрания» прислал Джин красивую шаль, однако с большой неохотой принял от того же Томсона какие-то пустячные деньги и решительно просил издателя «никогда не обижать его» такими подарками.

Ему очень хотелось отослать назад и эти деньги, но он так задолжал за квартиру, что пришлось проглотить гордость и расплатиться с хозяином.

А в середине зимы его обидели, и больно обидели, лучшие его друзья — капитан Риддел, его жена и, что было тяжелее всего, Мария Риддел.

Для Бернса Мария была в эту зиму единственным утешением. Он впервые понял, что значит дружба с женщиной очень умной, очень живой, много пережившей в свои двадцать лет, но сохранившей ребяческую веселость и простоту. Женщины не любили Марию: она слишком «вольно» держала себя в обществе, носила слишком открытые платья, слишком громко смеялась в театре, не считалась ни с какими светскими условностями. Ее муж почти не бывал дома, а когда бывал — пил запоем.

Бернс неизменно сопровождает Марию в театр, иногда злясь, что вокруг нее вертится слишком много молодых офицеров: «Только я подошел к дверям вашей ложи и сразу увидел одного из этих красномундирных щенков, который, как дракон, охранял Плоды Гесперид *», — пишет он в записке. Очевидно, Мария после этого обещала никого больше в ложу вместе с Бернсом не приглашать, и он ей отвечает: «На таких условиях и при такой капитуляции я согласен, чтобы моя некрасивая, обветренная, деревенская физиономия стала предметом украшения вашей ложи во вторник».

Он показывает Марии все свои стихи, он читает ее дневник, он подолгу говорит с ней о политике.

...Как случилось, что на одном из званых вечеров мужчины подпоили Бернса почти что до потери сознания? Как вышло, что по их наущению он согласился разыграть «похищение сабинянок» и его первого втолкнули в гостиную, где он схватил в объятия одну из дам и расцеловал на глазах у всех?

Этого никто не знает, и биографы Бернса всякий по-своему толкуют «ссору с Ридделами», изображая «жертвой» Бернса то жену капитана, чопорную Элизабет, то Марию Риддел, то неизвестную «миссис Икс» — хозяйку дома, где якобы произошел скандал.

Две недели после скандала Бернс ждал, что Мария снова позовет его, снова будет с ним по-прежнему откровенна и мила.

Но она молчит.

Он возвращает ей дневники: «Прочел с удовольствием и продолжал бы высказывать вам свои критические соображения, но, кажется, критик настолько потерял ваше уважение, что его указания теперь лишены всякой ценности. Если справедливо, что «обидеть может только сердце», — я пред вами безвинен...»

Никакого ответа на письмо нет. Более того — Мария говорит о нем с насмешкой, Мария его презирает.

Отныне он ни одной женщине не будет верить. Он пишет мрачное письмо Каннингему, он жалуется, что ему плохо, тошно, одиноко.

Он старается уйти в работу, предлагает Грэйму «рационализировать» распределение обязанностей в таможенном управлении и для экономии упразднить один отдел. Он рекомендует ему двух сослуживцев, которым можно поручить более сложные участки, — словом, всерьез занимается скучными служебными делами.

В свободное время он усердно собирает песни, переделывает их, посылает Джонсону для пятого тома «Музыкального музея» сорок одну песню.

Пришла весна, и ему, как всегда, стало легче.

«Слава небу, мое настроение подымается с наступающей весной, — сообщает он Каннингему. — Теперь я самым серьезным образом займусь песнями для Томсона».

Работать, заботиться о семье, писать песни — больше он ничего не хочет, больше он ни о чем думать не желает.

У него есть верные друзья — Джон Сайм, Каннингем, доктор Максвелл, который обеспокоен его здоровьем и прописывает ему бесконечные лекарства. У него есть Джин — всегда терпеливая, добрая, любящая Джин. И, наконец, у него растут чудесные

* Плоды Гесперид — золотые яблоки, росшие в саду Гесперид и похищенные оттуда Гераклом (греческий миф).

ребята: Бобби — гордость своего учителя, Фрэнк — здоровяк, шалун и «такой хитрюга, что его непременно надо пустить по духовной части». Трехлетний Вилли и его ровесница Бетси, дочка бедной златокудрой Анны, тоже славные здоровые ребята. Но больше всех отец любит крошку Элизабет — младшую дочку, единственную дочь его и Джин. Ей полтора года, она удивительно мила, только, к сожалению, не так здорова и крепка, как другие дети. Девочка обожает отца, и он всегда держит ее на коленях, как котенка, когда пишет или читает старшим вслух.

Джесси Льюарс, сестра молодого помощника Бернса, Джона Льюарса — «славного малого, но тоже зараженного д-м-кр-т-ческой ересью», — как писал о нем Бернс, помогает Джин по дому, нянчит ребят и восторженно смотрит на их отца. Он подарил ей свои книги с трогательной надписью, он часто просит ее спеть какую-нибудь песню — у Джесси хороший, чистый голосок.

«Дома Бернс был всегда простой, скромный, — вспоминала впоследствии Джесси. — Если случайно придет и обед окажется не готов, он ни капельки не сердился. В доме всегда было много хорошего сыру — его присылали друзья из Эйршира. Он возьмет кусок хлеба с сыром и сядет с книгой к столу, довольный, будто пирует по-царски. Очень он заботился, чтобы жена была хорошо и аккуратно одета, старался, чтобы она не относилась к себе небрежно, и не только делал ей замечания, но и сам всегда покупал ей лучшие платья, какие были ему по средствам».

«Джесси — единственный ангел, еще оставшийся на земле!» — говорил Бернс, и Джесси делала все, чтобы скрасить жизнь Роберту и Джин.

А жизнь у них была трудная, бедная и, в сущности, довольно однообразная.

Бернс не знает, что о нем идет разговор в Лондоне и что, если бы он захотел, все могло бы круто измениться.

Об этом ему написал в конце апреля 1794 года молодой Патрик Миллер, член парламента, сын владельца Эллисленда — Патрика Миллера-старшего.

Окна на галерее парламента были открыты настежь. День для мая выдался удивительно теплый. Патрик Миллер сидел на подоконнике, как школьник во время перемены: он все еще никак не мог научиться вести себя, как подобает солидному члену парламента. Впрочем, в двадцать один год это не так легко.

Патрик читал книгу, полученную с оказией из дому. Книгу написал их бывший арендатор Роберт Бернс. Уже два года, как Бернсы съехали с фермы, и отец был этим не очень доволен, хотя и продал Эллисленд весьма выгодно. Вероятно, получив в подарок от своего неудачного арендатора два тома стихов — новое эдинбургское издание, Миллер-старший не стал их читать и с очередной почтой отослал сыну: тот любил литературу и в Лондоне встречался со всякими писателями и газетчиками.

Патрик хорошо знал Бернса, близко познакомился с ним во время выборов, когда Бернс своими стихами поддерживал его кандидатуру.

Патрику всегда нравился этот красивый темноглазый человек с очень молодой и доброй улыбкой, неожиданно освещавшей его серьезное, озабоченное лицо, нравилось, что он такой сильный и ловкий: как-то Патрик видел, как он один нес на плечах тяжелый мешок, который с трудом поднимали двое рабочих.

Однажды Патрик слыхал, как Бернс читает стихи. Это было в доме у капитана Риддела, где недавно гостил известный антиквар Фрэнсис Гроуз. Риддел рассказывал о поездке Гроуза по Шотландии, об изумительных развалинах старых церквей, показывал зарисовки. Патрик Миллер-старший слушал только из вежливости: его ничуть не интересовала старина, он был весь поглощен своими изобретениями: недавно он пустил по специально выкопанному

пруду первую лодку с паровым двигателем, который сам сконструировал, и теперь составлял докладную записку в парламент о переводе всего флота на такие двигатели.

Чинный, воспитанный Патрик-младший тоже еле сдерживал зевоту. Что ему до этих старых развалин, от которых и осталось-то всего четыре стены и колокольня?

Но тут капитан Риддел попросил Бернса прочесть поэму, которую он написал для Гроуза.

Бернс всегда читал охотно, а «Тэм О'Шентер» был его любимцем.

...Он читал так, что оба Миллера, забыв и паровые лодки и благовоспитанность, гоготали, как самые простые деревенские парни, утирая слезы батистовыми платками и хлопая себя по коленкам. Кто мог равнодушно слушать такое описание ведьм?

Будь эти пляшущие тетки
Румянощекие красотки,
И будь у теток на плечах
Взамен фланелевых рубах
Сорочки ткани белоснежной,
Стан обвивающие нежно, —
Клянусь, отдать я был бы рад
За их улыбку или взгляд
Не только сердце или душу,
Но и штаны свои из плюша,
Свои последние штаны,
Уже не первой новизны...

И теперь Патрик Миллер снова перечитывает «Тэма О'Шентера» и снова хохочет как одержимый.

Редактор газеты «Морнинг кроникл» Джеймс Перри, изящный худощавый человек, которого уважают и побаиваются даже в парламенте, стоит неподалеку от окна и с удивлением смотрит, как молодой шотландец Миллер читает какую-то книжку и громко смеется. Мистер Перри заинтересован: за девять лет своего пребывания на посту редактора

газеты он редко слышал, чтобы члены парламента столь бурно веселились над книгами. Он знаком с молодым Миллером: мать Перри — тоже шотландка, а все в Лондоне знают, как крепко шотландцы держатся друг за друга.

И Перри бесцеремонно присаживается рядом с Миллером и заглядывает в книгу.

— Да это великолепно! — говорит мистер Перри. Он читает, не отрываясь, — в этих стихах удивительно перемежаются грубоватый народный шотландский юмор и чистая лирика, достойная лучших английских образцов:

Но счастье точно маков цвет:
Сорвешь цветок — его уж нет.
Часы утех подобны рою
Снежинок легких над рекою:
Примчатся к нам на краткий срок
И прочь летят, как ветерок...

— Очень прошу вас зайти ко мне в редакцию, — говорит мистер Перри, прощаясь с Патриком Миллером. — Вы должны подробнее рассказать мне о Бернсе.

Джеймс Перри пробыл на посту редактора «Морнинг кроникл» сорок лет, и, когда он в 1823 году умер, известный английский журналист Вильям Хэзлитт — один из блестящей плеяды литераторов, выросшей в Англии в начале XIX века, — писал: «Перри поднял «Морнинг кроникл» до нынешнего ее уровня и неукоснительно придерживался своей партии и своих принципов все сорок лет — большой срок для политической честности и непоколебимой стойкости». По словам Хэзлитта, Перри был от природы очень одарен, приобрел немало знаний, а главное, «отличался большим тактом, выдержкой и подлинной сердечностью и теплотой в отношениях с людьми».

Мистер Перри не привык долго раздумывать.

Несомненно, в шотландском городе Дамфризе живет выдающийся человек. С таким талантом грех сидеть в глуши и служить в акцизном управлении.

Газета Перри считалась партийной газетой вигов, в противовес «Таймсу» — газете правящей партии тори. Для такой газеты участие талантливого поэта из народа было бы настоящим кладом.

И редактор Перри просит Патрика Миллера как депутата округа немедленно написать Бернсу и от имени редакции пригласить его на работу в Лондон. Бернс может сам выбрать отдел, для которого он будет писать, говорит Перри, в любом случае ему можно обеспечить четыре-пять гиней в неделю, а на эти деньги можно отлично прожить с семьей. Если же мистер Бернс не захочет писать обзоры или корреспонденции из зала парламента и вообще не захочет переезжать в Лондон, то он может, живя в Дамфризе, регулярно посылать свои стихи и статьи в газету. Если стихи будут такого качества, как те, что напечатаны, мистер Перри гарантирует ему возможность помещать их не только в «Морнинг кроникл», но и в других газетах.

Словом, пусть мистер Миллер немедленно напишет Бернсу и передаст настойчивое приглашение редактора «Морнинг кроникл» стать постоянным сотрудником крупной столичной газеты.

Письмо Миллера очень взволновало Бернса. В последние дни он был подавлен смертью капитана Риддела, с которым он так и не успел помириться, хотя знал, что капитан никогда о нем не сказал худого слова. Мария по-прежнему надменно отворачивалась при встречах, и Бернс не мог ей простить такое вероломство. Он написал о ней несколько злых и обидных эпиграмм и даже эпитафию на воображаемую ее могилу, где говорилось, что самые подходящие цветы для нее — колючая крапива.

По вечерам он почти не выходил из дому, и единственной радостью была работа над песнями, в которой ему очень помогала Джин. Он купил скрипку и наигрывал нужную мелодию, пока не запоминал каждую ноту. Потом подыскивал тему по

настроению и подбирал слова. А когда песня была готова, Джин пела ее — и если какое-нибудь слово плохо ложилось на музыку, Роберт переделывал неудачную строку.

Казалось, что жизнь его вошла в какую-то спокойную колею и мир о нем позабыл.

И вдруг письмо, в котором его приглашает работать в газете «честнейший и благороднейший человек», как рекомендует Патрик Миллер мистера Перри.

Можно будет писать, встречаться с самыми выдающимися людьми столицы, с писателями и поэтами. Ведь в Дамфризе он совершенно лишен общества своих собратьев по перу. Можно будет бросить тягостную работу в акцизе, больше времени уделять чтению, бывать в театрах, слушать хороших музыкантов, читать все новые газеты и журналы. Тут он не имеет возможности даже выписывать газету — он читает ее на ходу, в таверне или когда пришлет кто-нибудь из друзей. Обычно ему посылал газеты капитан Риддел. Нет Риддела, умер Гроуз, серьезно болен Смелли. Старые друзья уходят. Может быть, в Лондоне он встретится с молодежью, увидит тех, кто станет надеждой нации...

Нет, все-таки это безумие: вступить на опасный путь политической журналистики, окончательно связать свою судьбу с судьбой партии вигов, отказаться от постоянной службы, а значит, и от пенсии, которую государство будет платить жене и детям в случае его смерти. О переезде в Лондон, конечно, нечего и думать: через три месяца Джин снова должна родить — куда же двигаться с малыми детьми? Лучше было бы просто посылать мистеру Перри свои произведения, но как решиться на это? Что скажет начальство, что скажет строгий мистер Корбет, узнав о сотрудничестве правительственного служащего в оппозиционной газете?

Бессонной ночью Бернс пишет письмо молодому Миллеру. Вся горечь, накопившаяся за последний год, — в этих строках:

«Дамфриз, 1 мая 1794 года.

Дорогой сэр!

Ваше предложение поистине великодушно, и я искренне благодарю вас за него. Но в моем теперешнем положении я не смею его принять. Вам хорошо известны мои политические убеждения, и будь я человеком одиноким, не связанным большой семьей, я предложил бы свои услуги с самым пылким энтузиазмом. Тогда я мог бы презреть — и презрел бы непременно! — все последствия, отсюда вытекающие. Но служба в акцизе кое-что да значит по крайней мере для такого человека, как я, обремененного ответственностью за благополучие, вернее — за самую жизнь шести беспомощных существ, — с этим шутить не приходится.

Пока что я с удовольствием посылаю редакции свою оду, только прошу поместить ее без упоминания обо мне, как будто она случайно попала им в руки. Более того, если мистер Перри, в чьей порядочности после вашей рекомендации я не сомневаюсь, укажет мне адрес и путь, по которому ему можно направлять почту так, чтобы об этом не проведали шпионы, безусловно следящие за его перепиской, я буду время от времени пересылать ему всякие пустяки, которые напишу... Мне давно хотелось испробовать свои силы в небольших прозаических опытах, и я предполагал обнародовать их через какую-нибудь газету. Если они будут того стоить, я с удовольствием предоставлю их мистеру Перри.

Кстати, нравится ли вам такая безделка?

Ярлычок на карету знатной дамы

Как твоя госпожа, ты трещишь, дребезжа,
Обгоняя возки, таратайки,
Но слетишь под откос, если оси колес
Ненадежны, как сердце хозяйки!

Если ваши друзья считают, что стоит это напечатать, — пожалуйста!»

Перри напечатал «Шотландскую оду», но эпиграммы публиковать не стал — мало ли кто мог принять на свой счет, например, такие дерзкие строки:

Надпись на могиле честолюбца

Покойник был дурак и так любил чины,
Что требует в аду корону сатаны.
— Нет, — молвил сатана. — Ты зол, и даже слишком,
Но надо обладать каким-нибудь умишком!

6

Очень грустно читать письма Бернса этого периода — начала 1795 года. Видно, как человек разрывается между будничными делами, служебными поездками — он заменял главного инспектора, и ему приходилось ездить в дальние деревни — и творческой работой. Давно рассеялась легенда о том, что в последние годы жизни Бернс мало писал и вел разгульную жизнь. Когда были восстановлены даты написания многих его песен и стихов, сразу стало ясно, что никогда, даже в самое лучшее время, поэтический гений Бернса не проявлялся с такой силой и никогда обстоятельства так этому не препятствовали.

«Как быстро проходит жизнь! — пишет он миссис Дэнлоп (в том самом письме, где он удивлялся «нытью» Мура по поводу казни короля Людовика). — Кажется, совсем недавно я был мальчиком, только вчера стал юношей, и вот уже я чувствую, как от старости костенеют суставы и коченеет тело...»

Все чаще говорит он в письмах о том, что счастье человека — в руках самого человека, и сетует на свою беспомощность:

«Боже правый! Почему наши стремления так расходятся с нашими возможностями? Почему самое

великодушное желание — сделать других счастливыми — бессильно и бесплодно, как порыв ветра в безлюдной, бескрайной пустыне? Как много мне встречалось на жизненном пути людей, которым я с такой радостью сказал бы: «Ступай! Будь счастлив! Знаю, что сердце твое ранено презрением гордецов, которых случай поставил над тобой или, что еще хуже, в чьих руках, быть может, все благополучие твоей жизни. Не беда! Взойди на скалу Независимости и со справедливым презрением взирай на их мелкие душонки. Пусть недостойные трепещут от твоего негодования, а глупцы падут ниц пред твоей насмешкой. А ты раздавай радость достойным, и я верю, что ты и сам станешь счастлив этим!

Почему я должен пробудиться от этой блаженной мечты и понять, что все это лишь сон? Почему я, в пылу великодушного восторга, чувствую, что я нищ и бессилен, что не могу отереть хоть одну слезу с глаз Горя, хоть раз утешить любимого друга?

Толкуют о реформах! Бог мой! Какие реформы я произвел бы среди сынов и даже среди дочерей человеческих! Мигом слетели бы с высоких постов все болваны, которых вознесла легкомысленная фортуна... Вот только с подлецами я не знал бы, что делать, а их очень много! Впрочем, будь мир устроен по-моему, в нем не было бы ни одного подлеца!»

Но пока что подлецы в силе. Они ссылают ни в чем не повинных людей на каторгу, они рубят головы, вешают, они заливают кровью поля Франции и прибрежный песок солнечной Италии.

Как же сказать, что ты против них, как пожелать здоровья и сил борцам за свободу, как на весь мир крикнуть, что человек имеет право говорить все, что он думает, — если только слова его правдивы, если он стоит за добро, за свет, за будущее свободного человечества?

Поднять тост, так чтобы поняли только друзья, написать песню, которую будут петь все, кто любит свободу:

За тех, кто далеко, мы пьем,
За тех, кого нет за столом.
А кто не желает свободе добра,
Того не помянем добром...

Свободе — привет и почет!
Пускай бережет ее Разум.
А все тирании пусть дьявол возьмет
Со всеми тиранами разом!

За тех, кто далеко, мы пьем,
За тех, кого нет за столом.
За славного Тэмми, любимого всеми,
Что нынче живет под замком

Да здравствует право читать,
Да здравствует право писать.
Правдивой страницы
Лишь тот и боится,
Кто вынужден правду скрывать...

7

Синий мундир с красными отворотами, белый кашемировый жилет, белые лосины, гетры... Круглый кивер, с левой стороны отворот, на нем золоченая кокарда с черным пером. На мундире — золотые пуговицы с буквами: К. В. Д. — Королевские Волонтеры Дамфриза.

Роберт Бернс великолепен в новой форме, хотя ее пришлось заказать в долг: никогда еще семье не приходилось так туго. Бернс исполнял обязанности старшего инспектора, ему приходилось много ездить, а где поездки, там лишние расходы. Но форму заказать надо было непременно: Бернс сам принимал участие в организации отряда волонтеров, сам предложил дважды в неделю проводить военные занятия по два часа.

Неужто он собирался воевать, он, кто еще в молодости писал «о прикрытом лаврами разбое», он, ненавистник войны, «демона разрушения»?

Нет, он не хочет воевать, он хочет только защищать свою страну: ходят упорные слухи, что французы готовят флот к высадке на Британские острова.

Бернс недаром читал Тома Пэйна. Не только слова о правах человека запали ему в душу

и воплотились в гениальных строках «Честной бедности». Он мог бы сейчас повторить и слова Пэйна о войне:

«Твердо верю, что никакие сокровища мира не могут заставить меня поддерживать захватническую войну, ибо я считаю ее разбоем. Но если грабитель врывается в мой дом, жжет и разрушает его...»

И хотя «грабитель» еще не ворвался в дом, Бернс готов взять в руки ружье и дважды в неделю шагать по площади Дамфриза.

Февраль, холод, мокрый снег... После учения все волонтеры греются в таверне Хислопов: сам мистер Хислоп тоже затянул толстый живот ремнем и командует взводом. За столом Сайм, Бернс и доктор Максвелл всегда сидят рядом. На них косятся несколько человек, принадлежащих к «Клубу верноподданных»: трех друзей считают «вольнодумцами», «якобинцами» — словом, за ними все время кто-то подсматривает, вечно кто-то подслушивает их разговоры.

Сайм очень боится за Бернса: стоит ему выпить — и он дает волю языку. Вчера он вдруг вскочил и поднял тост: «Пусть мы никогда не увидим французов, и пускай они нас тоже никогда не увидят!» Один из офицеров — в таверне их много, этих красномундирных щенков, — вскочил и, наверно, разбил бы голову неугомонному Робину, как зовет его Сайм. Сайм пишет Каннингему, что он просто не знает, что ему делать с Бернсом: кто-то из «верноподданных» написал эпиграмму на трех друзей, и Бернс тут же сочинил ответ. К счастью, Сайм увел его, прежде чем он прочел свой экспромт:

Вы, верные троны, безропотный скот,
Пируйте, орите всю ночь напролет.
Позор ваш — надежный от зависти щит.
Но что от презрения вас защитит?

«Только, пожалуйста, никому не показывай эти письма, не то кто-нибудь из «верноподданных» перережет Робину глотку», — пишет Сайм.

Одно было хорошо — на участие Бернса в отряде волонтеров очень благосклонно смотрело его

начальство в Эдинбурге, да и местная знать простила ему все грехи.

Он помирился с Марией Риддел — она первая прислала ему книги. Он ответил сухой, официальной запиской. Она пригласила его в театр, снова прислала много интереснейших книг — и Бернс не выдержал: он простил Марии ее капризы, он пожалел, что написал о ней злые эпиграммы, — к счастью, она так и не узнала об этом. Снова целые вечера он мог откровенно и задушевно говорить обо всем с умной милой женщиной.

И они оба искренне горевали, узнав о смерти Вильяма Смелли — их общего друга.

Да, друзья уходили... Осенним днем в заброшенной гостинице далекого поселка в горах, куда он попал по службе, Роберт перечитывает последнее письмо Кларинды. Она жива, она вернулась с Ямайки, сбежав от пьяного, распутного мужа, она снова в Эдинбурге, но теперь уже не в маленькой квартире в Гончарном переулке: она получает большое пособие, живет безбедно, у нее собирается изысканное общество.

И, сидя в дымной, прокуренной комнате, под барабанный стук дождя Бернс пишет «владычице своей души» в ответ на ее упреки:

«Прежде чем упрекать меня за молчание, объясните мне, пожалуйста, как я должен вам писать? «По-дружески», — пишете вы. Много раз брался я за перо, чтобы набросать вам дружеское послание, но у меня ничего не выходит: это все равно, как если бы Юпитер взялся за рогатку, после того как он громыхал громами... Память о прошлом губит меня. Ах, милая моя Кларинда! Кларинда?.. Какие нежные воспоминания обуревают мою душу при звуке этого имени! Но я не смею говорить на эту тему — вы запретили мне...»

Кларинда писала, что Эйнсли ухаживал за ней во время ее болезни:

«Счастлив узнать, что ваше драгоценное здоровье вернулось. Скажите Эйнсли, что я ему завидую, — пишет Бернс, — у него есть возможность

служить вам. Недавно я получил от него письмо, но оно было так холодно, так отчужденно, так похоже на записку к одному из его клиентов, что я едва мог спокойно прочесть эти строки, и ему еще не ответил. Он славный, честный малый и может написать дружеское письмо, которое сделало бы честь и уму его и сердцу, — свидетельством тому пачка его писем, которые я храню... И хотя *ныне* Слава уже не трубит в свой рог при моем приближении, как бывало, но я по-прежнему горд, и, когда меня положат в могилу, я хочу вытянуться во весь рост, чтобы занять по праву каждый дюйм земли, принадлежащей мне...»

Давно ли цвел зеленый дол,
Лес шелестел листвой,
И каждый лист был свеж и чист
От влаги дождевой.

Где этот летний рай?
Лесная глушь мертва...
Но снова май придет в наш край —
И зашумит листва.

Но ни весной, ни в летний зной
С себя я не стряхну
Тяжелый след прошедших лет,
Печаль и седину.

Под старость краток день,
А ночь без сна длинна.
И дважды в год к нам не придет
Счастливая весна.

Осень 1795 года и вся зима 1796 года были для Бернса очень тяжелыми. В сентябре умерла его младшая девочка, умерла далеко от дома, в Моссгиле, куда ее отправили в надежде, что она окрепнет на ферме. Ни Джин, ни Роберт не смогли отдать ей последний долг: Джин нельзя было бросить детей, а Роберт простудился в промозглый осенний вечер, и, как он ни перемогал болезнь, его в декабре свалил тяжелый приступ ревмокардита.

Много дней он лежал без сознания в бреду, и у его постели по очереди с Джин ночи напролет

просиживала маленькая Джесси Льюарс, которая по-прежнему была неутомимой помощницей Джин.

Январь. Тяжкая зима. Видно по письмам, какая тоска гнетет Бернса.

Самое грустное письмо он пишет 31 января миссис Дэнлоп: вот уже больше года, как она не желает отвечать ему. Он не догадывается, что ее рассердило откровенное письмо про казнь «болвана-клятвопреступника и бессовестной проститутки», как назвал Бернс королевскую чету Франции.

«Какой грех совершил я по неведению против столь глубоко уважаемого друга? — спрашивает он. — Увы! Горько мне в такое время лишаться последних радостей жизни. Эта осень отняла мою дочурку, мою любимицу... Едва оправившись от горя, я стал жертвой жесточайшей ревматической простуды, и долго чаша весов колебалась между жизнью и смертью... Много недель я пролежал в постели, но теперь, кажется, возвращаюсь к жизни, начал передвигаться по комнате и даже один раз постоял на улице перед домом...»

«Не знаю, как идут дела у вас в Эйршире, — пишет Бернс дальше, — но здесь у нас форменный голод — и это при полном изобилии! Много дней моя семья и сотни других семей сидели без крупинки муки — ее нельзя купить ни за какие деньги. Как долго *«свинская толпа»* будет молчать и терпеть, я не знаю, но угроза нависает с каждым днем...»

«Свинская толпа», как нагло назвал простой народ реакционный писатель и политический деятель Эдмунд Берк, терпела еще два месяца: письмо написано в конце января, а 12 марта в Дамфризе начался голодный бунт.

Была суббота, лил холодный дождь. Увязая по ступицы в грязи, в город въезжали телеги фермеров, груженные мукой. Они везли ее в порт — там за муку дорого платили предприимчивые владельцы кораблей, отправлявшие ее в большие города: во всей стране ощущалась нехватка после неурожайного года, и, как всегда, на человеческом горе наживались спекулянты.

Неизвестно, кто первый из толпы, молча стоявшей в придорожной слякоти, вышел вперед и остановил телегу с мукой. Неизвестно, кто снял первый мешок, кто объявил, что муку сейчас будут продавать всем по неслыханно дешевой цене: два шиллинга четыре пенса за стоун (около шести килограммов). Но в этот субботний вечер в домах пахло свежим хлебом и дети легли спать в блаженной сытости.

Наутро в воскресенье организованные группы людей отправились из Дамфриза на ближайшие фермы, реквизировали муку и, вернувшись в город, раздали самым нуждающимся из горожан.

Может быть, среди организаторов бунта был и сапожник Джордж Хоу, сосед Бернса, который прятал книгу Пэйна и распространял экземпляры этой книги и стихи своего соседа. Биографы Бернса, столь подробно исследовавшие все увлечения поэта, ничего нам не рассказали о людях, рисковавших жизнью, чтобы накормить дамфризских детей.

Городские власти вызвали отряд энгасширских стрелков и расставили посты на всех дорогах, ведущих из города, чтобы не пропускать добровольные отряды горожан, выходивших добывать муку для своих и чужих семей.

На площадях Дамфриза тоже стояли конные войска.

Бунт был подавлен в самом начале.

Иногда ранняя весна начинается дружно и радостно. Еще лежит снег, а небо ввечеру долго остается светлым, закаты розовеют все нежней, вечерняя звезда медленно плывет в легком воздухе. Деревья набираются жизни под весенним солнцем, зеленее становятся серые стволы осин и тополей, мягко наливаются и краснеют голые ветки шиповника, а березы стоят такие белые, такие чистые, словно чья-то широкая ладонь стерла с их коры тонкую прозрачную шелуху.

Но эта последняя весна Бернса пришла холодная, злая, с мокрым скверным снегом, сырыми ветрами, колючими затяжными дождями.

В такую весну трудно согреться, трудно просушить грязную обувь, тяжелую намокшую одежду.

Из-за болезни Бернс никак не мог вернуться к своим служебным обязанностям. Пока что его замещал славный малый — Адам Стобби. Хочется запомнить это имя, потому что всю весну Стобби, не жалея времени и не взяв ни гроша за лишнюю работу, давал Бернсу возможность получать полный оклад. Но каждую минуту Бернса могли перевести на половинное жалованье, а это означало жесточайшую нужду.

Во всем помогал Бернсу и брат Джесси Льюарс — Джон. Бернс, почти нигде не бывавший, часто заходил вечером к Льюарсам и слушал, как Джесси играла на клавикордах и пела все, что он хотел.

Однажды он спросил, какую мелодию она любит больше всего, — пусть она споет, а он напишет для нее новые слова.

Джесси спела глупенькую и грустную песенку о том, как малиновка заглядывала в гнездо воробья. Бернс заставил ее несколько раз проиграть мелодию и ушел домой.

Джин видела, что в этот вечер он долго сидел у стола, что-то напевая и раскачиваясь в такт на задних ножках кресла, — дурная привычка! Джин не мешала ему и радовалась, что у Роберта такое спокойное, светлое лицо, какого она давно не видела.

...Стихи складывались из грустной мелодии, из сырого ветра за окном, из преданных девичьих глаз и неизбывного, неугасимого желания защитить, закрыть своей грудью от бурь и бед все слабое, беспомощное, юное...

В полях, под снегом и дождем,
Мой милый друг,
Мой верный друг,

Тебя укрыл бы я плащом
От зимних вьюг,
От зимних вьюг.

А если мука суждена
Тебе судьбой,
Тебе судьбой,
Готов я скорбь твою до дна
Делить с тобой,
Делить с тобой.

Пускай сойду я в мрачный дол,
Где ночь кругом,
Где тьма кругом, —
Во тьме я солнце бы нашел
С тобой вдвоем,
С тобой вдвоем...

(Больше чем через полвека после того, как были написаны эти стихи, у подножья памятника Бернсу схоронили на семьдесят восьмом году жизни почтенную мать семейства — миссис Томпсон, урожденную Джесси Льюарс. Как-то прохожие заметили, что по счастливой случайности плита над могилой Джесси даже в самый сильный дождь оставалась сухой.

Мраморный Бернс укрывал от непогоды своего верного друга, как когда-то хотел укрыть живой...)

Как только Бернсу становится немного легче, он снова начинает работать над песнями для сборника. Теперь ему хочется проверить все, что он сделал для Томсона.

«У меня нет копий тех песен, которые я вам послал, — пишет он ему в начале мая, — а мне пришла охота пересмотреть их все и, может быть, исправить некоторые из них. Буду очень благодарен, если у вас найдется свободное время, чтобы выслать мне оригиналы или копии. Пусть я лучше буду автором пяти хороших песен, чем десятков посредственных. Некоторые стихи я совсем хочу снять... Они недостойны ни моего имени, ни вашей книги».

И в другом письме: «Когда вы закончите свою

публикацию, я хотел бы издать *дешевое* собрание всех песен, которые я написал для вас, для «Музея» и так далее — во всяком случае, всех тех песен, автором коих я желаю считаться. Хочу это сделать отнюдь не ради вознаграждения, но для того, чтобы воздать должное моей Музе: пусть мне не приписывают дрянь, которой я и в глаза не видел, но пускай другие не претендуют на то, что, по справедливости, принадлежит мне».

Во всех письмах ощущается желание подытожить свою работу, исправить все, что написано наспех, все, что не делает чести его музе.

В этот последний тяжкий год Бернс написал одно из лучших своих стихотворений — «Ночлег в пути»:

Меня в горах застигла тьма,
Январский ветер, колкий снег.
Закрылись наглухо дома,
И я не мог найти ночлег.

По счастью, девушка одна
Со мною встретилась в пути,
И предложила мне она
В ее укромный дом войти...

За окном непроглядная тьма, холод, бездорожье, а здесь тепло очага и лучшее создание природы — юная девушка:

Был мягок шелк ее волос
И завивался, точно хмель.
Она была душистей роз,
Та, что постлала мне постель.

А грудь ее была кругла, —
Казалось, ранняя зима
Своим дыханьем намела
Два этих маленьких холма.

Я целовал ее в уста —
Ту, что постлала мне постель,
И вся она была чиста,
Как эта горная метель.

Она не спорила со мной,
Не открывала милых глаз.
И между мною и стеной
Она уснула в поздний час.

Проснувшись в первом свете дня,
В подругу я влюбился вновь.
— Ах, погубили вы меня! —
Сказала мне моя любовь.

Целуя веки влажных глаз
И локон, вьющийся, как хмель,
Сказал я: — Много, много раз
Ты будешь мне стелить постель!..

«Тяжело лежит на мне рука горя, болезни и заботы, — пишет Бернс в июне Джонсону. — Личные и семейные несчастья почти совсем уничтожили ту жизнерадостную готовность, с какой я, бывало, волочился за сельской музой Шотландии. Давайте же покамест хотя бы закончим то, что мы так славно начали».

И дальше он пишет о том, сколько радости доставила ему совместная работа с Джонсоном и какой тот «достойный, честный и добрый человек». Впервые он откровенно говорит о своей болезни:

«Боюсь, мой вечно дорогой друг, что эта затяжная, ползучая, изнурительная болезнь, одолевшая меня, остановит мое сердце... Впрочем, надежда — целебное снадобье для человеческого сердца, и я стараюсь питаться ею, как только могу. Напишите мне как можно скорее. Вы сделали великую работу... Теперь, когда она почти закончена, я вижу, что если бы мы начали все сызнова, можно было бы многое исправить. Все же осмелюсь предсказать, что для грядущих лет ваше издание будет руководством и образцом шотландской музыки и песни...»

Органисту Кларку он тогда же написал:

«...Если мне суждено уйти, я оставлю тут друзей, о которых буду сожалеть, пока во мне теплится сознание. Верю, что и в их памяти я буду жить.

Прощайте, милый Кларк! Весьма сомнительно, что я еще когда-нибудь вас увижу!..»

8

Берег был травянистый, сырой. Дальше шла полоса всегда мокрого песка с озерцами воды и грязноватой пеной прибоя. Вода в заливе была холодная, крепко соленая. У дороги, проходившей вдоль берега, стоял рыбачий поселок — десятка три худых домишек, высокое здание почты, церковь и таверна. В ней и остановился Бернс.

4 июля 1796 года он приехал сюда, в Брау. Это место пышно именовалось курортом и славилось целебными водами небольшого источника, а также морскими купаньями. Доктор Максвелл настаивал, чтобы Бернс лечил застарелый суставной ревматизм и больное сердце холодным купаньем, верховой ездой и стаканом портвейна «для размягчения суставов». Бедный Максвелл не знал, что убивает своего друга, — тогда он не мог даже поставить правильный диагноз и называл болезнь Бернса «летучей подагрой».

Каждое утро, дрожа и задыхаясь, Бернс окунался в соленую воду залива и, с трудом согревшись, подолгу сидел на солнце.

Вечером в чужой, неуютной комнате он садился за стол — Томсон снова прислал ему ноты песен, на которые надо было написать слова. Но чаще он

просто лежал без движения и думал, думал без конца...

Как-то он сказал Джин, что через сто лет его стихи будут знать и читать больше, чем при его жизни. Он понимал, что значение и назначение поэта на земле — говорить за других. Он понимал, что стихи тоже приходят из глубин народных — с земли, а не с неба. Нет, и с неба тоже — с зеленого, как яблоки, осеннего неба, с пушистых апрельских облаков, с золотых закатов в мае, когда вокруг все дышит весной.

Он так любил и небо и землю, так любил жизнь и так о ней пел! Он ощущал силу каждого слова, его волшебство, его звучание. Но не только музыкой становилась в его устах родная речь: она разила как меч, защищая правду и свободу, свистела как хлыст в эпиграмме и сатире — вот тебе, титулованный болван, вот тебе, богатый бездельник, вот вам, подлецы, негодяи, мошенники, мешающие людям жить, работать, радоваться.

Как прекрасна жизнь, и как трудно жить. Но он никогда не ныл, не жаловался. Никогда не думал о будущем как о туманной розовой дали, которая, может быть, даст людям блаженное отдохновение. Нет, он точно и уверенно предсказывал: «Настанет день, и час придет, когда уму и чести — на всей земле придет черед — стоять на первом месте». И это будет, когда «все люди станут братья».

Он сделал для народа все, что мог. Он старался сохранить его язык, его песню, рассказать о его земле и о его лучших сыновьях и дочерях — о тех, кто эту землю бережет, кто на ней работает.

«Тот, кто делает все, что может, когда-нибудь сделает еще больше», — писал он когда-то.

Он мог бы сделать еще гораздо больше, если бы ему помогли, если бы его поддержали, ободрили.

У него есть друзья — они всей душой хотят ему помочь: Каннингем написал ему сюда, в Брау, о том, как его ценят «в литературных кругах».

И Бернс пишет Каннингему:

«Медики говорят, что мой последний и единственный шанс на выздоровление — это морские купанья, жизнь за городом и верховая езда. Однако вот дьявольская загвоздка: когда служащий акциза не работает, его жалованье снижается с пятидесяти до тридцати пяти фунтов в год. Скажите, во имя всяческой бережливости, как же мне содержать себя, нанимать лошадь и жить вне города — при жене и пятерых ребятах дома, и все это — на тридцать пять фунтов? Говорю об этом, так как намеревался просить вас и всех друзей воздействовать на акцизное начальство, чтобы мне сохранили полное содержание. Иначе я должен буду уйти из жизни, поистине «en poéte» *: если не погибну от болезни, то придется умереть с голоду».

Но тут же он пишет, что посылает Каннингему свою последнюю песню, что Джин обещает через недельку-другую прибавить для него «еще одну отцовскую заботу», и если родится мальчик, он намерен назвать его Александр Каннингем Бернс.

В один из первых дней пребывания Бернса у моря перед его жильем остановилась карета. Лакей в довольно потертой ливрее передал ему записку: Мария Риддел просила его приехать к ней отобедать — она гостила по соседству, так как и ей доктора тоже прописали морские купанья.

«Когда он вошел в комнату, меня поразил его вид, — писала впоследствии Мария, — первые его слова были: «Ну, сударыня, нет ли у вас поручений на тот свет?»

«Я сказала, что неизвестно, кто из нас попадет туда раньше... За столом он почти ничего не ел... Видно было, что забота о семье тяжело гнетет его. Но еще больше он тревожился о своей литературной судьбе, особенно о посмертном издании стихов. Он сказал, что предвидит, как после его смерти подымется шум и как каждый клочок его писаний будет использован против него, во вред его будущей репу-

* Как поэт (*фр.*).

тации. Он горько сетовал, что не успел привести в порядок свои рукописи, теперь он уже был не в силах заняться этим. В беседе он очень оживился и успокоился. Редко я видела его таким мудрым и сосредоточенным. Мы расстались в сумерках. Назавтра мы снова увиделись — и распрощались, чтобы никогда больше не встретиться...»

10 июля, вечером, Бернс написал своему брату Гильберту:

«Дорогой брат!

Тебе не очень приятно будет услышать, что я опасно болен и, вероятно, не поправлюсь. Застарелый ревматизм довел меня до такой слабости, и аппетит у меня настолько пропал, что я еле держусь на ногах. Уже неделя, как я нахожусь на морских купаньях и пробуду тут или в загородном доме у приятеля все лето. Помоги бог моей жене и детям, если они лишатся меня! Они будут чрезвычайно бедны. У меня есть несколько серьезных долгов, которые я сделал отчасти из-за моей болезни, длившейся много месяцев, отчасти из-за неразумных трат после переезда в город, и эти долги очень скажутся на той мизерной сумме, которую я оставлю семье в твоих руках. Кланяйся от меня матери».

С Гильбертом они в последнее время стали почти чужими. Брат не одобрял вольнодумства Роберта, а тому был неинтересен всегда расчетливый, скучноватый фермер, в которого превратился Гильберт.

Роберт никогда не напоминал ему о долге — о тех деньгах, которые он отдал брату после выхода эдинбургского издания. Вспомнит ли об этом Гильберт, когда Роберта не станет?

Очень коротко Бернс написал в тот же день и миссис Дэнлоп:

«Сударыня, я так часто писал вам, не получая ответа, что не стал бы вновь беспокоить вас, если бы не обстоятельства, в которых я нахожусь. Длительная и тяжелая болезнь, по всей вероятности, очень скоро переправит меня за ту границу, откуда ни один путник не возвращается. Ваша дружба, которой вы дарили меня много лет, была для моей души

дороже всех дружб. Ваши беседы и особенно ваши письма были в высшей степени интересны и поучительны. С какой радостью я распечатывал их! При этом воспоминании сильнее начинает биться мое бедное, ослабевшее сердце!

Прощайте!»

Бернс знал, что ему недолго осталось жить. Он, никогда не лгавший другим, не лгал и себе. Он готов был встретить смерть достойно и спокойно. Да и кто знает, когда она придет? Последние два дня так хорошо грело солнце, так мирно плескались волны, что Бернс вдруг почувствовал себя гораздо лучше.

Но 12 июля он получил официальную бумагу, написанную в чрезвычайно угрожающем тоне: один из крупнейших адвокатов Дамфриза сообщал Бернсу от имени своего клиента Вильямсона, что военная форма, заказанная мистером Бернсом в портновской мастерской Вильямсона, а также галуны, кивер, шпага и прочее, приобретенные в галантерейной лавке его же, оцениваются в сумму семь фунтов и шесть шиллингов, каковую сумму мистеру Бернсу предлагается внести незамедлительно, иначе он столь же незамедлительно будет отправлен в долговую тюрьму графства, где и будет содержаться до уплаты долга.

Трясущейся рукой Бернс схватил перо и написал своему кузену Джеймсу Бернсу в Монтроз:

«Милый мой кузен!

Когда ты предлагал мне денежную помощь, я и думать не мог, что она мне так скоро понадобится. Мерзавец лавочник, которому я задолжал значительную сумму, вбив себе в голову, что я умираю, затеял против меня процесс и непременно бросит все, что от меня осталось — кожу да кости — в тюрьму. Не будешь ли ты добр выслать мне — обязательно обратной почтой — десять фунтов? Эх, Джеймс! Если бы ты знал мое гордое сердце, ты бы пожалел меня вдвойне! Увы! Я не привык попрошайничать!..

Еще раз прости меня, что я напоминаю насчет обратной почты. Спаси меня от ужасов тюрьмы!»

...Но что, если кузен не получит письмо вовремя? Может быть, в Эдинбург почта придет скорее, надо просить Томсона — ему можно заплатить песнями:

«После всей моей похвальбы насчет независимости проклятая необходимость заставляет меня умолять вас о присылке пяти фунтов. Ради бога пришлите мне эту сумму обратной почтой... Я прошу об одолжении не даром: как только мне станет лучше, я твердо и торжественно обещаю прислать вам на пять фунтов самых гениальных песен, какие вы слыхали. Сегодня утром я пытался сочинять на мотив «Роусирмэрч». Но размер так труден, что невозможно вдохнуть в слова настоящее мастерство. Простите меня!

Ваш *Р. Бернс*».

К письму приложена песня — на труднейшую мелодию старинной баллады.

Эта песня — воспоминание о светлых берегах реки Девон и о Пэгги Чалмерс, его друге.

Он и раньше писал о ней — о цветке Девона, он просил природу щадить и беречь милую, скромную девушку:

Солнце, щади этот нежный, без терний
Алый цветок, освеженный росой!
Пусть из крадущейся тучи вечерней
Бережно падает ливень косой.

Мимо лети, седокрылый, восточный
Ветер, ведущий весенний рассвет.
Пусть лепестков не коснется порочный
Червь, поедающий листья и цвет!..

И в последней своей песне он просит «самую милую девушку с берегов Девона» не хмуриться, улыбнуться ему, как бывало... не слушать наветов... не обижать своего друга напоследок...

Так и кажется, что не девушке написаны эти строки, а самóй жизни — милой жизни, с которой так жаль расставаться, хотя она и хмурилась ему чаще, чем улыбалась.

Как драгоценны последние дни человека, о жизни которого пишешь с любовью! Как жаль пропустить хоть одно его слово, хоть одну строчку, как хочется оттянуть страшный час! Но уже отосланы последняя песня Томсону и последнее письмо Джин:

«Дорогая моя любовь! Откладывал письмо, пока не мог сообщить, какое действие оказали на меня морские купанья. Было бы несправедливо отрицать, что боли от них стали легче и я как будто окреп. Но аппетит у меня по-прежнему плохой. Ни мяса, ни рыбы есть не могу. Только кашу и молоко я еще как-то глотаю. Счастлив был узнать из письма мисс Джесси Льюарс, что вы все здоровы. Шлю самый лучший, самый нежный привет ей и детям. В воскресенье увидимся!

Любящий тебя муж *Р. Б.*»

В воскресенье уехать не удалось: сосед обещал дать двуколку только в понедельник.

Накануне Бернса пригласила к чаю знакомая семья рэтвеллского священника. Вечернее солнце заливало гостиную, освещая бледное до синевы лицо гостя. Молоденькая дочь хозяев хотела опустить штору, но Бернс остановил ее. Она запомнила на всю жизнь, как он печально улыбнулся и сказал:

— Нет, нет, мой друг, не надо... Теперь оно уже недолго будет светить для меня.

Как провел он этот последний вечер перед отъездом домой? Что слышал за окном, кроме всхлипыванья прибоя и свиста ветра? Наверно, и в Брау, как и везде, жила веселая молодежь, пелись песни. Теперь, через два века, можно поручиться, что там, где соберутся шотландцы, — там поют песни Бернса. Их наверняка пели уже и в тот июльский вечер, не зная, кто их сочинил, не подозревая, что у низкого окна, согнувшись от боли, сидит исхудалый человек, с глубоко запавшими глазами и слушает то, что он придумал давно, весной, когда стоял в цвету боярышник и заливались птицы:

Пробираясь до калитки
Полем вдоль межи,
Дженни вымокла до нитки
Вечером во ржи.

Очень холодно девчонке,
Бьет девчонку дрожь:
Замочила все юбчонки,
Идя через рожь.

Если кто-то звал кого-то
Сквозь густую рожь
И кого-то обнял кто-то,
Что с него возьмешь?

И какая нам забота,
Если у межи
Целовался с кем-то кто-то
Вечером во ржи!..

Может быть, ему стало легче дышать при мысли, что на этой прекрасной земле всегда будут жить девчонки, звонкоголосые, как Джин Армор, и парни, отчаянные, как Роб Моссгил.

Будут работать, целоваться, петь его песни.

А стало быть, и смерти нет.

В понедельник, 18 июля, в сырой, холодный день Бернс подъехал к дому на двуколке. Лошадь не могла из-за грязи взять крутой подъем Мельничного переулка, и Бернс, спотыкаясь, поднялся пешком.

Увидев его, Джин и Джесси с трудом удержались, чтобы не вскрикнуть, — так он изменился за эти две недели.

Они отвели его в спальню, уложили в постель. Он тут же потерял сознание...

Прибежали доктор Максвелл, хозяин квартиры, Джон Льюарс. Когда Бернс очнулся, он попросил перо и бумагу.

«Дорогой сэр, — писал он отцу Джин, — ради всего святого, пришлите миссис Армор сюда немедленно. Моя жена может родить с минуты на минуту. Боже правый, каково ей, бедняжке, остаться одной, без друга. Сегодня я вернулся с морских купаний, и мои

друзья-медики стараются уговорить меня, что я выздоравливаю. Но я знаю и чувствую, что силы окончательно подорваны и недуг станет для меня смертельным».

Джон Сайм тихо вошел в комнату. Глаза Бернса вдруг открылись, он приподнялся и крепко сжал руку друга.

Ночью Сайм писал Каннингему. Он писал и плакал:

«...Только что я вернулся из горестной обители, где видел, как душа Шотландии уходит вместе с гением Бернса. Вчера доктор Максвелл сказал мне, что надежды нет. Сегодня смерть уже наложила на него свою тяжелую руку. Не могу останавливаться на подробностях. Отчаяние охватывает меня — боже милосердный! Если бы воля твоя спасла его! В нем еще теплилась жизнь — он сразу узнал меня, а миссис Бернс сказала, что он все время звал меня и тебя. Он сделал героическое усилие, когда я взял его руку, и ясным голосом проговорил: «Мне сегодня гораздо лучше, я скоро выздоровею, оттого что я вполне владею своими мыслями и волей. Но вчера я был готов к смерти». Увы! Он ошибается...

Каннингем, мой дорогой друг, мы должны подумать, как помочь его семье. Боюсь, что они в отчаянном положении. Здесь, в нашем городе, мы всячески придем им на помощь, но этого далеко не достаточно: круг друзей здесь ограничен, да и вообще... Но я всей душой надеюсь, что в столице Шотландии, где среди людей ученых и состоятельных есть его знакомые и почитатели, к семье Бернса отнесутся с тем вниманием и сердечностью, какие должны быть направлены из такого источника в такое русло. Но внушать тебе это я считаю излишним».

Сайм вытер слезы, они мешали писать. И вдруг он вспомнил, как Бернс накануне, когда Сайм передал ему приветы от друзей-волонтеров, сказал:

— Только не позволяйте этим горе-воякам палить над моей могилой...

Это было так похоже на прежнего Робина.

21 июля, перед рассветом, Джин, не отходившая от постели мужа, попросила Джесси Льюарс привести мальчиков — проститься с отцом. Джесси внесла на руках двухлетнего Джейми, старший, Бобби, встал у изголовья, Джин взяла за руки Фрэнка и Вилли.

В пять часов утра Джин сама закрыла глаза человеку, с которым прожила десять ни с чем не сравнимых лет.

Ее простое сердце знало, что он гений.

И что, несмотря на все, у нее были только две соперницы — его Родина и его Муза.

ЭПИЛОГ

Бернса хоронили с помпой: не только «горевояки» — дамфризские волонтеры, но и регулярные войска, оттеснив от гроба «простолюдинов», шли церемониальным шагом до кладбища, играли трескучий и бездушный похоронный марш и, конечно, вопреки воле поэта «палили» над его могилой.

Джин не могла проводить Роберта: в этот час она родила ему пятого сына.

Гильберт приехал к выносу. Он простился с братом, вместе с друзьями нес его гроб на руках и первый бросил в могилу горсть земли.

Перед отъездом в Моссгил он спросил Джин, не нужно ли ей чего-нибудь.

Джин ответила не сразу: ей было больно и стыдно признаться, что в доме не было — буквально! — ни одного пенни.

Проглотив слезы, она попросила у Гильберта немного денег взаймы.

Гильберт вынул один шиллинг, подал его Джин и, простившись с ней очень сердечно, вышел.

У порога он остановился, вынул разграфленную книжечку и записал: «Один шиллинг — в долг, вдове брата».

К счастью, это был последний шиллинг, взятый Джин взаймы: Сайм и Каннингем немедленно собрали по подписке весьма значительную сумму, и с этого дня ни Джин, ни дети не знали нужды.

(Через много лет, когда слава Бернса, наконец,

нашла дорогу в придворные круги Лондона и даже сам премьер-министр снисходительно заявил, что стихи шотландского барда «сладостно певучи», король назначил вдове Бернса пенсию.

И Джин, верная памяти Роберта, от этой пенсии отказалась.)

Первый некролог поручили написать Томсону.

Томсон был человек сухой, педантичный и равнодушный. Он никогда не видел Бернса, ни разу не удосужился приехать к нему в Дамфриз.

Он написал, что Бернс, подобно Фергюссону, не вполне оправдал возложенные на него надежды и что под конец жизни он опустился ниже того уровня, которого достиг в «Субботнем вечере поселянина».

Бессознательно Томсон мстил Бернсу за нежелание подчиниться его мещанским вкусам, его тупой и бездарной редактуре, вечным попыткам обкорнать и прилизать стихи и песни поэта.

От томсоновского некролога пошли первые биографии Бернса.

Друзья задумали издать сочинения поэта: с его смертью кончилась его зависимость от Крича, и авторский гонорар шел жене и детям.

У Джин осталось очень много рукописей — стихи, черновики писем, нотные записи, наброски и варианты песен. Так как никто из близких друзей Бернса не считал себя «писателем» и не решился взяться за издание его книги, то все рукописи были отданы первому биографу Бернса — доктору Кэрри.

Доктор Кэрри учился в университете вместе с Джоном Саймом и занялся биографией Бернса по просьбе последнего. В противоположность Сайму — человеку чувства, художественной натуре — Кэрри был кабинетным ученым, человеком весьма строгих правил и к тому же назойливым моралистом. Он искренне хотел написать полную биографию Бернса, но вместо этого написал скучнейший, назидательнейший и обидно-несправедливый трактат о его «грехах».

«Видел ли ты новое издание Бернса, его посмертные стихи и письма? — спрашивает Чарльз Лэм, молодой английский писатель, своего друга поэта Кольриджа в августе 1800 года. — Я достал только первый том, содержащий его биографию — очень путанную и плохо написанную, и притом вперемежку со скучнейшими медицинскими и патологическими рассуждениями. Написал ее некий доктор Кэрри. Знаешь ли ты сего благожелательного медика? Увы! Ne sutor ultra crepidam!» *

«Благожелательный медик» нанес немалый вред памяти Бернса.

Многие последующие биографы пользовались текстом писем, «искалеченных» Кэрри, — он сам в этом признался! Многие поверили вздорным сплетням, собранным у безответственных людей. И, несмотря на то, что Локхарт — автор шестой по счету биографии Бернса — пытался «оправдать» его, несмотря на блестящую статью Карлейля — рецензию на труд Локхарта, — где превозносится Бернс как поэт, ошибочные установки Кэрри повторяют многие биографы девятнадцатого века, рисуя Бернса не таким, каким он был.

Даже Стивенсон в пылу молодого пуританизма оклеветал Бернса, изобразив его повесой и пьяницей.

И только когда за наследие Бернса взялись настоящие ученые и текстологи, перед ними открылась совершенно новая картина.

Упомянем об одном из них — профессоре Джоне Деланси Фергюсоне, который собрал, проверил и опубликовал все имеющиеся письма Бернса и написал строго документированную научную его биографию.

Недаром все последующие биографы Бернса, все исследователи его творчества, пишущие с самых разных позиций, единодушно благодарят профессора Фергюсона за его действительно блестящую работу.

---

* Перефразированная латинская пословица: «Сапожник, суди не выше сапога!»

К ним присоединяется и автор этой книги, которому два тома писем Бернса рассказали больше, чем десять томов биографий.

О том, как росла слава Бернса, говорят три тысячи книг на всех языках мира, собранных о нем в библиотеке Глазго.

Поэту поставлено огромное количество памятников — от простого мраморного бюста в нише дамфризского дома до сложных и затейливых башен с барельефами, греческих портиков и статуй причесанных красавцев пахарей с неизменной мышкой у ног, маргариткой под лемехом плуга и парящей музой в классических покрывалах.

Память народа хранит имя поэта по-своему.

Бернса тоже все вспоминают по-разному.

Есть многочисленные клубы его имени, которые собираются в мемориальные даты, когда члены клуба едят хаггис, пьют эль и поют «за дружбу старую до дна».

Есть издаваемый Ассоциацией этих клубов журнал «Хроника Бернса», где наряду с очень интересными статьями и исследованиями печатаются рекламы, на которых то тень Бернса беседует с джентльменом во фраке и цилиндре на тему о достоинствах виски (чьей маркой является изображение вышеупомянутого джентльмена), то некий банк заявляет, что «наш Робби» был вкладчиком сего почтенного оплота капитализма.

И хотя Бернс действительно мог положить именно в этот банк те жалкие сто гиней, которые он с таким трудом вырвал у Крича, реклама банка рядом с документами о страшной нужде Бернса в последние годы выглядит по меньшей мере нелепо.

Но не рекламами банков и виски и даже не мрамором памятников живет Бернс в народе.

Пожалуй, нет в мире поэта, которого бы так

знали и так пели — на протяжении двух веков! — в его родной стране.

Строки его лучших стихов стали лозунгами, их несут на стягах шотландцы во время всемирных фестивалей — встреч всех людей доброй воли.

Его слова вошли в поговорки, в пословицы, его песни вернулись в народ.

Для множества поэтов, пишущих по-английски, начиная с поэтов «Озерной школы» — Кольриджа, Вордсворта, Саути — и революционных романтиков начала XIX века — Байрона, Шелли, Китса — и кончая многими нашими современниками, Роберт Бернс стал первооткрывателем новых путей в поэзии.

Он научил своих собратьев писать о реальной, земной, человеческой жизни не со стороны, не с точки зрения наблюдателя, а с точки зрения участника этой жизни, ее хозяина, ее творца.

До Бернса поэты тоже писали о простом люде, о простых чувствах.

Но, описывая работу деревенского кузнеца, поэт не чувствовал тяжести молота и жара от наковальни.

Описывая влюбленных, часто забывали о живой земной прелести человеческого тела, о горячей крови, о звонко бьющемся сердце.

Бернс пишет о том, как он *сам* пашет землю, *сам* целует девушку, *сам* издевается над святошами и ханжами.

И поэтому ему веришь безоговорочно.

Русские читатели впервые узнали Бернса как автора «Субботнего вечера поселянина».

С легкой руки первых переводчиков Бернс был представлен воспевателем идиллической крестьянской жизни, поэтом-пахарем, играющим на досуге «на своей пастушьей свирелке».

Но тогда же в редакционной статье «Московского телеграфа» переводчику поэту Козлову напомнили, что Бернс «был пламенным певцом Шотландии, сгоревшим в огне страстей, а не «простым поселянином,

очень мило рассказывавшим о своем сельском быте».

К середине XIX века Бернса уже знали более широко.

В 1847 году о нем писал человек, чья поэтическая судьба больше всего напоминает судьбу Бернса: мы говорим о великом Тарасе Шевченко.

Он называет Бернса «поэтом народным и великим». Он говорит, что надо жить с народом, жить его жизнью, «самому стать человеком», чтобы этих людей описывать.

Он понял в Бернсе главное — его близость к народу, его понятность.

Еще позже, в 1856 году, Бернса стал переводить Михаил Илларионович Михайлов.

Михайлов много переводил из английских поэтов. Он выбирал стихи, близкие ему по духу: поэт-революционер, он полюбил в Бернсе такого же бунтаря. Он интересно перевел «Джона Ячменное зерно», он передал по-русски человечность и теплоту стихотворений «К полевой мыши» и «К маргаритке» и бесконечную нежность «Джона Андерсона».

Но Некрасов, поэт огромного мастерства, видно, чувствовал, что переводы Михайлова все же не передают того волшебства, того поэтического совершенства Бернса, о котором сам Некрасов, не знавший английского, судил со слов Тургенева — горячего поклонника Бернса.

Примерно за год до того, как Некрасов, наконец, опубликовал переводы Михайлова, он писал Тургеневу — писал больной, мрачный, ища утешения в работе:

«...Весной нынче я столько писал стихов, как никогда, и признаюсь, в первый раз в жизни сказал спасибо судьбе за эту способность: она меня выручила в самое трудное и горькое время... И вот еще к тебе просьба: у меня явилось какое-то болезненное желание познакомиться хоть немного с Бернсом, ты когда-то им занимался, даже хотел писать о нем: вероятно, тебе будет нетрудно перевесть для меня одну или две пьесы (прозой, по своему выбору). Приложи и размер подлинника, означив его каким-нибудь русским стихом (ибо я далее ямба в размерах ничего не понимаю), — я, может быть, попробую переложить в стихи. Пожалуйста, потешь меня, хоть страничку пришли на первый раз».

Тургенев отвечает через десять дней:

«Я уверен наперед, что ты придешь в восторг от Бернса и с наслаждением будешь переводить его. Я тебе обещаю сделать отличный выбор и метр * приложить, — Бернс — это чистый родник поэзии».

«Тургенев, спасибо ему, взялся мне переводить из Бернса», — пишет Некрасов с радостью через несколько дней.

Но и эти планы, как и многие планы «мышей и людей», остались невыполненными.

Бернсу пришлось ждать своего переводчика почти сто лет.

Сейчас таким переводчиком для него стал С. Я. Маршак.

Этим переводам Бернс обязан своей огромной популярностью в Советском Союзе. Великий шотландец стал любимым поэтом советских читателей, его стихи издаются огромными тиражами, о нем начали писать советские литературоведы и критики.

В двухсотую годовщину со дня его рождения — 25 января 1959 года — во многих советских школах дети читали стихи Бернса на двух языках, по-русски и по-шотландски.

В эти же дни их читали и шотландские школьники, — и, может быть, где-нибудь тоже на двух языках.

Так Роберт Бернс, друг своего народа, стал и нашим другом.

Пусть же этот рассказ о его жизни напомнит читателю его стихи — и в переводах и в подлиннике, а тех, кто сам пишет, заставит призадуматься о великой миссии поэта в мире — стать голосом народа и вестником добра.

---

* Метр — стихотворный размер.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ БЕРНСА

1759, 25 января — родился Роберт Бернс (сын Вильяма и Агнес Бернс).
1765 — Роберт и брат Гильберт поступают в школу к Мэрдоку.
1766 — переезд на ферму Маунт Олифант.
1773 — Роберт пишет первые стихи «Нелли».
1775 — школа в Кэркосвальде и стихи «Пророчит осени приход».
1777 — переезд на ферму Лохли.
1779 — первые стихи, прочитанные в Тарболтоне.
1780 — организация Клуба холостяков. Распространение стихов и песен.
1781 — начало тяжбы отца с Мак-Люром. Поездка в Эрвин.
1782 — знакомство с Ричардом Брауном. Возвращение в Лохли.
1783 — первая «Записная книжка»;
осень — обращение старика Бернса в верховный суд; знакомство с Гамильтоном и Эйкеном.
1784, февраль — смерть отца. Переезд в Моссгил.
1785, май — рождение «дорого доставшейся Бесс»;
лето — Роберт знакомится с Джин;
летом и *осенью* этого года написаны «Веселые нищие» и множество других стихов;
ноябрь — смерть брата. Стихи «Полевой мыши».
1786 — планы поездки на Ямайку;
апрель — проспекты «Кильмарнокского томика»;
старик Армор узнает о тайном браке Роберта и Джин; «предательство» Джин;
июль — Роберт передает права на ферму Моссгил брату Гильберту;
31 июля, понедельник — выходит «Кильмарнокский томик»;
3 сентября — рождение близнецов;
ноябрь — Бернс едет в Эдинбург.

1787, январь — прием «Барда Каледонии» в Великой Ложе Шотландии;
21 апреля — вышло первое эдинбургское издание поэм;
май — поездка по Шотландии;
июнь — 8 июня — возвращение в Мохлин. Вторая поездка по Шотландии;
август — закончено письмо доктору Муру;
август — сентябрь — работа над «Музыкальным музеем», поездка по Горной Шотландии с Вильямом Николем;
октябрь — возвращение в Эдинбург;
1788, январь — февраль — переписка с Клариндой;
18 февраля — отъезд из Эдинбурга;
23 февраля — возвращение в Мохлин. Неофициальное признание брака с Джин;
февраль — поездка в Эллисленд с другом отца;
март — поездка в Эдинбург. Заключение контракта на аренду фермы Эллисленд. Выход второго тома «Музыкального музея»;
май — возвращение домой. Бернс проходит курс инструкций по работе акцизного;
июнь — июль — Бернс живет в Эллисленде, строит дом.
1789, февраль — Бернс в Эдинбурге заканчивает расчеты с Кричем по авторскому праву;
14 июля — падение Бастилии;
июль — знакомство с Гроузом;
сентябрь — начало службы в акцизе.
1790, февраль — выход третьего тома «Музыкального музея»;
декабрь — рукопись «Тэма О'Шентера» послана Гроузу.
1791, апрель — «Тэм О'Шентер» напечатан в книге Гроуза и в «Эдинбургском журнале»;
август — распродажа скота и инвентаря в Эллисленде;
ноябрь — семья Бернса переезжает в Дамфриз.
1792 — назначение в инспекцию порта;
март — апрель — разоружение контрабандистской шхуны и покупка четырех мортир;
март — выход книги Пэйна «Права человека»;
май — отъезд Пэйна во Францию. Запрещение его книги;
август — выход четвертого тома «Музыкального музея»;
сентябрь — начало работы для издания Томсона «Избранные шотландские мелодии»; открытие нового театра в Дамфризе;
декабрь — первый съезд «Друзей народа» в Эдинбурге;
31 декабря — донос на Бернса в акцизное управление.
1793 — казнь французского короля;
февраль — выходит второе эдинбургское издание стихов в двух томах. Бернс получает в виде гонорара двадцать экземпляров книги;
май — переезд в новый дом (в Мельничном переулке);
июнь — вышел первый том «Избранных шотландских мелодий»;

июль — август — поездка с Саймом по графству Галлоуэй; аресты и процесс «Друзей народа» в Эдинбурге.

1794 — ссора с Ридделами;
февраль — ссылка «Друзей народа» в Ботани-Бэй. Стихи «За тех, кто далеко...»;
май — отказ Бернса от работы в лондонской газете;
июнь — вторая поездка с Саймом;
декабрь — повышение по службе в акцизе.

1795 — Бернс вступает в отряд «дамфризских волонтеров». Разгар переписки с Томсоном о шотландском фольклоре;
декабрь — тяжелая болезнь Бернса.

1796, март — голодные бунты в Дамфризе;
июль — Бернс на курорте Брау-Веллз;
21 июля — смерть Роберта Бернса;
25 июля — похороны Бернса.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

На русском языке

Роберт Бернс в переводах С. Маршака (со вступительной статьей «Жизнь Р. Бернса»). М., Гослитиздат, 1959, изд. 5-е.

А. Елистратова, **Р. Бернс**. Критико-биографический очерк. М., 1957.

На английском языке

The Letters of R. Burns. Edited from Original Manuscripts by J. De Lancey Ferguson Oxford. 1931. 2 vol. (Полное издание всех писем Бернса в двух томах с примечаниями.)

Poems and Songs by Robert Burns. Edited and introduced by James Barke. L., 1955. (Наиболее полное собрание сочинений Р. Бернса, включающее 60 неизвестных ранее стихотворений, с краткой биографией.)

John De Lancey Ferguson. **Pride and Passion N. Y.,** 1939. (Научная биография Бернса, основанная на документах и письмах.)

Catherine Carswell. **The Life of R. Burns.** L., 1930. (Поэтическая биография Бернса.)

James Barke. **Immortal Memory.** 5 vol. (Пятитомный роман из жизни Бернса, изд. 1946—1954.)

John Gibson Lokhart. **The Life of Burns.** L., 1904. (Новое издание одной из наиболее полных биографий Бернса с письмами и воспоминаниями современников поэта.)

David Daiches. **Robert Burns.** L., 1956. (Критический очерк о творчестве Бернса и о преемственности традиций шотландской поэзии.)

Cyril Pearl. **Bawdy Burns, the Christian Rebel.** L., 1958 («Озорной Бернс, бунтарь-христианин»). (Эта книга полнее других раскрывает антиклерикальную сущность сатир Бернса и народность его «вольной поэзии».)

Christina Keith. **The Russet Coat.** L., 1956. (Литературоведческое исследование поэзии Бернса и его предшественников с анализом творческого метода Бернса.)

ОБ АВТОРЕ КНИГИ

Р. Я. Райт-Ковалева (Рита Райт) родилась в 1898 году, в семье врача. Литературную работу начала, еще будучи студенткой Московского университета и слушательницей курсов ЛИТО (впоследствии — Литературный институт имени Брюсова). В 1920 году Р. Райт работает в РОСТА под руководством В. В. Маяковского — пишет стихотворные подписи к плакатам «Окна РОСТА» и помогает в технической работе.

В 1921 году Р. Райт переводит на немецкий язык «Мистерию-Буфф» В. Маяковского, и первая советская пьеса ставится в цирке силами режиссеров и актеров всех московских театров — для делегатов III Конгресса Коминтерна.

По окончании университета Р. Райт переезжает в Ленинград, где занимается научной работой в лаборатории акад. Павлова и переводами.

В 1940 году опубликованы главы из книги о В. В. Маяковском: «Двадцать лет назад» — о работе в РОСТА, а также «Мистэриум-Буфф» и «...В уже классическом Пушкине».

Во время войны Р. Райт-Ковалева работает корреспондентом Совинформбюро на Севере.

Творчеством Роберта Бернса автор этой книги начинает заниматься с 1953 года, подготавливая материал для предисловия к переводам С. Я. Маршака. В 1954 году в журнале «Новый мир» напечатаны отрывки из писем и дневников Бернса, а в 1957 году выходит «Жизнь Роберта Бернса» — вступительная статья к новому, дополненному изданию переводов С. Маршака.

Автор продолжает работать над переводами и над книгой о В. В. Маяковском и его современниках.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 5
Часть первая. Письмо доктору Муру 7
Часть вторая. Роб Моссгил 73
Часть третья. Старый Дымокур 131
Часть четвертая. Поэт и мир 205
Часть пятая. «Давно ли цвел зеленый дол...» 269
Эпилог 353
Основные даты жизни Бернса 360
Краткая библиография 363
Об авторе книги 365

ТОВАРИЩИ ЧИТАТЕЛИ!

Редакция серии «Жизнь замечательных людей» просит вас присылать краткие отзывы о книгах серии, а также свои предложения по улучшению их содержания и оформления.

Напишите нам, о ком еще из замечательных людей вы хотели бы прочесть книги.

Наш адрес: Москва, А-55, Сущевская, 21. Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», массовый отдел.